ISSN 1435-7712 Preis 11,- DM 1(4)/99

Родная РЕЧЬ

LITERARISCHE ZEITSCHRIFT «RODNAJA RETSCH»



Verlag Контакт

Родная РЕЧЬ 1(4)/99

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ

Родная РЕЧЬ

Главный редактор: Владимир МАРЬИН
Заместитель главного редактора: Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ
Редколлегия: Вальдемар ВЕБЕР, Михаил ГОРОДИНСКИЙ, Даниил ЧКОНИЯ
Оформление: Валентин ВАСИЛЬЕВ
Набор: Элла БЕСПАЛОВА
Компьютерная вёрстка: Диана БЕЛИЛОВСКАЯ
Корректор: Нина ТАФТ

LITERARISCHE ZEITSCHRIFT

«RODNAJA RETSCH»

Chefredakteur: Wladimir MARJIN
Stell. Chefredakteur: Olga BESCHENKOVSKAJA
Redaktion: Waldemar WEBER, Michael GORODINSKI, Daniil TCHKONIA
Design: Walentin WASILJEW
Satz: Ella BESPALOWA
Layout: Diana BELILOWSKI
Korrektur: Nina TAFT

Verlag «Infoblatt Kontakt GmbH», Postfach 3406, 30034 Hannover.

Druck: KEMA, Stettin, Polen. Erstauflage 2000 Ex. Erscheinungsweise vierteljahrlich.
Unverlangt zugesandte Manuskripte werden weder rezensiert noch zurückgeschickt.

Родная РЕЧЬ
1(4)/99

Литературно-художественный журнал русских писателей Германии

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис Фальков. БОМЖ И ГРАФИНЯ СС. Карликовый роман 3
Наталия Генина. ДАВАЙТЕ ДРОЖАТЬ И МОЛИТЬСЯ... Стихи 64
Владимир Порудоминский. НЕМЕЦ. Из 40-х годов 66
Франц Герман. ИСПОВЕДИ ПРОСИТ ДУША, ИСПОВЕДИ... Стихи 88
Игорь Гергенредер. ЛОСЁВЫЙ ЧУДЬ. 90
Эрнест Коробчинский. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ. Рассказ 100
Дмитрий Дадашидзе. А Я ВЕСЕННИМ ВРЕМЕНЕМ ЖИВУ... Стихи 104
Владимир Штеле. СТАНЦИЯ АНЖЕРКА. Неоконченное повествование 106

КНИЖНАЯ ГРАФИКА

Художник Евгений Бургункер. Иллюстрации к книге «Немецкие народные баллады» ... 120
Экслибрисы и рисунки Бернхарда Кульмана 138
Гравюры Генриетты и Николая Бурмагиных 178

ДЕЛО №...

Моисей Шен. МЕСТЬ ЛЕСБИЯНКИ. Из записок психиатра 122

ТЕАТР ОДНОГО... ДРАМАТУРГА

Яков Ланда. ПОСТОЯЛЬЦЫ. Водевиль 140

БОС – БИБЛИОТЕЧКА ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Ольга Фефер. «В СТАКАНЕ С НЕДОПИТЫМ ЧАЕМ...» 148
Татьяна Плюхова-Якоб. ЖЕЛТОЕ ТАНГО 148
Марк Хайкин. ЗЕМЛЯКИ 148

Валентин Лившиц. ЖИЗНЬ – ОНА НЕПОВТОРИМА 148
Борис Замятин. «КАКАЯ ПРОЗА В СОРОК ЛЕТ...» 149
Клара Киевман. РАЗДУМЬЕ 149
Михаил Ингер. МОРСКОЙ ПАРОМ 150
Александр Копелевич. РОССИЯ ПОГРУЖАЕТСЯ В ДРЕМОТУ 150

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Виктор Шнейдер. ГЕРХАРД ТЭНЦЕР 151

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Аркадий ПОЛОНСКИЙ. «ДРУГ МОЙ, ЯКОВ ПЕТРОВИЧ...» 157

ПЕШКОМ ПО РУСИ
Марлен Глинкин. О КИЕВЕ, ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ И... 168

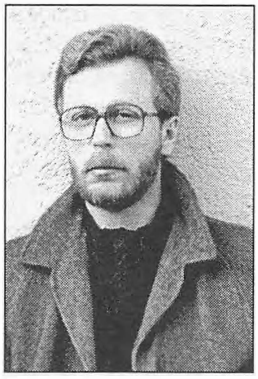
ПРО-ЭТЮДЫ
Эдуард Бернгард. ПРО ЛЮБОВЬ 180
ПРОГУЛКА 184

РЕЗОНАНС
Письма по поводу. Обсуждение «Дневника сердитого эмигранта» Ольги Бешенковской 187

ПОЧТИ ПО АРКАДИЮ АВЕРЧЕНКО
Андрей Кучаев. ДЮЖИНА НОЖЕЙ В СПИНУ НОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 203

АНКЕТА ДЛЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В ГЕРМАНИИ 230

АВТОРЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 231



Борис ФАЛЬКОВ
Мюнхен

Бомж и графиня СС

(КАРЛИКОВЫЙ РОМАН)

Маскируя мышцами игру костлявых жил
волк в кузов пуза уложил
сырого мяса много плёнок
Бе-е-бе-бе! заверещал козлёнок...
О, бабушка! О, помоги!

И ражий волк на блюдце снега
поел козлёнка бледный вид
И бабки плачущая нега
в ресницах голубым лежит

Ю. Ч-ч
«Египетская ночь. Нахлебниково».

Воскрешая этот эпизод, и касаясь других, я намерен заполнить пробелы, зияющие в недавно опубликованной биографии Юрия Чернушевича: «Че-че, история одного псевдонима», автор А.Г. Л-ский. И среди них существеннейший, если позволено будет так сказать – пробел темнейший. Пользуясь случаем, я также предаю публикации хранящиеся у меня автографы Чернушевича, мало или совсем не известные публике. Комментарии к ним не следует трактовать как вербовку новых поклонников Че-че, хотя – это правда, что они подчас выглядят пристрастными. Я бы и сам охотно обошёлся без них... Но – положение обязывает.

Глава 1

Случалось ли вам (нет, конечно – не случалось) открыть мюнхенскую телефонную книгу так, чтобы взгляд упал на цифровую комбинацию, полностью совпадающую с хорошо известными вам датой, номером дома и квартиры в Петербурге: 3102243? Кстати, фамилия владельца телефона с таким номером – Черни. Но это замечание предназначено только тому, кто не справится с зудом непременно объяснить и тем оправдать столь быстрое осознание совпадения. Что ж, оно и впрямь может показаться странноватым.

Теперь, допустим, все заинтересованные лица объяснили и тем оправдали свой зуд, что ж из того? Дальше-то – что? Да ничего, в дальнейшем тоже не предвидится ничего такого, неоправданного... Но подзуживающие странности, всё-таки, найдутся и в нём: я, например, сразу набираю этот номер телефона. Не

успев обдумать, что скажу, когда там, на той стороне поднимут трубку, хватаюсь за свою, как утопающий за соломинку надежды, за воплощённый в ней авось. Только трубку на той стороне света никто не снимает, разумеется. Там предпочитают свидания очные (я-то это хорошо знаю) и тогда уж – никаких спасительных соломинок не подают: вариантов нет, поздно. Ну, а как отнесётся к такому предпочтению сам соблазнительный авось? О, этот-то останется самим собою: если не класть трубку обратно, можно ещё долго слушать его хихиканье.

А случалось ли вам (да, конечно же – случалось, может быть и не однажды) обогнуть угол знакомого дома, и едва завидев преисполненные загадок попки двух сфинксов на набережной – зашататься, словно вашу голову чем-то вдруг ушибло? Нет, никакое это не сравнение: бедную голову путника, решающего сфинксовы загадки, действительно зашибает вдруг замершее время и скукожившееся в промокший носовой платочек пространство.

Однако же, какое отношение всё это имеет к тому, чему обещано воскресение? Самое прямое. Ибо 3-го 10-го времени на размышления не было дано. А всё пространство было – лестничная площадка на пятом этаже дома номер 22. Подскажете: а чердачный люк над головой, а сама лестница – в противоположном направлении, вниз? Ну да, конечно, всё это имелось в наличии... Только ведь крышку люка, и это было хорошо слышно, уже придавливали чем-то тяжёлым. А лестница уже подрагивала от топота приблизившихся почти вплотную преследователей. Возможно, они уже поднялись и на третий этаж.

В паху Че-че давно и прочно угнездилась мутная боль. В столь же мутное окошко подъезда билась изнутри жирная муха, а снаружи, с реки, сквозь него просачивался жирный осенний ветер. Крыши соседних домов были смазаны жирным же дождём, словно мазутом. Правда, сфинксов и самой набережной с этой позиции (из-за угла) видно не было. Потому-то Че-че и вообразил себя не попавшимся в ловушку тонких вопросов судьбы высокородным Эдипом, а низкороднейшим воробышком, заключённым между мазутными крышами и небом так, как лишённое (но отнюдь не лишнее) нормального жизненного пространства выражение заключают в скобки: намертво. Точнее – ничтожнейшим воробцом, тут же внесла (и тоже в скобках) поправку в результат воображения приобретающая всё большую настойчивость боль в паху.

А вам, случалось ли вам вот так... Напомню, речь идёт о деле совсем мёртвом, о свободе выбираться из заключения на волю любым путём. Имеешь, значит, полное право выбирать свободно: или денег попросить, или позволения пописять. То есть, если уж они откроют тебе скобки – свои двери (всё равно, рай за ними или ад) и скажут «чего тебе», а ты, осуществляя свободу воли, попросишь денег, то будь готов смиренно пописять в штаны. Ещё лучше сделать это заранее. Тогда и голову ломать этим свободным выбором не придется, само собой останется только махнуть рукой, сморщиться, промычать нечто невнятное... И достаточно, теперь – умолкни, музыка! Импровизация началась, чего тебе ещё? Пусть открывшие дверь сами теперь свободно выбирают, чего именно тебе подать: их очередь. И уж если чего подадут – следует брать, не кобениться, иначе – не получить вовсе ничего. Как и в любом другом месте:

– Мне б бутылку пива, мадам!
– А я вас где-то видела.
– Ну тогда – сто коньяку.
– Какой вы...
– Какой?
– Ну, такой какой-то... странный.

– Ничего странного, мадам, наливайте скорей, и всё. Так.

– Так-то так, а всё-таки странно... А! Вспомнила, где вас видела: на фото в газете. Там и заметка была, про тараканов и вообще паразитов. Вы-то чего среди них крутитесь, чай, санинструктором к ним приставлены, нет? Так и у меня тут...

– Абсолютно верно. Но мне они уже – во как! И чай тоже. Потому, как насчёт встретиться после работы? В восемь вечера, да?

– Так ведь сейчас только восемь утра! Какой-то вы весь такой...

– Как и вы, вся такая... Ладно: прямо сейчас.

– Какой быстрый... Но где?

– И это верно. Что ж, тогда пока, мадам. Не огорчайтесь, берите пример с меня. Что поделаешь? Жизнь.

И ничего больше. А чего больше-то, разве что прибавится к жизни, если в ней, наоборот, что-то откроется в восемь вечера, но только при этом опять ничего не случится? Или, ещё раз наоборот, убавится, если в восемь утра в ней что-нибудь закроется, потому что всё уже давно, ещё ночью случилось? Да пусть в ней пооткрывают и позакрывают что угодно и когда угодно – нет, не прибавится и не убавится ничего: вокруг всё та же жизнь, огорчаться, в общем-то, по-прежнему нечем – но и радоваться особенно нечему. Этим я хочу сказать, что загнанный ею в капканьи скобки воробец, то есть, застрявший в тупике пятого этажа и цейтноте Че-че не представлял собой ничего особенного (в житейском же смысле): так, один из обыкновеннейших сгустков этой самой жизни, весь чуточку ею помятый и в свалявшихся перышках, смахивающих на ягнячьи кудерьки.

Всем теперь доподлинно известно, что он был когда-то жив – а стал мёртв. Все пишущие о нём прямо-таки настаивают: это так, мол, а как же иначе? Мёртв, то есть, как валенок, не более и не менее. А я вот – настаивать не стану, ибо на похоронах не присутствовал. Интересно даже, с чего б это я такое... Если после того, как я видел его однажды ночью неподвижным, со сложенными крестом на груди руками, он ещё не раз приходил ко мне. То в толпе, то на пустынной улице подходил он ко мне и заговаривал, а я, разумеется, отвечал. Приходил он и в мой дом. О чём шла тогда между нами речь? Понятно же, не о его похоронах.

Он ли это был? Я спрашивал его об этом очень осторожно, чтобы не обидеть, приблизительно так: где-то я вас уже видел, нет? Он объяснял – где, и после – назывался, если у меня ещё оставались сомнения. Коли уж это не доказательство, тогда я не знаю, что оно такое. Оно не опровергается даже тем, что никто иной – именно я первый увидел его бездыханным. Да, руки его были сложены крестом на груди... Но ведь именно так, вкладывая стынущие пальцы подмышки, он частенько и спал. Но ведь, скрестив руки в именно такой исходной позиции, он приступал и к чтению вслух. Но главное, он приходил и был тут, со мной, и потому мне не известно: кого же, собственно, похоронили там, без меня? Не только, разумеется, потому, но и вообще – абсолютно непонятно, что именно они там свалили в яму, не сообщив публике даже того, какое имя нацарапали (с какими датами в скобках) на замогильной табличке: ни посмертной статьи о Че-че, ни крохотного некролога... слова опубликовано не было.

Короче: как минимум, слишком рано было заключать его в скобки, совать в могилу. По сути – общую, как бы ни старались сегодня исследователи придать ей задним числом форму индивидуального саркофага. Вот почему я не присутствовал на том празднике.

Рано его праздновать, по-моему, и сегодня. Но если, по-вашему, поздно не только что хоронить, так как всё уже захоронено – а и просто говорить о жизни

и смерти Че-че, так как всё о них сказано, то поговорим о том, что делал он между жизнью и смертью. То есть, на площадке пятого этажа всем как-то (а мне – отлично) известного дома на Васильевском острове, под чердачным люком и перед приоткрытой дверью квартиры 43. Стало быть, как повёл он себя, угодив в эту ловушку, как переступал её порог. Точнее – переступил, ибо сделал он это однажды в последний раз. По меньшей мере, в одном направлении. Да, однажды он переступил этот порог со следующими словами:

– Ворвался к вам, простите.

Краем глаза отметив напряжённость поз, краем уха – молчание:

– Говорю, простите. Если не внятно, то... Я из Ирана, к Семенову, sic. Можно его позвать? Так позовите.

И после паузы:

– Вообще-то я не прямо из Ирана, через Москву. Что? Что вы сказали?

Последнее с неподдельным раздражением, вполне понятным, если не забывать, что некогда он в этой квартире жил.

Но это всё чуть позже, а пока напомню: времени на размышления дано не было, приоткрытую же дверь можно было расценить как приглашение. Как случай с комментариями к нему, как постоянство вечного авося. Хотя и ясно было, в то же время, вернее – в то же его отсутствие, что квартиру просто проветривали: оттуда на лестницу выползал жирный чад. Похоже, жарили в одно безвременье и колбасу, и кофе. Хоть от этого чада и тошнило, но и такое приглашение следовало принять, не кобениться.

Заловят – объявят квартирным вором, решил Че-че, переступая порог, вот тебе и достойное продолжение карьеры. Он ещё успел немного послушать, продираясь боком в щель (сначала портфель, потом рука, плечо-голова и прочее), прерываемые одышкой реплики на четвёртом этаже, звяканье и царапанье за крышкой люка, но тут же всё это отсекла закрывшаяся за ним дверь с номером 43.

В передней было пусто. Везёт, постановил Че-че, в хорошее время довелось родиться: сто лет назад обязательно напоролся бы в прихожей на слуг. А в хорошее время передняя даже и не смахивала на прихожую, скорей – на жилую комнату, ещё точней – на кабинет: справа дверь с матовыми стеклами, чуть дальше зеркало на стене и рядом с ним красноватая лампа, перебрасывающая тень и свет на противоположную стену, на золотистую этажерку и золочёные корешки книг. На столик перед этажеркой, на невысокий потолок... К запаху жареного туг прибавилась и вонь горелой тряпки: гладили и забыли выключить утюг? В передней было намного теплей, чем в подъезде. Нос сразу разбух, переполнился щекочущей жидкостью, стало трудно дышать. Че-че аккуратно вытер его об рукав, а ноги о тряпку, расстеленную сразу за порогом.

Замыкала переднюю, пять шагов вперёд, больнично-белая дверь (всяк отгадает сразу, какие именно за ней упрятаны чертоги). Вправо-влево убегали от неё коридорчики, из-за углов не видно было – куда. Значит, не увидят и оттуда, похвалил Че-че планировку квартиры (пусть и известную заранее), повезло. То есть, признал, что нынешний скупенький авось пришелся ему впору, и одобрил это. Ещё бы не одобрить, имея опыт и твёрдо помня, что щедроты иного авося, бывает, даются на такую широкую ногу...

Хоть ширму при себе носи, чтобы прикрываться ею от чересчур уж обильных даров: едва успел повернуться – а их масса уже раздавила тебя, подвернувшегося ей под каблук таракана. Передвигаться по жизни с такой ширмой, вот она где, работка! И чем обильней сыпятся дары, тем муторней она: после каждого шага ставь и раскрывай свою ширму, под её прикрытием делай следующий шаг, потом

снова сложи и переставь её на новое лобное место, при этом укажи наблюдателю углом ширмы на ложное, иначе... Угол ширмы правь, скажем, направо, чтоб под его прикрытием самому сфинтить налево. Иначе, то есть, без соответствующих тому и другому месту финтов, не проскочить тебе ни жизни, ни даже простой передней – в чужую, а то и в собственную квартиру. Без таких уместных финтов не проскочить, разумеется, и из передней жизни – в неё саму.

В хорошее, как уже решено, время: ровно сорок три года назад (ещё одно многозначительное совпадение начал и концов свернувшейся в кольцо судьбы), Че-че совсем уж был готов выйти из тьмы выносившего его чрева на свет Божий. Из вполне изученной им передней – совершенно на авось. Но мать его, лежавшая за ширмой в переполненной людьми комнате общежития, вдруг заявила: «Покуда вон та...» – тут она кое-что ещё добавила и указала на акушерку, давно подозреваемую в романе с отцом Че-че, – «да-да, вон та не уберётся, рожать не стану». И перестала дуться, то есть, отказалась от принятых в таком положении финтов. Предназначенный Че-че авось, не успевший ещё как-то определиться на свой лад, с подачи матери грозил превратиться в громадный кукиш. Акушерка, впрочем, не стала спорить и удалилась, по всеобщему мнению – весьма уместно сфинтив. Её пример стал наукой всем присутствующим, и среди них – матери Че-че, так что и она, немедленно и неукоснительно, вернулась к исполнению приличествующего ей долга. И за ширмой всё пошло так гладко, что, Боже мой, какая скука нынче рассказывать про это!

Нет уж, тут без купюры не обойтись: итак, Че-че вылупился довольно быстро, не напоровшись по пути на что-нибудь опасное для здоровья. Чем доказал некоторым ещё сомневавшимся, и среди них – своему отцу, что время и впрямь наступило хорошее.

Теперь, имея за плечами более сорока лет соответствующего опыта, он ещё быстрее, и уже сознательно стараясь ни на что не напороться, не зацепить портфелем что-нибудь особенно коварное, двинулся к цели: белой двери в конце передней. Мимоходом заглянул в зеркало, почти против воли, и вздрогнул. Оттуда, из красноватой тьмы поистине египетской на свет лампы Божией, нет, на него самого надвинулся совсем иной Че-че, показалось – совершенно не похожий на первого. Или это был вовсе не он?

Выдвинулась из багровых глубин зеркала впалая щека с припухшим углом рта, сложенные «у-у» губы и столь же угрожающе приподнятая красноватая бровь. То ли и впрямь – вор-разбойник, а то и вовсе шпион-диверсант: нечто явно чужое, но и неприятно знакомое. Так, случается, сталкиваешься на улице с почти забытым, слава Богу, но по всему видно – много о тебе знающим, Господи помилуй, приятелем проклятой сладкой юности! Об этом, выступившем из зеркала встречном, хочется точно так же, сразу же ещё раз забыть, прикрыть его хотя бы тонкими своими веками, но и больше того: совсем закрыть ладонью свои утомлённые глаза, привалиться вон в то кресло, тоже укрытое – коричневой шкурой, сдержанно перевести дух, поднять телефонную трубку, позвонить другому – на этот раз приятному знакомому, и спросить его: что? И спросить ещё: как, куда? Одновременно вытянуть ноги, уложить поудобней промокшие в не по сезону лёгких туфлях ступни, пошевелить их слипшимися пальцами, искоса случайно снова глянуть в зеркало – и уютно выругаться, открыть вон ту бутылочку одеколона, прижечь выскочивший на носу прыщик... И чтобы уже не вылезать из удобного кресла, никогда.

То есть, не слезть с коварного крючка: хозяева квартиры только и ждут, что кто-нибудь попадётся на эту приманку. Тьфу же! Нет, мимо всего этого, мимо!

Че-че ловко, нисколько не шумнув, открыл белую дверь уборной и так же ловко, уже за собой, закрыл. Очень кстати: из левого коридорчика кто-то уже успел вынырнуть, чтобы прошаркать тапочками в направлении входной двери. Чтобы звякнуть там цепочкой под аккомпанемент: «не подъезд – проходной двор». Чтобы получить из подъезда в ответ: «закрой пасть и исчезни, рожа». И чтобы снова прошлёпать тапочками, снова мимо белой двери – но теперь направо, туда, откуда валил чад, на кухню. Будто кто-то пел при этом якутскую походную песню, так заунывно ругался на ходу обладатель тапочек себе в нос, так невнятно и на таком незнакомом языке. Отодвинутой щеколды на двери уборной он не заметил.

Ну, а заметил бы, то – что? Че-че давно успел привалиться к унитазу и отдаться своему наслаждению, его уже не спугнуть. Более того, он уже совсем близок к тому, чтобы перевести дух и сказать себе (по обыкновению не только своему): дело сделано, sic. Да и как найти его, чтобы всё-таки спугнуть? Его-то, в начале скоряченного паховой болью, а в конце – полностью растворившегося в одном из сладчайших наслаждений, сравнимом лишь с первым мигом осознания обретенной вдруг, но долгожданной свободы! Нет, никак не найти. А если и найти – то не узнать: в этом всесильном растворе не только собственные боли, а и шаркающие рядом чужие опасные тапочки изменились неузнаваемо. И они стали уютными, совсем домашними... Совсем своими, будто сам носил их лет десять, не снимая.

Обретение свободы, спорить не будем, дело хорошее. Но с нею обретается и отупевшее в неволе зрение, и слух, и обоняние... ныне все обострившиеся. Обретается и (по определению, с которым не стали спорить) самое хорошее, осознание этой свободы, то есть, некогда тупые свободные мысли во всей нынешней остроте своей. Ещё и молнию ширинки не успеешь застегнуть, а они уже тут, прямые следствия наличия свободы, загадки сфинксовы: ну, а что теперь, что дальше? Постой-постой, а с чего же всё это, такое, началось? И настырнейшая из загадок: а когда же это... как же это всё, такое... чем же вся эта импровизация кончится?

Глава 2

И, между прочим, праздные ведь всё вопросы. Импровизация только-только началась, а выбор ответа уже делался сам собой, не спрашиваясь ни у кого, совершенно свободно (ведь вместе с прочими свободами невольно обретается и свобода воли).

Сами, ни у кого не спрашивая – можно ли, поднялись на лестничную площадку те двое, очень даже свободно успели поговорить с хозяином квартиры, и вполне успешно: входная дверь теперь закрыта и на цепочку. Но это и к лучшему, ведь с чердачной стороны к лазу (собственно, нос к носу с наступающими преследователями) наверняка уже сбежался весь отряд храбрых защитников люка, значит, побоище состоится обязательно. Прогуляться же если по коридорчику направо – то там, на кухне, радостно ждут-не-дождутся гостя жильцы квартиры 43, чтобы и самим развлечься небольшой стычкой. Короче – облава удалась, ловушка захлопнулась.

Ну и пусть: тут, в этих её сумеречных чертогах вполне покойно, как... да как именно в уборной. И валяется на полочке, наверняка оставленный тут нарочно – для запаха, надушенный дамский платочек, отороченный кружевами. Возможно – валяется вечность, так он похож на другие, вечность же памятные платки.

А про то, что оставлено в передней, вспоминать и на минуту не хочется. Тот прилипший к внутренностям зеркала образ неприятно знакомого, обезжиренного воробца-ягнёнка, или наоборот, внутренности ударившейся в зеркало снаружи жирной мухи. Но в любом из двух, да и в любом другом варианте – образ полнейшей безнадёжности.

Последний, или предпоследний образ, а может и надушенный платочек виноват – не знаю. Знаю только, что сначала у Че-че заслезились глаза, а потом уж из ноздрей послушно вытекла тихая струйка (аллергия или слабые сосуды, тоже точно не знаю), пощипывающая, разъедающая границу внутреннего слизистого и наружного кожного покрова. Ах, не совпадает ли она, размываемая едкими струями жизни общая грань соприкасающихся пределов внешнего и внутреннего, с границей сопредельных государств тела и души? Вопрос, на этот раз, отнюдь не праздный: если совпадает, то всякого носителя того и другого следует считать пограничником, не только служивого.

Аргументом в пользу такого мнения служит столь же душещипательная, и так же разъедающая границы государств струйка, вытекающая из письма Че-че сестре, помеченного весьма загадочно (понимайте, мол, как вам угодно): «писано на бумаге, на чёрном бородавчатом причале у города Гурьева, 24 марта». Рядом, на бывшем морском дне могла ещё догнивать старая шлюпка, а само-то море, всем известно, давно тю-тю! Тюк, и оно уже за много километров отсюда, на другом уже, собственно, свете. Как, впрочем, и это письмо:

«Слетай, листочек, потише
прямо в ладоши Ирише,
к чаю ей вместо сахара:
Саратов ведь не Сахара,
воды пока что хватает,
хотя и её убывает, бывает.
Вместо орешков к чаю натюкать
часы у Иришки то нет – то тикают,
и тоже отчаянно тихо так:
про всяко инако, то тико – то тако,
про как его там... позабыл... Титикака,
знать, память со временем убывает.
Что ж, и такое, бают, бывает.
Вот, например, вместо сдобного бублика
птиц несъедобный на рублике республики,
так не кричать ли Ирише: о, горе вам!
И не кричать ли ей: горе вам, гуру, вы
сделали так, что и Вольга вскоре
бросит Саратова, выйдет за Гурьева
и отпадёт от Каспийского моря!
Нет, не кричать. Пусть того и не мало,
а и оно уже всё бывало».

И подпись: «Бри. А. Косик (спелый)».

Че-че сморщился и собрался было втянуть струйку назад, но вместо этого промокнул её рукавом. Привычный жест омолодил его лет на тридцать, и теперь он, совсем ребёнок ещё, в лыжных штанах с дыркой на колене, непомерно жестоко наказанный отцом за проступок (сестры) заточением в уборной, ощу-

тил жжение на кайме век, словно струйка попала и туда. Привалившись плечом к стене, он поставил портфель на пол. «Кто же я такой?» спросил он себя. И ответил: «икс». И тут же переставив звуки (склонность к анаграммам простительней любви к шахматным этюдам и крестословицам), добавил: «sic, да ещё в квадрате», так что получил два ответа.

Квадрат следовало понимать, прежде всего, как сложную метафору места, в котором сам себя запер Че-че: как совмещенную с ванной уборную, эдакий тупик, образованный сомкнувшимися квадратными скобками, по своей безысходности – саркофаг, а то и безымянную могилу. Но, подобно всякой метафоре, эта тоже была способна нести множество значений, в том числе и не переносные. Профессиональные же навыки обращения с многозначащими выражениями сработали автоматически. И потому ничуть не удивительно, что расколотая двойным ответом мысль Че-че об одном себе сразу же превратила отвлечённую метафору в реальное арифметическое действие. Это значит, возвела себя двойную в квадрат, получила из одной себя четыре таких же и, освободившись таким маневром от стеснявших её – а теперь лопнувших скобок, отправилась разными путями во все четыре стороны света.

Выглядело это так, как если бы, допустим, зеркало в коридоре раскололось на части, на смотрящие во все стороны маленькие зеркальца, и, раздробив тем самым выдвинувшегося из него Че-че на кусочки, тут же разбросало бы его по миру. А что? Это кстати вмешавшееся сюда в виде сравнения зеркало – тоже ведь метафора, как ни крути! Да-да, как ни верти, ни переворачивай этот образ, куда ни обращай сравнение, хоть и в обратную сторону – оно останется необратимым: разве всякая метафора не зеркало, вернее, не отражение чем-то этим – того? Разумеется. Только, пусть она прояснит нам черты оригинала, а не затемнит их. Пусть откроет нам присущее ему имя, а не спрячет под случайный, затемняющий его и вообще всё дело псевдоним.

Вот так и одна из мыслей Че-че о себе (тождество мысли и метафоры неоспоримо) отразила оригинал образом в некотором роде перевёрнутым, и как следствие – пустилась вслед за отражением в обратную сторону, назад на юг: к тому Че-че, который ещё стоял на лестничной площадке, не решаясь войти в приоткрытую дверь квартиры 43. Другая – отправилась к другому Че-че, выдвинувшемуся с востока из зеркала в передней. Третья, как известно, уже давно гостила у того мальчика в лыжных штанах... На севере, что ли? Не важно: основная, самая отчётливая мысль о себе упёрлась в того Че-че, который теперь стоял в чужой уборной-ванной, на крайнем западе, решая, что ему делать дальше. Само настоящее время, растянувшееся до безвременья, поделилось между четырьмя этими Че-че. В одной стороне света оно уткнулось носом в вечное прошлое, вот в этот стародавний платочек с кружевами, с другой – в будущее, то есть, тоже в какой-то род вечности.

Таким образом, обдумывая сложный вопрос, с каким же именно собой ему следует иметь дело сейчас, Че-че лишил себя ответа на вопрос и попроще: как долго он этим занимается. И чем больше думал он – тем меньше знал, сколько и кто именно это делает. А между тем, в таком знании он очень нуждался, хотя бы потому, что в нём можно было найти руководство к последующим действиям. Получив его, можно было и повести себя соответственно, да так, чтобы никто никого не кликнул на помощь, чтобы никто никого не выставил из этого убежища назад в наружный мир, в инобытие, по меньшей мере – сразу. Чуточку даже обессилев от богатства собственных версий, из которых следовало выбрать только одну, Че-че присел на стульчак. Точнее, забрался на него, очень

осторожно, как опытный пограничник в свою сторожевую норку: чтобы не спровоцировать никаких предательских звуков.

И в тот самый миг, когда пограничник вполне комфортно устроился в секретном своём укрытии, голоса на кухне зазвучали совсем громко и таким нахальным маневром прорвали границу государств кухни и уборной: стенку. Из своего инобытия – они просто ворвались сюда и сразу же врезались в толпу размножившихся, взбунтовавшихся против своего источника вариантов дальнейшего, изрядно подкрепив один из них. Само собой разумеется, то есть, по подсказке с кухни, именно этот вариант сразу же стал наиболее перспективным. И правда, в него легко уложились многие трудности: неожиданное явление на кухне чужого, впрочем, не совсем чужого – а некогда в этой квартире жившего, и стало быть – могушие совершенно случайно сохраниться у него ключи, или ключи-то как раз он оставил тогда приятелю, по имени... Семенов, ну да, Семенов. Но после этого в квартиру, по объективным причинам, уже возвратиться не получилось. До сего, понимаете ли, дня.

– ...сгорел, – такое слово донёс с кухни женский, хрипловатый и, кажется, пахнущий теми же духами, что и платочек, голос.

То ли: чтоб ты сгорел, проклятый, то ли просто: кофе сгорел? Неясно... Но ведь и неважно! Что бы там, на кухне, ни случилось – всё сказанное (и не сказанное) вполне обыденно, или, как принято говорить – бытийственно, пусть эта бытийственность и занимает сейчас место инобытия. Впрочем, всякое бытие – лишь то или иное место.

– Глупо-э-е... – а это известный уже по якутскому заунывному пению тенорок, но вот: глупо, или глупая, точка или запятая? – Была бы ты...

Муж-жена, сестра-брат, решил Че-че. Что ж, ни то, ни другое не противоречит ни прошлому, ни просто известному. В воображении, на первом его плане, он уже видел себя третьим участником беседы на кухне, хотя одновременно (чуть позади первого) видел и другого Че-че, на цыпочках скользящего по уже пройденному пути, к лестнице. В любом, однако, случае, ему придется сказать себе: ну, пора, и открыть дверь уборной. И предстать... Лишь бы не приняли за вора, так думал он, или совсем уж за разбойника, хотя последнее, надо признать, гарантирует определённый род послушания. В разгорающемся свете именно этой версии другой Че-че, прошмыгнувший к входной двери, всё быстрее таял в темноте передней на заднем плане воображения.

Потому, устраиваясь поудобней на стульчаке, сам источник всех версий всё самозабвенней занимался тем, что наращивал на голосах за стенкой плоть. Вернее – прислушивался к тому, как они сами обрастают ею. Ещё вернее: внимал всеми органами чувств тому, как вся квартира, не только лишь кухня, сама обставлялась необходимыми предметами обихода, соответствующими нарастающей на её жильцах плоти.

Нарастающей, заодно, и на самом Че-че, том, открывшем дверь уборной, чтобы предстать не преследователям на лестнице или встречающим на чердаке, а сидящим на кухне (получается – на среднем востоко-западе), этой ярко освещенной сцене с необходимыми предметами реквизита: газовой плитой, холодильником, рукомойником, красными кастрюлями, зелёным кактусом на подоконнике, а занавески там, конечно же в полосочку, как и пижамная куртка мужа-брата, а халат жены-сестры, разумеется, в голубых цветочках. И напоследок – собственные слипшиеся в туфлях пальцы, тяжесть портфеля в левой руке, запах газа и гул холодильника. Гул, сразу слившийся с собственным голосом Че-че, не по смыслу – а по звучанию обращенным к человеку в пижаме, к его круглой голове, к его очкам,

совсем немного удивлённым глазам, губам почти в улыбке, к его медленному подниманию себя из-за стола – и усаживанию обратно:

– Ворвался, простите. Но дверь была открыта. Счёл. А где... Семенов?

Про сохранившиеся от квартиры ключи как-то не выговорилось, может быть, как раз потому, что слишком уж определённая они вещь. На такую определённость можно, пожалуй, и самому напороться: хорошо, ключи, верим, сами такие имеем, вот – предъявляем. А дальше так: ну, а вам свои предъявить – что, слабо? Да-к, может, и не слабо, а только как их вытащить из скважины небытия? Ладно, пусть инобытия, но и оно-то теперь сменило место. Оно уже не тут, на кухне, и не в каком-то ещё не определённом будущем, а там, где и остались задуманные ключи: в уборной, рядом с надушенным платочком, в прошлом. Не жаловаться же, что забыл ключи в прошлом! Хорошо, пусть – в чужой уборной! Сразу и получишь в ответ: что ж, сходи туда ещё раз и принеси. Совсем не то – Семенов, он-то вещь такая неопределённая, что и неизвестно, куда ж это за ним сходить. Ну, а что ты оттуда принесёшь, даже если куда-то и сходишь, вопрос совсем особый. Не надушенный же, в самом деле, платочек... Короче, ясно: предъявить Семенова хозяева не потребуют и сами его, если что, не предъявят.

– Простите, невнятно, но я, собственно, к Семенову. Вот для него, в авоське...

Подымая одновременно руку с портфелем, и нисколько не смущаясь сорвавшейся с губ авоськой:

– Я имею в виду, что думал: авось, застану дома. Я, собственно, из Ирана. Через Москву, разумеется. А? А, что вы сказали?

Всё это слипшимся голосом, с тремя напряжёнными паузами, в которых косой луч туда, где в сложной позе у плиты женщина в халате. А потом – назад, к сверкающим очкам хозяина, за которыми понимание, да, полное понимание. И ещё ожидания и верные предчувствования, так схожие с собственными там, на западе дальнем, на стульчаке. Да ведь и смысл позы у плиты, при всей её сложности, тот же: понимание, даже больше того: узнавание. А как же иначе, если перед ними вполне знакомый персонаж всем известного, и в известном смысле – общего сценария, с привычными всем отклонениями от него, то есть, общий авось, а, что, говорю, вы сказали?

– Я ещё ничего не сказал, – усмехнулся хозяин, впрочем, очень вежливо. – Так это у вас авоська?

– Ну да! – Че-че дружелюбно усмехнулся в ответ. – Это я ему такой псевдоним дал: авоська для бумаг. У меня и у самого псевдонимы, так что же тут несогласованного?

– Ничего, – подтвердил хозяин. – Но только Семенов, наверное – тоже псевдоним, тут уже не живёт.

– Это как же так! – возразил с негодованием и без паузы, будто ничего другого и не ждал, Че-че. А ведь не совсем так: кто ж мог ожидать этого «уже»? – Это... не так.

Таким маневром он вынудил хозяина увеличить резкость тенорка. Затем последовал диалог, в котором значения определялись не содержанием слов, а тембром голосов и интонацией. И взглядами. Инерция диалога обеспечивалась контрастом теперешних воспитанных интонаций – с хамскими репликами, недавно прозвучавшими из подъезда. Но было у него и иное, так сказать, базовое обеспечение.

Те, кому приходилось слышать Че-че, не станут спорить: он мог делать со своими слушателями всё, что хотел, говорил ли он о вещах обыденных – или читал свои стихи. Так и тут, спровоцировав хозяина на превысившую нормы вежливости резкость, Че-че подцепил его на этот крючок и, подавая нагляд-

ный пример, повёл вниз по гамме тонов, как бы взывая и к его воспитанности. Всё это, конечно, с большим успехом, как обычно. Так, чтобы привлечь к себе участников экономической жизни, поначалу устанавливают налоги на прибыль процентов в девяносто, а потом шаг за шагом (длина шага – два-три процента в год) снижают их. Все ясно наблюдают повышающийся уровень этой самой жизни и успокаиваются.

Успокоился и сам Че-че: девяностопроцентное попадание в Семенова (откуда-то выскочившее «уже») сначала поразило его, хотя на остальные десять процентов он как раз ничуть не удивился. А потом, шаг за шагом сократившись процентов до двадцати (длина шага – реплика), оно же его и успокоило. Тревога осталась на дальнем-заднем плане его воображения, там, где отложилось и вызвавшее её осознание того факта, что место Семенова в общей композиции оказалось резервировано заранее. И, очевидно, с общего согласия резервировано, хотя никакого видимого совещания по этому вопросу не состоялось.

Но поскольку диапазон его голоса был намного шире хозяйского, Че-че лишь отметил наличие этой тревоги, не больше. Не пошёл у неё на поводу, а сам уверенно повёл хозяина квартиры в глубины своих подвалов, ин профундо, подобно хану Кончаку в заключении соответствующей арии. И ступеньками на этом пути служили ему с каждой фразой меняющиеся интонации, ведущие через простейшее их смягчение: якобы следствие смущения и понимания смущения, через отстраненность: якобы следствие беспомощности, через сокрушение по этому поводу (тут хозяин даже подкивнул головой) – к полному подчинению себе того, кто было вступил с ним, солистом, в состязание, но, разумеется, быстро от него отстал. Хотя и продолжает покорно следовать за ним к цели: к заключению, к своему неизбежному пленению в чужом подвале-саркофаге. Не избежал этой участи и хозяин.

– Жил! – поначалу выкрикнул он, отвечая не прозвучавшему напрямую, но скрытому в интонационной паузе перед «не так» аналогичному, и легко там распознаваемому, выкрику поражённого новостью Че-че. – Жил, но больше не живёт. Переехал.

– Куда! – пока ещё продолжал наступать Че-че. – Куда, говорю, чёрт возьми, переехал?

– В Мелитополь.

– Зачем? Почему... ах, зараза... в Мелитополь? А я рассчитывал...

– А, вы рассчитывали...

– Я в командировке.

Как доказательство – поднятый над столом портфель.

– ... рассчитывали на авось.

– Десять лет не видел Семенова. Вот ведь случай, в Мелитополь... А я гостиницу не бронировал, в уборную – и то на вокзале не заходил. Еле... простите... вытерпел.

«Простите» предназначалось, собственно, не хозяину, а женщине у плиты, так как нисходящая гамма была пропета целиком, до самых глубоких подвальных нот. Они были поданы с особо значительной интонацией, выделенной (отделённой от соседней) почти зримыми скобками дважды, из-за вмешавшегося между «еле» и «вытерпел» инородного словечка. Интонация была намертво заключена в эти скобки, как в каменный саркофаг, отделивший её от остального мира, так что и пропел-то её вроде уже и не Че-че, а некто (не Семенов же) иной, в ансамбле – четвёртый: своим голосом. Чужим, совсем посторонним, стало быть – потусторонним... (нет, ничего, а всё-таки странно: чей же этот

голос в скобках, если не Семенова). Логично, что, услыхав такой – хозяин немедленно, что ж ему оставалось делать, признал своё поражение. Теперь его обмякшие связки должны были сами продолжить работу: размягчение всего хозяина и его, следовательно, отношения к сложившейся ситуации. Потому-то и было брошено это «простите» совсем скромно: чтобы не помешать продолжению. Брошено так укромно, из-под полы, что хозяин и впрямь не распознал словечка, не расслышал.

Но и сам Че-че, бросивший его буквально между прочим (между двумя парами скобок), не успел хорошенько рассмотреть налёт небрежности на всей фигуре женщины, на её халате, причёске, в выражении глаз: будто она только что сняла сильные очки. И растоптанные шлёпанцы, которые она будто только что надела. И только после, когда вернул мужчине взгляд и замыкающее фразу «вытерпел», только задним числом он припомнил утомлённое, почти злое выражение лица женщины, упавшую на лоб (да прямо на выпуклую кость слишком крупного носа) чёлку, и впалую, как у него самого, щеку, только тогда сложил всё это с тем, что нашёл в хозяине... Тогда же нашёл и определение всему этому. Совсем свои люди: воспитанные, интеллигентные, сказал себе Че-че, оч-чень приличные.

Так как определение предназначалось для внутреннего пользования, не стихотворение же тут сочинялось, то другого он и не искал. Его и такое удовлетворило, и потому он сразу, как бы следуя внезапно вспыхнувшему вдохновению, сымпровизировал следующую добавку к сказанному ранее:

– И вот теперь, перед вами, словно какой-нибудь... полуприличный. Но, с другой стороны, где-же-мне-е-щё переночевать?

Пауза. И повторный бросок:

– Да, как по-лу-при-личный.

И ещё раз перебросив косой луч к плите, сразу увидел: попал. Именно это, столь легко найденное и брошенное словечко оказалось наилучшим опознавательным знаком. Словно прилепился этот знак там, куда попал: на слишком крупном носу женщины. Невидящий (или уже ненавидящий) взгляд её сместился к губам Че-че, отлепившим этот знак, и задержался там. Правда – собственные её, поджатые гримасой отвращения губы даже и не пошевелились. Но ведь хозяин, словно компенсируя сдержанность женщины, выразил своим ртом просто-таки откровенное внимание к опознавательному интеллигентному словцу! Приоткрыл его так, будто приготовился воскликнуть: о-о... И даже: ого-о!

Ого, так и подумал Че-че, теперь-то уж точно – свои люди. И в пространство между женщиной и хозяином, не произнёс – вложил знак дополнительный, закрепляющий успех. Только уже не в словечко отлепленный (вышел бы перебор), но в проникновеннейшее многоточие:

– И этот дождь...

Теперь взаимоотношения персонажей в композиции, озаглавленной Че-че «свои люди», определились вполне. Или, если припомнить тревогу на заднем плане его сознания, вызванную неожиданной материализацией Семенова: так он сам занял место в композиции, кем-то заранее предусмотренной. Внешне она выглядела как тривиальный треугольник. Неосязаемый, но, как оказалось, вполне доступный другим органам чувств (и другим людям, впрочем, тоже ведь уже своим) Семенов оказался в условном центре этой фигуры, и был обозначен самоопределившейся, однако, совершенно согласной ему буквой С. Вершины треугольника, и тоже само собой, пометились не менее соответствующими им знаками: Икс (с него-то и начались все пометки), Игрек, Зет.

— И этот дождь, — раскрыла, наконец, рот и женщина. Но тут же и закрыла, поджав губы в прежнюю гримасу: отвращения ко всему.

Глава 3

Признаю: в излагаемой тут версии события (впрочем, тоже вполне соответствующей самому событию), трудно различить воображаемое и реальное. Поговаривают, правда, что в определённого сорта профессиях воображаемое успешно замещает реальное. Иными словами, что какой-то сорт вранья и есть действительность, раз за него, случается, платят. Взять хотя бы... ну да... и так далее, именно так поговаривают, чтобы не называть известных имён. А почему, собственно, не назвать? Даже если и не Семенова, то не раз рядом с ним помянутый Иран. Что ж он — тоже враньё? То есть, мягче выражаясь, особая действительность некоего профессионала, за которую ему чем-нибудь, да заплатят?

Кое-кто приблизительно так и думает. Например, А. Г. Л-ский в своей книге высказывает уверенность в том, что Че-че ни разу не покидал Васильевского острова. Там, мол, и случилось его «выпадение из жизни» и последующее «опускание на дно» (не иначе — дно ямы, в которую что-то там свалили по инициативе Л-ского), вследствие потери квартиры, которую благородный Че-че уступил подруге. Л-ский, кстати, называет подругу женой, а уступку — условиями развода, чтобы эта версия выглядела поправдоподобней, с его точки зрения. Естественного вопроса — откуда он её взял, и вообще — на каком основании присвоил себе право на какую-либо точку зрения, в его книге, разумеется, не найти.

Возможно, под такую точку зрения и последующую уверенность Л-ского подвёл действительно необычный факт: Че-че не живал на Арбате. Без чего, известно, поэтов не бывает. Как и без гитары, этой эоловой арфы нашего, тоже известно — хорошего времени. Короче, без соответствующих флейт и лир, sic. Странно только, что творения, да и письма Че-че (до сих пор не опубликованные, а частично и не отправленные) очевидно противоречат этому распространённому мировоззрению. Как и, между прочим, известные даже Л-скому саратовские корни семьи Че-че. Возьмём из писем наугад, на авось:

«... в стране Бердан, где щупал рога Искандера Македонского. Там в храме поклонников Зороастра читал стихи. Как следствие, поскольку мало кто понимал услышанное, назван русским дервишем и выведен из храма с почтением, несмотря на свежую память о нашествии россов и разграбление Карабаха. Но мои синие глаза, особенно заутра, когда только заблестит луч денницы, возбуждают у туземцев обоснованные подозрения: как известно, Коран запрещает спиртное, а местные нравы — купание нагишом в море. Как бы там ни объясняли это сочетание запретов экологи с этнологами, а я-то знаю, откуда оно: ведь и я похмеляюсь морем, зане оно такое же на вкус, как пиво с солью. Что ещё? А, украл в штабе записную книжку, называется — как у Хлебникова — гроссбух. На треть уже заполнил, хотя вчера, например, увлекшись заполнением, порвал в горах штаны и теперь хожу в пожертвованных мне товарищами по несчастью. Но, а это как раз к счастью, тоже солдатских, иначе не знаю, чтоб со мною сотворило милосердное моё начальство. Ну да — скоро дальше на юг. И потому — что такое какие-то штаны? Когда: денег нет. Сумки, чтоб их носить, тоже нет. Коня, чтоб возить себя с сумкой, тем более. Потому и: голова болит, ноги болят. Мир скукоживается в носовой платочек... А что, папуля, на сей счёт миркуют саратовские туземцы, которых ты ныне пользуешь от цивилизационных заболеваний? Я имею в виду самые несерьёзные из них, венерические... Целую, твой Юня».

«... а вчера я упал на пороге дома Обнорских, закружилась голова, всё в ней смешалось. И в доме... в доме тоже всё смешалось, поскольку пришлось вызывать врача. То есть, хозяина дома в рабочее время дня призвать со службы домой, ибо это он туг якобы врач. А по-настоящему-то, если без шуток, его профессия – психиатр. Но Катенька О., между прочим, прелесть. Только вот и она не желает по-настоящему меня лечить, т.е. любить. И она права: какой ей смысл? У меня ведь тоже нет прописки в Метрополии, да и кровью из носу всё кругом пачкаю. Включая её туалетный столик, за которым пишу своё, когда не пишу за служебным столом в штабе армии ихнее».

«Алешка, Ормузд мой ненаглядный! Пока ты ещё не отправил в набор «Облаву», вставь туда, между 35 и 36 строками следующее:

(после запятой) и этот толстый генерал,
как трижды в степень возведённый
наездник-быкадор Буденный,
свершил наезд на белый Ленкорань.
В седле качаясь и скрипя
костьми,
читал обшарпанный Коран,
вложив прочитанное в скрепки,
но безуспешно: не заменит Магомет
чалмою Молдаванки кепку.
По-прежнему он сыплет горсть монет
в святой ручей и в катенькин диван,
чтобы когда-нибудь вернуться в сей Ливан
или Египет. Заодно туда и темя опускает,
чтоб остудить. Начштаб же называет
его: «глубокомысленный болван».

Что сказать о себе? После того, как меня комиссовали из действующей пограничной армии по подозрению в излишней душевности, т.е. душевной болезни, пишу исключительно за катенькиным туалетным столиком. Катенька, она ведь врачова дочка, кормит меня только яблоками, говорит – диета, витамины. А мне б колбасы... Хотя все говорят, не только Катенька, что это от неё у меня носом кровь, но я не верю: колбасы вон нет – а кровь течёт. Подробней об этом как-нибудь в будущем, а сейчас – это всё».

«...надеюсь, ещё буду признан сумасшедшим. Но уже ночую в больнице, милосердный друг заранее приготовил мне кровать в палате по ту сторону мира. Астрахани не вижу по той же причине: стоит отсюда выйти в мир – назад уже не пустят. А так – привыкают ко мне, и моему другу главврачу лишних вопросов не задают. Да и в чём выходить-то мне? Дарёные солдатские штаны тоже порвались. Что будет дальше? Неведомо. Друзья говорят: ничего, всё теперь будет не так, всё будет как-то иначе. А я думаю так, без ихней запятой: ничего и теперь не будет иначе. Конечно, ничего без запятой – тоже ничего, а всё-таки странно... какие разные люди бывают. Сестричка моя зелёненькая, проверь-ка, нет ли в моём сундучке записей позапрошлого года. Куда-то всё подевалось, найти не могу. Твой чер... нявый малцик Ю. Зёжу Че».

«Чтобы вернуть себе право на кровать в психарне, зачислился санитаром. То есть, пересек пределы мира в обратном направлении, и значит – пересек границу души, я так думаю. Прежде-то меня собирались причислить к душевным, хотя и больным, а значит – имело всё-таки место допущение, что я не вписы-

ваюсь в материальный мир, что я неотмирный! Потому-то я и не прописан в нём постоянно, потому мне и не дают нигде постоянной прописки! Но... несмотря на то, что всё это было твёрдо установлено, на него в конце концов закрыли глаза. И выгнали меня на улицу, не признав моих природных прав на простую кровать. Даже так называемые друзья – и те сказали: такое право ещё надо заработать, мы-то работаем, а ты что же – святого из себя корчишь? Брось-ка эти опасные игры, пока не поздно! И я поступил так, как подсказали мне друзья, исполнил оба их совета одновременно: поступил к ним же в психарню санитаром, осквернив тем самым всё святое. Теперь уж точно, скоро застрелюсь или меня застрелят. (См. PS).

Почему? Так ведь и я узнал, благодаря проведенной экспертизе, что, скорей всего, я не жилец в этом мире. Ну, а сам этот мир и без экспертиз смертельно враждебен к беженцам из-за его пределов. Я так думаю, Че-че.

PS: или скоро поеду к тебе, что одно и то же, зане придется прорывать ещё одну границу, государств. Поездка в Москву не менее для меня смертельна, чем на тот свет, или вот – в Махачкалу. Да и приезд туда не менее смертелен, про Ейск и Тамань-Тмутаракань умолчу, но можешь и сам проверить – правда ли то, что даже они не глупей Москвы. Тем не менее выполняю твою просьбу, посылаю для московского альманаха «твоего друга» на случай, если сам вместо воинственной Москвы подамся в какой-нибудь мирной чеченский аул:

Тихо лодка вверх дном плывёт по Оке
в Книгу Красную. Пара орланов на ней
белоплечих: А. Белый, А. Блок. На песке
ни следа от рассыпавшихся камней.

То ли тени попарно тонут в Оке,
то ли снег и туман. Но ни Книге следа,
рассыпаясь, не дарят, ни всплеска реке:
Калуга, Коломна, Рязань, Нижний Новгород
и т.п. – белоплечие все города.

Как видишь, совсем истосковался я. По чему? Да по настоящему снегу, ясно ведь! По этим двум причинам, впрочем, слипшимся в одну, как снежок, и снабжаю стишок таким именем автора: Че-че Нец. И такими координатами: Дек. ВЭКАо. Проследи-ка, чтоб не вымарали!»

«... а потом читал в том же литсалоне «Графиню СС». Ты знаешь, я читаю хорошо, и потому хлопали много. Но, как говорят знатоки: раз я могу со своим голосом делать, что хочу, то мне бы следовало сшить из него штаны. Ибо мои – как всегда дырявые. Однако, те же знатоки, производя аплодисменты моему чтению, денег на штаны-то и не дают, говорят – и без того их расходы велики. А мои меньше, что ли? Вообще вся эта Москва осточертела, как зубной порошок. Теперь, может, с облегчением подамся в Питер, так я думаю. Вопрос лишь: куда именно, где теперь, после всего случившегося, жить-то? Все эти годы – сплошное несчастье. И голова всё больше кружится, и в череп что-то всё чаще стучится, и всё сильнее носом кровь, и я сам: совсем один. Т.е. – вылитый дятел, ведь дьявольская болезнь моя несомненно происходит от постоянного стучания лбом в закрытые передо мной двери. А вылечиться от неё шансов так же дьявольски мало, ибо я по-прежнему никуда достучаться не могу. Иными словами, это у меня профессиональное заболевание, то же, что и у дятла, и у

самого дьявола. Так сказать, болезнь Д-д. Между прочим, дьявола иногда называют и дедером. Так что согласись: логично, что именно этим, кстати – ещё не пользованным, псевдонимом я и подписываю посланную тебе поэму: Де-де Р».

Трудно этому поверить, однако, любящие стихи Че-че люди действительно встречаются. Правда, куда чаще попадаются ценящие их, так сказать, принимающие Че-че за его вклад в поэзию. И, если речь тут идёт не о взятке, охотно принятой литературоведами, то налицо глупейшая техническая ошибка, сделанная из-за неверного определения его в разрушители-авангардисты (сам он называл себя охранителем-консерватором, и добавлял: глубоким). Кончая с ними: да, таких людей я встречал. Но мне не попадались люди, любившие бы самого Че-че, вне его творений. Люди, не только поставившие на полку книжечку с его творениями, а принявшие бы у себя дома его самого, каким он был. Значит, в этом я остаюсь по-прежнему одинок, как... тот самый дедер.

К вам обращаюсь я, невстреченные мною, столь же одинокие дедеры, любящие не истекающие из источника воды, а сам источник! Источник, сам-то нисколько не озабоченный вопросом – примет его или не примет кто-нибудь из литературоведов, внесёт он что-либо со своих вершин в долины мира поэзии (да и просто в мир) – или нет. Слишком высокого о себе мнения, говорят в таких случаях. Высокомерен, говорят, вон и Л-ский то же самое говорит. Боже мой, да разве о высокомерии вершин тут следует говорить? Да отведи этот источник к себе, введи его в свой двор и впусти в свой дом (и накорми) простейший или, что то же, приличнейший из людей! Наш источник и такой мелочи рад: тут же готов благодарно напоить и приличнейшего. И не только водами, но и изливающейся из него (не менее ценной из-за того, что через нос) кровью.

Да, Че-че действительно ничего не собирался вносить в этот мир, разве что свою кровь, то есть, себя самого. Но сам-то он уже был в мире, по меньшей мере, был заранее с ним согласован. Согласен с миром, если принять во внимание «гласность» его профессии, со всем, что наполняет мир. Взять из него любое, на авось: с Самаркандом и Петербургом, с Тимуром и Василием Блаженным, с преувеличенно телесными египетскими пирамидами и – египетской же, но совершенно бестелесной, хотя и возведенной в квадрат душой человека, с пятилучевой – но и шестиконечной звездой, с галифе и простыми штанами он тоже был согласен. Он одинаково согласно ездил на лошадях и паровозах, небо и хлеб одинаково служили ему пищей, сдобренной иногда рюмкой водки или каплей молока, всё равно. Он и этот его мир говорили одним языком, были одногласны.

Одногласны? Да, но и это не всё: Че-че и был голосом своего мира, его языком, который он отнюдь не держал за зубами. Мира, который он всегда держал под рукой, чтоб не сказать – подмышкой, с той же естественностью и с той же целью, для какой утка держит под гузном яйцо. Его мир лежал не где-нибудь далеко – а рядом, под его упирающимися в стол локтями, когда он, бодрый, писал. Но и уставший, он опирался на тот же мир, и тогда усталость его тела была усталостью самого мира, и благодаря такой опоре – над всей этой усталостью он, собственно, бодро парил. Таким образом, эта охватывающая всё усталость была сродни чрезмерной энергичности, мало кому известной (а ему самому предельно внятной) энергетике собственной тяжести.

Сказанное – ничуть не фантазия: когда худощавый Че-че осторожно присаживался на стул – тот трещал, а ягодицы высверливало болью, свидетельствующей о сдавившей мышцы мощи. Сам стул начинал давить навстречу такой

тяжести, сопротивляясь ей, и этим маневром опровергал всеобщность законов тяготения. Или наоборот, подтверждал другие законы: растительной жизни, ибо начинал вести себя подобно растению. А теперь скажите: когда растет, когда снизу вверх с непреодолимой силой давит стул — что ещё остаётся сидящему, кроме как парить над ним? Удивительно, что находятся ещё люди, не слыхавшие об этой неизбежности.

Так и тут: Че-че осторожно присел в кухне на стул и тот затрещал, а его хозяева удивлённо переглянулись, словно гость неожиданно воспарил к потолку или сотворил иное неприличие. Но, поскольку портфель был поставлен на колени гостя позже, приписать явление чрезмерной тяжести «авоськи» было невозможно. Стало быть, случилось как раз это самое, удивительное. Стало быть — опять удача, теперь не выставят, так и понял Че-че эти взгляды. А обнаглевшее вдохновение дополнило: и оставят. Однако, чтобы довести это до сознания самих хозяев, следовало провести их через изобилующий многими деталями ритуал, в котором поставленный на коленях (на виду) портфель играл главную, потому и многозначную, роль. Для чего, возможно, и выскочил на сцену чуточку раньше этот его псевдоним, а может и — подлинное его имя: авоська. Неясно ещё, как там женщина, а мужчина, хозяин, многозначительность эту уже учуял. Уже на неё понятливо реагировал.

Не в меру понятлив, осторожно оценил Че-че, стараясь не впадать в опасную фамильярность с авосем, слишком уж назойливо представлявшимся удачей.

Он прижал ладонь к щеке и шуршанул изрядно отросшей на ней щетиной. Стул, прямо-таки свирепо, впился в его ягодицы.

— Да-да, погода. Как назло, — это было сказано как можно многозначительней. — Точно, назло: так я думаю.

— Да-да, — а это с однозначным пониманием. — И ночевать, впрочем, тоже: как назло. Я тоже так думаю. Так... как, вы сказали, вас зовут?

— Я... меня... слушайте, а мы, наверное, одного возраста, нет? Тогда вы должны знать, что мне сорок три и... я вообще-то журналист, но и просто так пишу стихи... Значит, по обеим линиям, но как поэт — особенно, в командировках исключительно нередко!

И всё это с преисполненными волнения паузами, сопровождающимися ласковыми похлопываниями по портфелю.

— А вы поставьте-поставьте-ка свою авоську на пол. Да-да, просто на пол. Или сразу на место, в переднюю? А меня зовут... Александр Григорьевич, можно просто Саша. Но это квартира у меня сорок три, а мне самому ровно сорок. Другие, как и вы, дают больше, но я вот, хе-хе, не беру. Моя жена Соня — Софья Семеновна... но, если угодно, тоже Соня... хотя, вы наверное подумали: моя сестра. Нет? — втягиваясь в предложенный стиль, то есть, опять же с заметным волнением в паузах, только меньшим.

— Семеновна, вместо самого Семенова, — с мягкой дружелюбностью.

— Ну да, ну да, а к нам надолго?

— Командировка... знаете ли.

— Это-то я знаю! Но нет, говорю: к нам, надолго к нам-то! — руками обняв всю кухню, и, стало быть, гостя всей этой кухни.

— А... к вам на ночь, думаю, не более. Гостиницы не заказал, но завтра будет время поискать. Семенов, ах, этот мне Семенов! И такая, знаете, погода. А я лопух, лопух...

— Подорожник, — наконец-то тоже: с дружеской улыбкой, с подчёркнуто мягкой усмешкой.

– Ах-лксндр Гр-ч-ч, – сразу же сделал бросок Че-че, – Са-ша, понимаете... но: ах, конечно, простите...

– Ах, что там, – всепрощающий взмах руки. – Что уж теперь-то...

Тут и женщина, Софья Семеновна, выказала своё всепрощение: шмыгнула слишком крупным носом, повернулась затылком к гостю, зажгла конфорку, поставила чайник.

– Всё правильно, – одобрительно кивнул Саша и задержал голову в новой позиции, чуточку склоненной к середине груди. – Но теперь уж и его авось... портфель снеси в переднюю. А куртку повесь на вешалку. Чего уж там... Видывали и мы такое, и не один раз. Что скажете, разве такое не сразу видно: не какой-то там полуприличный – вполне интеллигентный человек, нет? Так что чего уж там: свои, чай, люди.

Глава 4

– Да, – склонил голову и Че-че, только не к середине груди, а к правому плечу. – Можно и так. Можно и чай, я думаю.

Он приподнялся, снял куртку и передал её вместе с портфелем женщине Соне. После чего, теперь – ещё развязней, снова раскинулся на стуле и даже вытянул ноги. Тот опять вскрипнул, а женщине Соне, проходя в переднюю, пришлось переступить через ноги гостя, демонстрировавшего свою усталость.

Ох, эта демонстрация... Тут, знаете ли, дилетанством и не пахнет. Предлагается полюбоваться не только знаками усталости: жестами, взглядами и так далее... а и обозначенными ими вещами, да так настырно, что непременно вспомнится каирский базар. Предстоит лишь убрать скрывающие товар покровы – и обнажатся выставленные в рядок, словно и впрямь на продажу: мокрые носки с впивающимися в ступни полузамёрзшими складками, прилипшие к пяткам клочки размокших стелек, ледяные пальцы, пахнущие почему-то хлоркой... Туда же впишутся и вещи, уже открытые покупателю: сутулость и небритость, незастёгнутая молния ширинки и лохматая дырочка на колене, лоскут выбившейся из-за пояса рубахи, свежий гной в уголке опухлых век и перхоть в бровях, а также увлажнённые обильной жидкостью, торчащие из ноздрей кустики. Но главное (на почётном месте прилавка): зеленоватый от грязи и весь в протёршихся дырочках – а некогда глянцево-коричневый портфель-авоська. Который как раз выносит из кухни, брезгливо морщась, покупательница: женщина Соня. Уже этой одной её гримасы достаточно, чтобы развязно раскинуть ноги на её пути.

– Знаете, – сразу же наклонился к Че-че не в меру понятливый Саша, улыбаясь не только ртом, но всей бритой головой, – я вас и впрямь уже видел. Но вот – где? Знал или просто встречал? В общем, выражаясь юридически: личность ваша мне знакома.

Наклон тела, и особенно – новый наклон диалога, были крайне неприятны: инициатива уплывала из рук Че-че. Он сразу же расценил это явление как волну откатную. Что ж, сам виноват, совершенно некстати расслабился весь, расслабленно выбрасывая ноги.

– Милостивый государь, – вскричал он, снова давая собеседнику фору в девяносто процентов, – управдом! Перед вами лицо выражения не общего, не юридического!

Но тут же улыбнулся и продолжил совсем тихо:

– Зато похожее на лицо известного киноактёра, так что многие путают.

Теперь должно было последовать, на какого именно киноактёра. А где ж его,

такого, взять? Разве что там же, где и ключи от этой квартиры: в инобытии.

– На этого... впрочем, покойника, как и все они... на Ливанова.

– На отца или сына? – сподличал Саша.

– На святого духа! Вы ведь тоже, простите, смахиваете на того... тоже наилучшим образом покойника, не в ваш адрес будь сказано... Леонова? Да, Леонова. Опыт показывает – все Леоновы редковолосы. Да что там, просто лысы, снова извините. Но не вы ли сами начали эту тему, про сходство, нет? А я всё это просто так, думаю – себе же и в пику: нервы.

Последняя фраза опять проследовала ин профундо, с чердака – в подвал, к хану Кончаку. Саша на этот раз улыбнулся не только головой, а и руками. И как это ему, подлецу, удавалось? Подлец, именно так и подумал Че-че, почуяв прилив к лопаткам тревожного чувства, казалось бы, навсегда оставленного там, опять же – в инобытии: в уборной или передней. А то и в подъезде. Между тем, брюшная аорта уже успела отреагировать на прилив забытого чувства возмущением, ритмичными толчками, разносимыми ребрами и диафрагмой по всему развязно брошенному на стул телу. Подлинный подлец, потому и подтвердил Че-че.

– А я просто ошибся, – сообщил подлинный подлец, словно бы поставив диагноз в результате зондирования загноившейся раны.

– Ну нет, – благородно возразил Че-че, на кварту ниже самого хана, и заключил это подвальное «нет» прямо-таки в железные скобки, так как на кухне снова появилась женщина Соня, как раз в этот миг переступившая его ноги в обратном направлении. Этому мигу и соответствовал, был с ним согласован, скачок на кварту, и вдогонку ему – взгляд снизу вверх:

– Нет. Вот вы, например, тоже видели меня раньше, Со-ня? Тогда на кого, по-ва-ше-му, я похож?

Нога женщины Сони продолжила своё начатое движение: опускание по другую сторону препятствия. Затем последовал плавный поворот спиной к вопросу – лицом к плите, и завершил движение выпад руки, увеличивший огонь конфорки под чайником. Затылок женщины казался выше, чем был на самом деле, благодаря выразительной пряди волос. Потому-то Че-че невольно переправил взгляд оттуда – пониже, но не намного, так как не переставал ощущать щекой присутствия внимательного Саши. Что ж, ничего странного: в конце концов, Че-че мог бы и сам признаться в том, что уже видел эту женщину. Только вот не сделал такого признания, не успел, так как она раздражённо шмякнула об пол принесенными из передней шлёпанцами, войлочными, со сплюснутыми задниками. Неотличимыми от множества других, виденных не раз и даже ношеных, так что, в общем-то, опять же своих. Саша утвердительно кивнул: снова – правильно.

– Совершенно верно, мадам, и пива, пожалуйста.

– А я вас где-то видела.

– В гробу, мадам, как раз в этих тапочках. Что ж, тогда и коньяку.

– Какой вы... Это как же так?

– А так, мадам: уже восемь вечера, вам пора закрывать и спать укладываться, нет? Да и мне тоже.

– Какой-то вы весь такой... Ваше пиво.

– Ваш чай, – подтвердил Саша. – Сонечка, а где колбаса-то? А вы, пожалуйста, чувствуйте себя, как дома. Для того наденьте-ка и тапочки, нам всем это поможет.

Оказывается, Соня уже успела разлить чай по чашкам, и даже нарезать хлеб. Впрочем, вопрос о колбасе остался открытым, как и вопрос о сходстве кого-то с кем-то. Молчание женщины, несомненно, было её ответом на оба вопроса, и что касается первого – то ответом исчерпывающим. Известно, скупа безмерно,

ответил на него по-своему и Че-че. Какой вы, однако... Ну, так какой же? Да такой, такой: преувеличенно закряхтев, он наклонился и снял туфли.

Снял, и самым показным манером пошевелил слипшимися во влажных носках пальцами. Носки смахивали на кору дерева, успешно перестоявшего всемирный потоп. Подтянув их, Че-че убедился в этом успехе: дырок ещё не было. Что скажешь, спросил он себя, уже повеселее. И с этим весельем вознамерился понаблюдать, как женщина Соня зацепит двумя согнутыми в крючок пальцами его туфли и унесёт их вслед за другими вещами в переднюю. Однако, на этот раз женщина не упустила случая наступить по пути на пальцы Че-че, что и превратило его веселье в гнев. Гнев, немедленно раздувшийся до ярости: Че-че, наконец, сообразил, что из туфель просто-таки несло хлоркой, нельзя не учуять.

Желание утолить эту ярость сделало его терпеливым, потому-то он и сумел дождаться нового возвращения женщины. И тогда только, когда она приготовилась в четвёртый раз переступить его ноги, только тогда Че-че опять наклонился и, покрепче ударив лбом в её бедро, стал не спеша натягивать на свои обросшие корой копыта пахнущие старичком шлёпанцы. В этой позе он хоть и задыхался, а чувствовал известное удовлетворение. Правда — недолго, так как, огибая его склоненную голову, женщина неприметным движением ударила ему в темя бедренной костью: в ответ. Ответ был куда мощней, нежели... вопрос. В конце концов, Че-че давненько не находился в такой близости к... Так что удовлетворение быстренько превратилось в разочарование, подобное тому, которое сопровождало оставшийся открытым вопрос о колбасе. С которого и начался описанный чувствами Че-че до конца (возвращением к началу) круг.

Он разогнулся. Женщина уже успела присесть за стол, в свою вершину треугольника, и теперь помешивала ложечкой в чашке. То же делал и хозяин. И Че-че присоединился к ним, навьючив на себя предназначенный ему крест: тапочки. Или хомут, кому как нравится. Че-че это не очень понравилось, он и сам не знал, зачем столь покорно натянул его. Но что ему оставалось делать, если он сам внёс сюда, на кухню, эту мысль: стать вполне своим? И вот, теперь все они, трое, все послушно стали своими: вон как согласно все помешивают своими ложечками... Кухня столь же послушно наполнилась звяканьем и скрежетом. Ну, а эта-то кому послушна, это-то чья и что за мысль?

Кто знает... Одно лишь известно: эти звяканья и скрежет тоже мысль. Как и всякую мысль, её нельзя пересказать иначе, чем она уже высказана, не изменив её саму. Нельзя перевести скрежет со звяканьем на иной язык, как нельзя перенести сюда за стол, скажем, каменную косу, выдающуюся в Каспийское море, на которой солнце выжгло знак совместного существования камня и воды: твои шаги по камням, а значит и по водам. Шаги, направленные к равномерно расположенным там, вдали, белым пятнам, по приближении к которым становится понятно, что это сидящие правильными рядами (отмеренными строками) чайки. И на каждый твой шаг они отвечают воспарением рядов, одного за другим, без единого взмаха крыльев, только опираясь на раскалённые змеевидные потоки воздуха, в которых немедленно растворяются, и значит — отвечают на твоё приближение своим испарением. Так и мысль, нет: такова и мысль в воспарении своём, и значит — в испарении. И не важно, о чём она сейчас, она ведь всегда об одном и том же, о себе. Важно — какова она, важно, что это — именно она. Ни на шаг не приблизиться к её порядкам (строкам) так, чтобы они не испарились. Она для того и помещает свои порядки перед взором, чтобы наглядно и необратимо испариться. Да, порядки её наглядно необратимы: рождаясь из неупорядоченных воспарений, с самого начала они стремятся к своему

испарению в конце. И потому их начала и концы неразличимы, они читаются от конца к началу так же, как и от начала к концу. Как палиндром.

«Пиши, лось, соли шип.
Громи, наган, и морг.
Йога нос, о, Сосо нагой!
Скелета папы – папа телекс.
Я и нога, тенет агония.
От тени лоб отлетел, то боли нетто:
йод зуб араб уздой
таракана карат...»
(и так далее, палиндром из «Графини СС» Че-че).

Необратимость и испарение – верные признаки мысли. На худой конец – верные спутники. Правда, так же ведут себя, вон, и обыкновенные тараканы при приближении к ним. Но ведь многозначашими, или, что то же, ничего не значащими совпадениями полон этот мир. О них не судят – судачат без неуместной серьёзности, по-свойски, по-домашнему:

– А борную кислоту пробовали? Всем помогает.

– Мы пробовали всё, – сокрушённо покачал головой Саша.

– С детства их не выношу.

– Что делать... Значит, и у вас, как ни странно, было детство.

– Только вот... они к кислоте, и вообще ко всему привыкают враз, так.

– Значит, и вы, и мы ко всему привыкнем. Что ж ещё нам делать, раз так?

– Но они сами не дают к ним привыкнуть, испаряются. Как мысль.

– Как, извините, деньги. Будем современны.

– Как куры, которые не клюют денег.

– Как листья, которые клюют куры.

– Как куры, которых на курортах... то есть, даже за границей уже говорят, что тараканы у нас теперь достигают десяти сантиметров в длину.

Женщина Соня с силой брякнула ложечкой о стол. Че-че улыбнулся ей, глядя на ложечку. Получилось – улыбнулся ложечке:

– Да, пока ещё десяти. И ещё, они стали всеядными. То есть, никакой яд их не берёт. Я так думаю. Но так и в последней энциклопедии сказано.

– И зачем только такое... сказано? – звучно хлебнул чаю Саша, и тем вострубил призыв к миру. Дельный, постановил Че-че, мелочь – и та идёт в дело дважды.

– Чтоб главного не сказать. А из главного главное, что вот у нас они называются пруссаками, а в Пруссии – русскими. Или вот: Тмутаракань, известно, это тьма тараканов, то есть, бесчисленное множество – но она же и реальная тьма египетская! Зане также известно, что Тмутаракань – это Иудейское царство, как и Астрахань, или правильней: Ясир-Таракан. Это оттуда их нашествие на Египет и, следовательно, на нас. Это они, а не саранча, подлинная египетская казнь, слыхали? Не может быть, чтоб до сих пор не слыхали...

– Представьте, не слыхал... Вы ведь журналист, у вас широкая осведомлённость, а у меня – откуда? Ну хорошо, а что ещё не сказано главного, допустим, из не совсем главного?

– А всё, что не сказано: в энциклопедии ли, между строчками, или вот тут, между нами. Что они осмелели и при свете нападают, вместо того, чтобы испариться. Что яды, попадающие к ним в организм, они перерабатывают в укрепляющий панцирь бальзам. Полагаю, даже вы давно не видели раздавленного пруссака. А между тем, предостаточно укрепив панцирь, тот же яд они уже перераба-

тывают в опасный для самого человека состав, включая сюда и русского человека, его даже, я так думаю, в первую очередь. Теперь только подобраться, куснуть, и – готово. Что и делают: подберутся и кровь сосут, когда русский человек спит, выпав из активной жизни, по ту сторону её границы... и вообще истории, как это делает, например, и наш несчастный Семенов! Он, я думаю так, даже в первую очередь, ибо не где-нибудь – в Мелитополе! То есть, они успешно вытеснили за границы истории жизни клопа, и сами стали кровососущими. Отсосут литра два, отвалятся и переваривают. Например, вы видели совершенно прозрачных, то есть – никаких пруссаков? И не увидите, а увидите только после того, как насосутся. Но тогда они уже и не прозрачные, а рыжие, или совсем красные. На очереди теперь летучие мыши, те самые, кровососущие упыри: этих пруссаки тоже вытеснят из истории, и сами станут летать. Подкрылки-то уже имеются, очередь за крыльями. Обучаются хорошо, всему. Теперь они передают знания не только генетически, а и письменно: умеют читать следы друг друга, кал и прочее, в чём содержится вся необходимая информация. Что ж с этим сделаете вы, а?

– Ничего, – согласился Саша. – Никаких надежд.

– А... ха-ха, не-ет! Есть надежда, есть! Скажу правду, хотя за неё у нас гонят... И я за неё, между прочим, уже пострадал, так. Хотя в тот именно раз писал стихи и статью не про тараканов, про другое. Но тоже – про паразитов. А правда и сейчас есть, слушайте, готов пострадать снова: знайте, вся наша надежда на войну между пруссаками и чёрными. На взаимное их самоуничтожение. Как это было между динозаврами и этими...

– ...тиранозаврами.

– Да, ветеранозаврами.

– Ветеринарозаврами.

– Страдалец... А правда-то то, что не удивительно, если его отовсюду гонят. Ты посмотри на него, какой-то он весь...

Так женщина Соня второй раз в этот вечер разомкнула свои вечно поджатые, и оттого навечно заключённые в скобки морщин, губы. Правда (за которую тоже можно так, между прочим пострадать), вместе с губами чугочку всё же разомкнулись и они.

– Такой, – согласился Че-че. – Гонят, но при том кормят же! Как и тараканов.

– Ну-ну, – примирительно прикрыл веки Саша. – Скажи-ка лучше, ты бабушку уже кормила?

– Хм, – сказала Соня.

– Тараканью бабушку? – догадался Че-че.

– Нет, это её бабушка, – поправил Саша. – Она парализована. Собственно, полужива.

– Ну, продолжай, – сказала Соня.

– Не продолжайте, – попросил Че-че.

– Парализована, – повторил Саша, глядя в упор на Соню. – Полумертва: ничего не чувствует.

– Полубабушка, – догадался Че-че, – ничего не слышит.

– Не помнит.

– Не понимает.

– Не знает.

– Зато чувствую я, – продолжил Саша, – когда волоку её в уборную. В нашем доме, сказать прямо, постоянно пахнет смертью. И в этом, как и во всём прочем, обвиняют меня. А между тем, чья это бабушка, разве моя?

– Бабушка смерти, – рассеянно предположил Че-че, уже задумываясь о чём-то постороннем.

– Ты опять за своё? – спросила Соня. – Выбрал времячко... Забыл, что ли, что уборная занята? И вообще: вперёд расписана?

– Видите, она тоже не совсем понимает, – пожаловался Саша. – Я, как и вы, страдаю за правду, только ещё сильней. Потому как, у себя дома, вы-то это хорошо понимаете.

– Она правды не чувствует.

– Не знает.

– Не помнит.

– Нет, – возразила Соня, закрывая сахарницу, – я её чувствую и знаю. А теперь и запомню, надолго.

Скупая стерва, подумал Че-че, надо было положить в чашку четыре куска, теперь поздно: не даст. С другой стороны – с четырьмя вышли б сопли, пришлось бы жевать, не пить. Он втянул назад струйку, выступившую из правой ноздри. А остатки промокнул пальцем.

– Кровь, – сообщил он всем своим, разглядывая этот палец. – Я так думаю.

Женщина Соня вздрогнула, и Че-че впервые за весь вечер увидел так близко уставленные прямо на него её глаза. Вернее – на его испачканный кровью палец. Совсем близко друг к другу посаженные, чрезмерно выпуклые, глаза женщины выглядели двумя разинутыми ртами. Но и третий, настоящий рот её, теперь тоже был открыт настежь, так, что из него высунулся порядочный кусок желтоватого языка. Откусит, подумал Че-че, и на всякий случай отодвинул палец подальше.

Накатившая на него из всех трёх ртов волна была тягостна, томяща, как та, накатившая на раскалённый солнцем каменный мыс – и похоронившая его (по меньшей мере, в памяти). Как та, спугнувшая с камней уже не ряд за рядом, а сразу всех белых птиц, все мысли одновременно. Всякую мысль, так додумал Че-че эту мысль, не обратив внимания на её противоречивость. Понятно, всё его внимание было отдано женщине, от которой он теперь отодвинулся весь, так, на всякий случай. Но тут уже и хозяин Саша предостерегающе простучал по столу ногтями, и сама женщина Соня спохватилась: опустила веки, захлопнула рот, и даже повернулась профилем к Че-че... Качнулась на затылке высокая прядь...

– Я спрашиваю, ты бабушку кормила?

– Похоже, он очень болен. Думаю, ты меня понимаешь...

– Ничего страшного, просто у меня очень слабый нос, – сообщил Че-че. – К тому же, я в последние дни очень много ходил, и всё, как известно, безуспешно. А сколько ещё ходить, если не забывать о моей профессии! Но это тоже не страшно, я привык.

– Очень, очень как раз страшно, – возразил Саша. – Вон, например, темнеет. Так куда ж вы пойдёте со своим слабым носом в такую темень-то египетскую? Нет-нет, переночуете у нас. Мы все должны помогать друг другу в такое время, нет?

– Да, время хорошее, – согласился Че-че: правду сказать, он и сам был немного встревожен обступающей его тьмой. – Если забыть о...

– Уже совсем темно, – подтвердила женщина.

Глава 5

И добавила:

– Какой-то он такой... Наверняка ведь болен серьёзно. Чем же ты-то ему поможешь? То есть, тебе и впрямь надо бы о нём забыть. Я – так думаю.

– А я имел в виду: забыть Семенова, – улыбнулся Че-че. – Не многим он мне помог.

– А другие, они многим вам помогают? – подхватил Саша. – Я имею в виду: вас достаточно печатают, чтобы прокормиться?

– Они-то всегда прокормятся... И мною, и другими.

– Ну, хорошо: чтобы я мог встретить ваше имя в прессе?

– Меня чаще публикуют под псевдонимами. Зане многие кормящиеся от меня, – многозначительно поднятый указательный палец, – полагают, что подёнщина не к лицу поэту. И только немногие понимают, что и поэту нужно кушать.

– А! Благотворительность, милосердие, это я тоже понимаю. А какие это псевдонимы, если не секрет?

– Ну, например... Де-де.

– Да-да, – подтвердила женщина Соня, – я ж говорила, в нём есть что-то такое... иностранное. И псевдонимы, какие только у шпиона. Или такого заговорщика. Нас-то разве он не заговорил уже до смерти? Ну, а паспорт, паспорт-то у него какой-нибудь, интересно, имеется? И если имеется какой, то чей?

– Да-да, – подтвердил и Че-че, – в некоторые государственные институции заложена, но не в людей, работающих в них, идея благотворительности. Как и в государство в целом, и тогда эта идея выражена в паспортах. Та же идея просматривается и в средствах массовой информации, я думаю. Так что, рассчитывать на милосердие можно: не напечатают, так сторожем или санитаром устроят. Иногда это вовсе не трудно сделать: ведь в некоторых институциях эти двое – одно и то же. Авось, такая хорошая идея погибнет от руки работающих людей не слишком скоро.

– А... авоська... помню, снова понимаю, – внёс своё подтверждение и Саша. – Значит, отставим журнализм, оставим только поэзию. Но и поэты, говорят, в наше время уже не ходят по домам, выпрашивая... что-нибудь. Вот, например...

– Пожалуйста, не надо, – взмолился Че-че, – имён не надо.

– Хорошо, не надо, – согласился Саша. – Тогда так: значит, как журналист, показать свои напечатанные статьи, будучи сторожем или санитаром, что одно и то же, не можете. Но, скажите теперь как сторож и санитар, поэзия ведь – это очень трудное дело, нет?

– Не очень, при определённых навыках... Но я понял вашу мысль: могу показать, как это делается, если интересно. Легко убедитесь, что я тот, за какого себя выдаю. Если, конечно, именно это вам интересно.

– Интересно, за какого же именно, – забурчала Соня, почти не шевеля губами, зато шевеля огромным носом, и это выглядело, как: забурчала носом. – Имя-то своё так и не назвал. Наверное, слишком уж оно такое, известное не только в какой поэзии, а и в такой милиции. Наверное, он известный мафиозо в своей этой... ну, откуда он к нам в командировку на гастроли... из Италии? Из Ирана, он сказал? Ну да, а копнёшь, и все эти ихние поэтические Египты оказываются обыкновенной такой Астраханью. Да не Разин ли эта его настоящая фамилия, а?

– Могу назвать, – пригрозил Че-че. – Но что это докажет? Лучше я и впрямь покажу, как это делается. А хотите, сымпровизирую вам по-итальянски? Хотя по-русски оно намного трудней, конечно. То есть, доказательней. Да и кто ж тут у нас итальянский знает, кто другим переведёт? Может, вы, Софья Семеновна? Так займитесь, наконец, каким-то делом, переведите мужу. А то какая-то вы всё такая...

– Он говорит, – уверенно перевела Соня, – что сымпровизирует нас по-итальянски. То есть, зарежет, как в том кино. Знаю, видела – как: под макароны. А я вот – и макарон не дам, хоть оба режьте меня на части.

– Правда, покажете? – спросил Саша. – А как же без милосер... без милости... простите, без музыки?

– А я сам по себе музыка, – объяснил Че-че.

– Но без гонорара, без публики, без аплодисментов!

– Ваше тихое одобрение дороже рукоплесканий, – припоклонился Че-че. – К тому же, очень часто они подменяют собой хлеб насущный, я так думаю.

– Вот-вот, – отметила Соня, – а тут, где дороже, всё наоборот. Такое тихое одобрение, выраженное в хлебе и чае, и, может быть, в какой-никакой колбасе.

– Ну, и где ж она такая, колбаса? – поинтересовался Че-че.

– Хорошо, – настаивал на своём Саша, – а что для этого нужно?

– Мне нужно на закупки, – упорствовала в своём и Соня, – выдай мне восемьдесят или сто. Я – так думаю.

– А мне нужно... – Че-че спохватился, и своего не выдал. – Выдайте мне тему, или просто набор слов: для очевидности.

– Хорошо, – согласился Саша, – выдам. Но говорят ведь, что поэт сам выбирает темы для своих сочинений, а публика не имеет права диктовать ему.

– Это не для всех обязательно, – отрезал Че-че. – Я и с диктовкой справлюсь, думаю... Тезис же, процитированный вами, внутренне противоречив, каковое противоречие и раскрывает его автор в дальнейшем. А именно: что эта декларация полной свободы, приличествующей поэту, обманчива. Присмотреться к ней, да всмотреться в любую декларацию свободы попристальней, и сразу ясно, что декларация-то как раз ограничила свободу, запретив пользоваться по меньшей мере одной возможностью: повиноваться кому-нибудь, кроме неё самой. В нашем случае – запретив поэту пользоваться подсказкой публики. Если угодно – заказом. И я, всмотревшись в неё и поняв содержащуюся в ней ошибку, могу теперь со своим даром делать действительно свободно всё, что угодно. В том числе и по заказу всякое, если заинтересованному во мне заказчику чего-нибудь угодно, например – вам...

– Колбасы. Вы так прекрасно излагаете, что я прямо вижу то, о чём вы говорите. И мне сразу стало угодно колбасы.

– А я предпочитаю печёную картошечку, чёрный хлебушек... С подсолнечным маслицем, разумеется. Но пригласят – пойду и на колбасу. Сказано ведь: заказчик диктует – я ему отвечаю свободным повиновением. Иного выхода у меня, как правило, и нет. Или есть? Тогда давайте...

– Нет, – отрезал Саша, – иного нет. Сказано ведь: только колбаса. Но зато она – дело верное, и потому не будем с нею спешить, а поспешим с началом наших испытаний.

Женщина Соня вздохнула и склонила голову.

– Всё, что прикажет почтеннейшая публика, – склонил голову и Че-че. – Назначите ли тему, или предоставите жребию?

– Сказано ведь: испытания, – напомнил Саша. – То есть, испытаем судьбу и предоставим всё слепому жребию. Вам-то к нему, авось, не привыкать. Например, возьмём вот эту, сегодняшнюю газету. Ведь вы её ещё не видели, да?

– Я вообще газет не читаю...

– Конечно-конечно, я не забыл, вы же ещё и журналист! Ну и отлично: значит – всё равно что слепой. Судьба, как установлено, тоже слепа, и таким образом наш эксперимент будет поставлен абсолютно корректно. Вот тут, в газете, которую вы наверняка, значит, не видели, опубликованы ответы на крестословицу, напечатанную на прошлой неделе. Подойдёт?

– Авось, подойдёт, – согласился Че-че, уже бросая первый взгляд в складки газеты. – Небось, кроссворд придумали сами? Как и это: крестосло-овица... Надо же! Что, подрабатываете этим, или так, балуетесь? Только если так, то какой же это слепой жребий?

– Звонила Наташа, у неё какие-то сумочку такую срезали в трамвае, – между тем, что рассеянно бормотал себе под нос немедленно приступивший к исполнению заказа Че-че, сообщила Соня.

– Уже третью, – подсчитал Саша. – Наводит на подозрения. У неё и кот сдох. Говорят, посикал – и сдох. Что бы это всё значило? На месте её мужа я бы...

– Ты бы, уж я знаю, что ты бы... Ты такой, – вздохнула Соня. – А с того кота-то что было взять? Какой он был перед смертью-то: в нём и полкило не осталось, совсем больной. Отощал так, что весь такой стал... не крупнее мышки.

Нарисованные голосами хозяев живые картинки наружного мира, с его трамваями, Наташами, котами и мышками, оживили вечное присутствие этого мира и под локтями Че-че, ещё ближе: подмышками. И знакомое оживление сразу же воздвигло между ним и хозяевами привычную стену, вроде вот этой, отделяющей кухню от уборной. Стену, тут же накинувшую на него свою тень.

И под её защитой, в сгущающейся по эту сторону стены тьме стало ясно, что не он (как бы кто ни утверждал это) был заговорщик – а против него, в ослепительном свете по ту сторону стены был затеян заговор, названный «экспериментом абсолютно корректным», но который куда корректней было бы называть коварным. Заговор вполне успешный, ибо и тут, в затенении по эту сторону стены, в таком, казалось бы, изолированном от внешнего мира месте, иначе не скажешь – месте максимально внутреннем, и тут заработали те же правила игры, что и снаружи. Да, и тут выбор делал не Че-че, и жребий снова был брошен не им, и пал так же не по его воле, как и сам набор слов, напечатанных в газете. Значит, для него – и впрямь вслепую.

Но ведь Че-че, как и всегда, был вполне согласен с этой слепой волей, был с нею привычно одногласен. Собственно, это она привычно заговорила его голосом и, следовательно, ему оставалось лишь достать из кармана огрызок карандаша, чтобы, как и обещано – свободно (то есть, покорно) записать её повеления. В тени воздвигшейся стены это делалось и впрямь легко. Ну, а о привычных рабочих навыках, или вот: о вполне комфортабельном одиночестве на людях (может быть, приятнейшей в этом деле штуке), можно и умолчать.

Я, разумеется, видел эту газету. Строчки, вписанные в неё рукой Че-че, поместились на полях, эдакой непрерывной ленточкой, заломленной на углах листа. Иными словами, едва успев излиться из источника, они слились в одну, собственно, строчку. Как попала ко мне эта газета? Да так же, как и другие автографы...

Если бы этот вопрос задавали мне исследователи жизни Че-че, я б отвечал так: мне хорошо знакома Соня, и ещё лучше Саша. С этим мы так близки, что знакомые нас путают. Тем более, что мы неразлучны, как хороший хозяин и его пёс, у которых, как известно, морда одного неотличима от лица другого. Но ведь исследователи избегают подобных вопросов. Так что я сам, не дожидаясь других исследователей, спрашиваю себя: разве не одно мы с Сашей лицо?

Отшутившись таким манером, я делаю теперь вполне серьёзное заявление: как бы то ни было, а помещенное ниже стихотворение разбито на строчки и записано столбцом мною, ибо в оригинальном виде его опубликовать невозможно из-за отсутствия необходимого формата. Конечно, я исходил из готовых элементов его конструкции. Но так следует поступить и ради первоначального замысла, ради чистоты самого источника, изливающего из своих недр, несомненно, мерные строки со строгими очертаниями, на газетном листе смывшимися (как и всякая излившаяся туда мысль) и мною впоследствии реконструированными.

Такая реконструкция, стало быть, необходима. Что же касается некоторых, вполне справедливых упрёков – то кто же, если не я, ввёл их в обиход? Ведь,

рассматривая непрерывную строчку-ленточку на полях газеты, публике действительно легко было бы вообразить (что трудно сделать, глядя на мою, пусть и более близкую источнику реконструкцию), как началась импровизация. Вернее — как протекала. Присмотреться к ней, всмотреться в неё попристальней, и сразу ясно, что началась-то она ещё давеча, ещё на лестничной площадке.

Так что, всмотревшись в неё как следует — самая слепая публика тоже сможет вообразить, как склонился над газетой, продолжая свою импровизацию, Че-че. Как упали на лоб и прилипли его волосы, как исказилось его лицо. Как прикрылись веками глаза, и под веками (на границе кожного и слизистого покровов, тела и души, что давно уже установлено) зашевелилась и вспучилась ещё не внятная, но уже исполненная прасмыслов, масса: все сплавленные в один всеобъемлющий знак, но сразу же начавшие обосабливаться знаки. Как сразу же задвигался огрызок карандаша, фиксирующего эти обособления, ведомый почти вслепую (не замечать если узкой щели между прикрытыми веками), и как раздражённо отбрасывались мешавшие поворачивать газету предметы на столе. Как в то же время перебирал Че-че ногами, словно куда-то бежал, или был псом, которому снится чудный охотничий сон, в котором он на отлично решает поставленную хозяином задачу. Которому не мешают сниться пониженные голоса хозяев, формулирующих, может быть, очередную задачку в его, Че-че, загадочной судьбе. Или напротив: обсуждающих свои частные дела. Напротив — сказано на тот случай, если сегодня эти два дела не совпали.

Впрочем, и в том случае импровизация получится та же, по меньшей мере — вчерне: разве кому мешают тихие разговоры о своём, пусть и за общим столом? В конце концов, сидя за кухонным столом напротив своих хозяев, этих двух загадочных сфинксов, Че-че тоже ведь никому не мешал, тихонько бормоча про своё. Решая не их, а свою, собственно — узко профессиональную загадку. Да-да, ведь высказанное им подозрение, что именно приличный интеллигентный Саша был составителем этого кроссворда (прошу прощения: крестословицы), и следовательно — полным хозяином не только квартиры, но и всего положения, не подтвердил пока никто.

— Вот так... вчерне, — наконец, покончил Че-че со своей работой и откинулся на спинку стула. — Ответы на кроссворд по вертикали. Все тут, можете сверить.

Сверяем. Исходный набор — ответы по вертикали: орлан, канун, турок, каньон, сыр, скат, знамя, игла, берег, хвоя, предлог, лопух, леопард, «Фрам», паутина, водопад, звук, Ажаев, анис, вагранка, аммонал, канитель, ватник, лопатки, масло, ангар, пол, виола, прибор, тавро, Таити, Рубенс, Антарктика, жест, Яковлев, Тибет, як, караван, Алдан, смета, план, реал, кастрюля, Марина, хлеб, жбан, носогрейка, Ейка, артель, Инвар, копейка, инжир.

Результат:

«Орлан кануна, контрабанды турок,
в каньоны канул, словно сыр в курсак.
Затрепетал и скат, угрозы знамя,
иглою полумёртвого хвоста...
Тогда на нашем берегу узнали,
что значит павшей хвоей стать.
Тут под предлогом обморока стынет
за лопухом стыдливый леопард,
и рык его обмяк, и в связок паутине
замёрз, как «Фрам» во льдах, как в поле водопад.
И точно так в умах у нас замёрзли звуки,

или бесмысленно-чужие имена:
Ажаев, например, или Багрова внуки,
как в сидор шмотки, в память вбиты нам.
Так вкус анисовой похлёбки
мешают с дьяволом в вагранке
и получают аммонал.
Так тянут ночи канитель,
чтоб не стелить из ватников постель,
а натереть лопатки маслом для загара,
но лечь не в пляж – в глубокое нутро ангара,
откуда льётся голосом двусмысленного пола,
из радио, унылая и вялая виола.
Она – прибор с тавром Таити,
а бедра – Рубенс пожилой,
а гриф её – Антарктики воитель.
Лечь в темноте, не спать – а видеть сны
иного полушария страны:
там скромный жест ладони Яковлева
тропой Тибета двинет яков влево,
за ним и прочий караван.
Пять переходов – и Алдан,
там и составим жизни смету.
На этот нереальный план,
возможно, даже выклянчим монету,
хотя б реал. Ведь там гремит Марина
кастрюлею, и хлебом дышит половина
её груди, и пивом плещет тела жбан.
К огню присядем. Носогрейкой хлюпнет Ейка.
Артель-семья кругом, где каждый Петр или Иван,
и только Инвар, как случайная копейка
в кармане. Сядем: печки мощный пламень,
над ней на бечеве инжира жирный камень...
Забудем, что орлан нырнул за пустяками,
а турок контрабанды в утр кануны канул».

– Я ж говорила: зарежет, – пробурчала Соня. – В одном ошиблась, он это сделал по-турецки. Нет? А разве это по-русски написано? Да? Тогда почему я ничего не поняла, а? И дело не во мне: никто, никогда.

– А подпись зачем забыли поставить, а дату? – усмехнулся Саша. – Тоже ведь пустяки, так, может, и мы нырнём за ними? А то ведь и вправду получается: никто и никогда. Уже и не псевдоним даже, просто аноним.

Поверх исходного набора Че-че крупно расписался: Юня Дедер, осень-08.

– Почему же 08?

– Для рифмы, – огрызнулся Че-че. – И потом: какая, собственно, разница?

– А такая: я положу этот автограф в основание коллекции.

– В основании погибели, – буркнула Соня.

– Sic, – согласился Че-че. – И я так думаю.

– Нет, он таки хочет, чтоб его выгнали, – повысила голос Соня: так-так, свою-не-свою, с отвращением-без-отвращения, а потихоньку-полегоньку и такого слушателя расшевелить вполне можно, ежели уметь. – Такой весь... как

покойный кот: всё сикает да сикает. Будто не в какой кухне на стуле сидит, а в такой уборной на стульчаке. Сидит там и... думает.

– Да, но... всё-таки это удивительно, – усмирительно заговорил Саша. – Как! Эти чужие слова в крестословице, эти чужие мысли едва коснулись вас, а уже стали вашей собственностью! Словно... кошелёк какой из чужого кармана. Будто вы сами этот кошелёк... эти мысли взлелеяли. Итак, для вас вовсе не существует труда, который, по моим сведениям, непременно связан с вдохновением? Удивительно... Но тогда – на каком же основании, вашими словами, выклянчивать монету? За что ж, действительно, гонорары-то брать, вернее – за что давать?

– За собственное милосердие, – усмехнулся Че-че, – не за моё же усердие... Но я их обычно и не беру, потому что – не дают ведь! Разве что, вон, чаем. Или ночевой. Не выгнали – вот мне и гонорар, такого я и хочу. Того только и желаю, прекрасно изучив реальность! Ведь не Алдан же эта квартира, и хозяйка не Марина, а Софья вовсе Семеновна. До тех пор, разумеется, пока и её не выслали на Алдан... Но нет ведь, не вышлют! Дальше сто первого километра не пошлют, гражданство всё-таки имеется! Нам бы такое... Нам-то сто первый километр – что? Тьфу. Мушиный укус. А к мухам нам не привыкать, sic.

На самом же деле он желал не только того, о чём заявил, и вообще – отнюдь не одного. Многоличность Че-че (варианты параллельного развития событий с его участием) отразилась и в многоликости его желаний: том же расколотом единстве, что и у выдвигающихся из осколков зеркала в разные стороны фрагментов отражения единого оригинала. Кстати, эта универсальная метафора подходит и сашиной (и всех других) привычке цитировать классические оригиналы. Отличие второй привычки от первой незначительно, оно в известном упрощении дела: тут делается то же – но без всяких уже ссылок на источник. Выгодность такого упрощения очевидна многим юридическим лицам.

Но вернёмся к многоличности Че-че. С одной стороны ему, разумеется, понравилось, что его оставили ночевать, но с другой (то есть, одновременно) – ему таки хотелось, чтобы его выгнали: обстановку там, куда бы его выгнали, нельзя было назвать комфортной, но и тут-то, в общем, тоже. Кроме того, он до сих пор ещё не справился с давно начатыми, пусть и в уме – но ведь простейшими, арифметическими действиями: вычислением степеней опасности того и этого варианта с последующим их сравнением в простейшем уравнении. Многочисленность попыток вычислить всё это тоже нашла отражение в многоликости самого Че-че, и прежде всего – в его неоднозначном поведении, сочетавшем рассчитанную любезность с неподрасчётным хамством. К последнему относилось, например, и его упорное sic, совсем не случайно связавшееся у Сони с уборной.

В итоге... Нет, не так... Итоги попыток, следовательно, подведены ещё не были. Но результат, позвольте, был. Он был равен нулю: Че-че по-прежнему барахтался в различных своих вариантах, подобно воробцу – между мазутными крышами и мазутным же небом, устроенными погодой. Подобно мухе – между чердаком и лестничной площадкой, уборной и кухней, пока её с разгону не вмазало в зеркало, это фальшивое окно, устроенное в передней людьми. Подобно жертвенному козлёнку, между камнем и ножом, устроенными... где, кем? Да кем-то там... Этот важный для всех нас вопрос нужно решать в более подходящее время, а сейчас – он не так уж и важен. Гляньте, разве думает сейчас об этом основополагающем для него вопросе сам Че-че, по крайней мере – думает так же целеустремлённо, как и прежде? Вряд ли.

Скорей всего, целеустремлённо он думает только о доводке и переделке написанного на полях газеты. Что, кстати, тоже ведь представляет собой обдумывание версий

(диверсий). Начав, как известно, с шутки, под конец он, профессиональный версификатор, занялся этим делом всерьёз. В отличие от многих, начинающих всерьёз – а заканчивающих так, что не знаешь: смеяться или сразу плакать от безумного смеха.

– Всё понял? Ты его в дом пустил, понимаешь, как своего, а он тут каркает по-своему, как сова какая! – Соня, очевидно, хорошо знала, плакать ей или смеяться. – И ведь накаркает, знаю. Ведь я его теперь окончательно узнала, вспомнила, где однажды его видела: на Зверинской. И не просто на улице такой, а в самом зверинце. И не просто в публике, а в такой клетке. Он и там каркал по-своему, совея от шаровой еды, а ещё и записывал своё карканье. Только не в газету, а в такую здоровую книжку, величиной с газету.

– Кар-р, вполне вер-роятно, – подтвердил Че-че. – Такое со мной бывало.

Глава 6

– И не раз. Ведь я там сочинил добрую половину одной моей поэмы. Не потому, что сторожем работал: из сторожей меня вышибли уже через день. Заметили, что пишу, и подумали – в газету, или прямо в милицию. А я своё сочинял, не ихнее. Спрашивается, где ж его ещё сочинять, коли оно про зверинец? И в прошлый раз про него написано было там же, так что ничего исключительного... Но дирекция этого не знала. Многие не знают, но их можно простить, если они хотят знать. Вот – вы: моего имени вы, допустим, ещё не знаете, но про Хлебникова-то, конечно же, слыхали? Ну так знайте: я – это он сегодня... Чтоб вам попонятней было: считаю себя продолжателем дела, несмотря на то, что таковым лицом ещё не признан юридически. Потому моя поэма и называется в целом не «Зверинец», а «Нахлебниково». То есть, не только потому, но она в известном смысле и пародия тоже. Чтобы ещё понятней, каждая часть там имеет своё название, например – «Египетская ночь», тоже ведь такая... известного рода нахлебница. Но это ведь не всё! Совсем же рядом со Зверинской – Васильевский остров, ещё одна пародия! На нём ведь и сфинксы, почти сразу за углом, и греческие храмы... Но про это вы, конечно же, тоже уже слыхали. А вот – чего не слыхали: желаете, прочитаю кусок? Тогда надо бы подрезать пару кусочков хлебушка, а то у нас хлебница совсем пустая стала.

– Опять резать собрался! Прочита-ю... Хватит, нарезались и нахлебались во как! – чиркнула указательным пальцем по своему горлу Соня, да так, будто намеревалась вскрыть его: со свистом. – Не позволяй ему и прикасаться к ножу! Он и без того, без добавки достаточно осовел.

– Да, – согласился Саша, – время уж спать ложиться.

– Но совы-то по ночам как раз не спят, – охотно возразила Соня: потихоньку-полегоньку её сумели не только расшевелить, но уже и раскачать. – Они сидят на таком сучке, если не вылетают на охоту. Зачем же он сюда прилетел: поспать или поохотиться? А если и за тем – и за этим, то что же, пачкать из-за такого чистые простыни? Или всё-таки лучше его выгнать, и пусть себе летает где-нибудь подальше отсюда, в других местах охотится?

– Я могу и без простыней, – заметил Че-че, – привык там у себя просто на сучках, то есть, на полу. Я крепкий, не смотрите, что такой...

– ...слабый, – подсказала Соня. – Смотрите, какой! Слабый, слабый у вас нос, сами такое говорили.

– Зато про вас такое не скажешь, – так галантно выразил своё согласие Че-че.

– Потому что много глупостей говорите, – пригрозила Соня своим мощным носом: справа-налево и обратно.

– А вы молчите?

– Он поэт, – нашёл выход из созданного собеседниками тупика Саша. – Ему положено говорить глупости. Так говорят знатоки, по меньшей мере – один знаток.

– Я пою, – подтвердил Че-че, – мне положено петь. Спать меня положат, а я не сплю, всё пою. Действительно, глупо... Тот знаток сам-то, по-видимому, очень неглупый человек.

– Разве он не журналист? – спросила Соня.

– Жирный лист, – сказал Саша.

– Грязный лист, – поправила Соня.

– Чистый лист, – подправил и Че-че.

– Не иначе, он имеет в виду свой паспорт, – утвердила Соня. Че-че обменялся с Сашей улыбкой, в общем-то понимающей.

– Я, право, действительно могу на полу, хоть и в уборной. Всяк занимает своё место, а я вот нет, всё не своё. Иногда и вовсе никакого, стало быть, вполне можно думать, что я – чистый дух.

– Нечистый, – буркнула Соня. – Известно: дедер.

– Да, – сказал Саша, – ты давай чистые простыни, но сначала налей ему в ванну воды. Помогать, так помогать вполне. Я думаю, там ваш дух всё же найдёт себе место, пусть и временно, нет?

Че-че снова улыбнулся, и зря.

– Но постоянно-то вы где-то всё же прописаны? – небрежно бросил Саша.

– Да, в Гурьеве, – помрачнел Че-че: сашино якобы понимание оказалось довольно примитивной уловкой.

– Далеко... Пришлось, небось, пересекать, а может и прорывать границу? Надеюсь, удалось без боя, совсем незаметно? Никакой регистрации? Что ж, это ещё лучше. А что, Гурьев хороший город?

– Каша там хорошая, – небрежно бросил и Че-че. – Но в Ленкорани всё же получше. Про Каир вообще умолчу, там такую кашу заварили, что... К тому же Каир ещё дальше, за четырьмя границами, их и с боем не прорвать. Между прочим, это уже не просто лучше, а совсем хорошо: нельзя же их, в самом деле, всю жизнь до смерти пробивать?

– Можно. Да и как же иначе? Без боя тут, – царапнул Саша ногтем стол, – границу на ту-то сторону жизни не прорвешь.

– А он не только на ту сторону, а и в Каир летал без боя, такой совой, – раскинув руки, Соня показала: какой именно, – высоко над всеми границами.

– Ну, эта-то сторона в сравнении с той просто рядом, почти тут, – постучал на этот раз по столу Саша. – Хотя и в совсем близкой заграница живут всё же обыкновенные заграничники, даже если они и недавно живут, не старожилы там. А вы... в вашем Каире вы тоже сторожем работали? Что сторожили? Вот, говорят, границ вы не прорывали, так может...

– Да, – подтвердил Че-че, – их и сторожил, с этой стороны, где я – старожил. Заметьте, это очень высокой квалификации сторож: пограничник. Даже в Египте. Я так думаю.

– Потому что это сравнительно недалеко...

– Зато это несравненно глубоко...

– Так, что даже волнует... Но что же в Египте волнует больше всего? Расскажите. Только, пожалуйста: согласно вашей высокой квалификации.

– Не каша же, ясно, – отрезал Че-че.

Но отрабатывать хлеб свой насущный велено всем, и потому он, согласный со всеми, в том числе и – с таким неудобным проявлением мировой воли, продолжил:

— Наверное, вид на город с минарета. Вечером. На закате, перед тем, как навалится тьма... Тогда крыши, словно лесбиянки, чьи щёки перемешаны с ягодицами и покрыты солью, как пудрой.

— Образ, — сказал Саша, — понимаю, это красиво.

— Это прекрасно.

— Это глубоко.

— Это волнует.

— Не образ, — возразил Че-че, — а Каир. Жемчужная россыпь в ночи: ягодиц, зубов и глаз. На крышах сушатся чёрные покрывала со звёздами, то ли паранджа — то ли небо. Холодная вода в кувшине. Посвистывание песка в лапах сфинкса. Его смазанная светом прожекторов, как жиром, спина. За пирамидами — подобная океану ночь, непроглядное никуда. Что-то там колышется, что-то промелькивает, что-то подвешено там... неизвестно, что: загадка. От неё хочется плакать, хочется, чтобы называли Юней. Хочется кого-то любить так, как хочется чего-то съесть.

Че-че неожиданно чихнул и вытер нос рукавом.

— Хочется чихнуть, — сказала Соня, начиная в свою очередь и по-своему царапать коготками клеёнку.

— Слабый нос, — сказал Саша, следуя теперь за ней.

— И не только нос, — присоединился к ним и Че-че, — я-то хорошо знаю.

Итак, благодаря одновременному царапанью клеёнки, или, уж не знаю, согласно продуманному сценарию, за столом установилось долгожданное единогласие. А может быть — благодаря общему желанию поплакать, кого-то полюбить и съесть. Установилось и единение самого Че-че со всеми его вариантами. И он стал вполне един: воспоминания или мечты о других возможностях больше не досаждали ему. Отношения внутри такого единения могут и не нравиться, но что из того? Они уже есть, дело сделано. Кроме того, ясно ведь теперь окончательно, что Саша — приличный интеллигентный человек. Соня — очень даже и неплохая женщина, а сам Че-че — несчастный, но уже обогретый первыми двумя гость. А то, что кто-то из них действует как бы не по своей воле, по подсказке других, так и что же? Во-первых — назовите: кто именно. А во-вторых — назовите случай, когда человек полностью обходится без суфлёра, и тогда я тоже... чихну.

— Налей, значит, воды в ванну, — напомнил Саша, — переверни бабушку, нарежь колбасу.

И Соня, на этот раз послушно, отправилась выполнять поручение. Как там получилось с бабушкой, Че-че знать не мог, а вот вода действительно полилась в ванну, в том самом убежище, где он как-то посиживал уже на унитазе, и куда ему, очевидно, теперь придется вернуться. Шум воды был слышен и на кухне. Зато с колбасой дело обстояло иначе: на столе всё осталось без видимых изменений. И Че-че решил отнести это слово к области призрачных понятий, к вариантам неисполнившимся, или ещё предстоящим в будущем. И правильно сделал, впрочем — а что ему ещё оставалось делать?

Кроме того, с такими нереализованными вариантами он давно научился справляться, средство — полное смирение перед ними. А если они оставались агрессивными и при виде его смирения, то в ход пускалось средство более мощное: нереализовавшиеся в той или иной действительности варианты Че-че реализовывал в стихотворениях, то есть, устраивал для них другую действительность. В его письмах, например, образцы устройства таких действительностей встречаются постоянно:

«... спустили на талях на пристань. С теми же двумя грузчиками закатились в кабак, и было — чёрт знает, что было. Тамошнее вино наподобие мечты: пьёшь, а не берёт. Зато утром просыпаешься в канаве, и обнаруживаешь, что таки взяло: пиджак,

ботинки... Портфель, правда, оставило. Пыль в городе тоже оставило, а в ушах даже и прибавило. И это к лучшему: народ тут больно крикливый, слух режет. Одно слово – Персия, почти что Африка, и хотя на железнодорожной станции написано Ленкорань, почти что Каир. Ну да не слушай мои сегодняшние брюзжания, в них никакой оригинальности нет, зане всякий похмельный день – ночь египетская:

и в этот день, опоясован талями
я как борзая, перетянутая в талии
вношу судьбу на пристань с корабля.
А там и стадо в суматохе дня,
быка тяжёлые бока
и выбитое дно у бочки.
И точка света в дня конце.
И дочка женщины, которая в кольце
рассвета
думает обо мне:
да.

(Вставлю, пожалуй, в мою «Графиню СС» такой вариант)».

Эта кратчайшая из возможных мысль женщины в сочинённой поэме хорошо демонстрирует, как упихивал Че-че свою мечту в новосозданную действительность: словно сыр в курсак, плотно.

Поговаривают, что меняются времена, значит, меняется и лексика. Мол, бумагу сменяет целлофан, холст – полиэтилен, алмаз – кубонит, колбасу – иная начинка кишки... А там и полихлорвинил, вместо самой кишки, и вообще: вместо всего – интенция и дискурс.

Как видно из процитированного куска поэмы, Че-че всё это не касалось: напомню, он себя считал глубоким консерватором. Это не обязательно, отвечал он на соответствующие указания времени, пусть и хорошего. Больше того, так думал он, не всё же только мне заботиться о нём! Если уж оно такое сейчас хорошее – должно само немного подумать и позаботиться обо мне, не только о других. А чтобы я понял эти мысли, и другие позаботились бы именно обо мне, а не снова о других, высказать их моим языком. Не я ему – оно мне пусть подпевает. Ну, и что же (проверим, прав ли он), думала о Че-че сочинённая не им – самим временем женщина Соня так: и мёрзнет он в рефрижераторе ВАСХНИЛа, упиханный в курсак из полихлорвинила? Нет, она если и думала, то куда лаконичней: н-да-а...

– Интересно, что думает обо мне наша добрая Соня? – спросил Че-че. – Я думаю – она думает: нет.

– Этого никто никогда не узнает, – улыбнулся Саша. – Что думают актёры, когда играют роли? А ведь и Соня, вы этого, конечно, знать не можете, по профессии безработный театральный работник. А когда-то, лет десять назад, она ещё работала. И очень, знаете, хорошо: в театральном буфете. Там я её, между прочим, и встретил. А вы? Я имею в виду, это-то вы знаете: пива мне, пожалуйста, и всё такое, а после работы давайте, мадам, встретимся... Нет?

– Ага, после спектакля, – задумался Че-че. – Значит, всё это просто театр... Так я и думал.

– Да, и начинается он прямо с вешалки. В передней. Но – и далее везде.

– С выселки в переднюю, и дальше, без остановок.

– С виселицы передней, но и задней, не остановишь. Вы что же, работали и в театре сторожем... задника?

– Я там повесился. Но не на заднике, а в фойе, среди прочих фотографий авторов пьес.

– Вот как! Тогда скажите, работа сторожа или, допустим, журналиста... Полезна ли она авторам стихотворений и пьес? Помогает ли она, как говорится, художественному творчеству? Интерес мой, вы понимаете, совершенно на этот раз бескорыстный.

– Бездарным помогает, другим мешает. Совершенно, как вы понимаете, всякий раз небескорыстно. Писать, ничего не высказывая, помогает. Высказываться осмысленно мешает. Ну, а вы-то кем корыстно работаете, что сторожите?

– Сплавы всякие... Я инженер-металлург.

– А, мечи сплавляете на сторону, а приобретаете орала. Тогда скажите вы, согласно вашей квалификации: а вам бы помогло в вашей работе у печи совсем иное дело, например, травление запечных дел мастеров?

– Это кто такие? Мои мастера, в основном, перед печью вытанцовывают, не за. И с чего это я стану их травить?

– А мои – за печью, в том числе непременно и за этой, на вашей кухне, ибо зовутся тараканами. Их, их-то вы, говорю – травите?

– Травить их неразумно. Можно все другие продукты перепортить.

– Так ведь и так всё портится со временем, что прежде всего значит: дряхлеет. Хотя и многое прочее значит тоже.

– Так ли? Ну да, например, я, несмотря на здоровый образ жизни, со временем стал дряхл. А вы, несмотря на нездоровый? Вы выглядите свежо. У вас ведь, вероятно, нет язвы двенадцатиперстной кишки? Я так и думал... Вы ещё не испорчены, совсем свежи. Но ведь мы до сих пор говорили о преходящем, о нашем мясе, не о существе. И значит – вообще не о нас, ибо и у свиньи мясо, а мы – люди. Итак, возьмём наше существо: так ли уж велика между нами разница? Как знать, изменились ли со временем наши суги, какая именно из них испортилась? По преходящему невозможно судить об этом, даже если вы в сравнении со мной очевидно мясом юны.

– Я сом Юня, – согласился Че-че, ибо сработала на этот раз склонность не к анаграммам, а к изысканным рифмам, впрочем: – извините, так меня называли родители, и ещё... сестра. Но они все умерли, то есть, очевидно изменились. Правда, именно потому они, согласно вашей инженерной квалификации, не суть. Но тогда вернёмся к нам, пока и мы не умерли. Вопрос прозвучит так: в наших сутях, по-вашему, ничего не изменилось со временем только потому, что мы живы, да?

– Да, они изменят себе, то есть – нам, лишь потом, когда мы сами умрём. Но это уже не есть, не будет вопрос времени.

– Да, потому что это есть ответ времени! И совершенно однозначный: в нас уже изменилось всё, зане мы давно умерли, и не раз. Допустим, я – обычный человек, попонятней – юридическое лицо... Тогда вчерашний я – мёртв, а может, уже и сегодняшний, который там на ваших часах час? Разве завтра или послезавтра найдут меня сегодняшнего в наличии, то есть, живым? Нет, не найдут. Вчерашний чай – сегодня уже вовсе не чай. Даже вкусная копчёная колбаса, если не будете длительное время её кушать, и та перестанет быть вкусной, то есть, перестанет быть собой, безнадёжно перестроится в нечто иное, пусть внешне и похожее. Не станем называть это нечто по имени: интеллигентные люди таких имён не употребляют... То же и про сам желудок с кишечником: язвы разложения обязательно прободают и их. Я не к тому, чтобы вы её прямо сейчас нарезали, но ведь и такая не мясная вещь как душа – и та портится, не то что колбаса... И её изъязвят язвы гниения. Или это один и тот же процесс? Скажите, по-вашему, в колбасе есть душа?

– Есть, – серьёзно подтвердил Саша. – Однако, вы коснулись очень серьёзной темы. Мёртвый вы, определённый час, найдут или не найдут вас завтра в наличии... Но главное – найдут ли вашу душу послезавтра неиспорченной. Потому ответ на ваш вопрос прозвучит так, согласно моей инженерной квалификации: что такое душа? Вера, надежда, любовь. А разве под покровом плёночки кишки, или теперь – полихлорвинила, найдётся что-нибудь иное? Нет, там та же вера, та же надежда, и, разумеется, любовь. Как известно, это три ипостаси всеобщей истины. Что, скажете, это не истина, не всеобщая? А назовите мне такого человека, который не любит колбасу! Вы, что ли, не любите? Ха-ха. Кто-нибудь не надеется её откушать, не верит в такую возможность? Ха-ха-ха. Кроме того, существует и надёжный способ проверить наличие этой истины в конкретном куске колбасы: если он вкусен, значит в нём она есть, ибо одним этим свойством удовлетворяются все три её ипостаси. Более того: такая проверка покажет, что и животное, из которого указанная колбаса сделана, столь же несомненно обладало истиной в полной мере. Ибо та же истина гласит: если животное верит, надеется, любит, его мясо наверное вкусно. Особенно – у свиньи. Но точно так и у людей, ведь нас с вами, понятно, куда больше интересуют люди. Ещё понятней: конкретный человек, пусть даже он и не юридическое лицо. Это я не к тому, что прямо сейчас её нарежу всю, но ведь и человек, вы сказали, портится...

Он встал и открыл холодильник. Достал оттуда колбасу, сорт – домашний, отрезал порядочный кусок и протянул Че-че. Тот кокетничать не стал, сразу впился в него зубами. Затрещала вкуснейшая плёночка...

– М-м... какая: вкусно.

– А будь хоть крохотная язвочка в кишке, ограничивающей доступ воздуха к её содержимому, о вкусе и говорить не пришлось бы: внутреннее бы враз испортилось. Это как с границей государства, чтобы вам было понятней, поскольку про границы-то вы всё обязаны знать. Ну, а я всё про колбасу.

– Всё это очень интересно, – бормотал Че-че набитым ртом. – Оказывается, и поэты, и инженеры теперь обязаны знать всё про всякое, включая колбасу. Да, время поистине хорошее... Значит, и современники все хорошие, совсем уж в доску свои люди. Ответьте же, согласно всем своим и нашим общим квалификациям: как современник, как свой своему, как инженер поэту... У колбасы душа оригинальная, присущая только колбасе, или она, скажем, универсальная монада, могущая найти себе применение и в сыре?

– Сыру у нас нет.

– А Соня мне не дала колбасы, хотя она у вас, оказывается, есть. Что ж она, страшно вообразить, такого обо мне думает?

– А что ей особенно думать, если она слыхала давеча журчание вашей струи из уборной. Так сказать, ваш sic.

– Ещё давеча! Вот не думал!..

Тут Че-че захохотал и, подавившись остатком колбасы, закашлял. А с его измотанными жизнью, и значит, как минимум – втрое быстрей преходящими, юными мясом и костьми такие упражнения совершенно не совмещались. Попонятней если: пока он был занят кашлем, под прикрытием этой ширмы к нему подкралась, собственно, уже коснулась его смерть... Да, он тут же бы и помер, если б его не отвлекло от прикосновения смерти – прикосновение к затылку некоего горячего предмета. Он оглянулся и увидел уставленные в него лихорадочно блестящие, вывороченные ноздри женщины Сони: весь нос её разбух, и теперь смахивал на варёное яйцо, вывернувшееся из дважды лопнувшей скорлупы. Вероятно, им она и коснулась затылка Че-че. Дыхание его

замерло, стало колом поперёк глотки. Но вместе с дыханием умер и кашель, что и спасло самого Че-че от смерти в ту минуту. Он тихо радовался этому, хотя загнанный в глотку кол учинял, конечно же, кое-какие неприятности. Впрочем, не сравнимые с последующими.

Соня протянула руку к его щеке и тремя пальцами ущипнула её. Ой, мысленно молвил Че-че и покрылся слоем свежего пота поверх застывшего старого. А что ещё мог он молвить и как? Если из лица Сони выступили все его внутренние ребра, если лицо Сони стало похожим на его же отражение в бедре вон того ребристого самовара.

– Колбасу, значит, нашли, – сказала она, не шевеля губами. – Ну, и какая она? Чай, такая... вкусная?

– Свиная, наверное, – пробормотал Че-че. – А чаю точно: давайте. Промыть после неё глотку не помешает.

– Довольно близко к истине, – похвалил Саша. – Поскольку и до неё не помешает, хотя она и, обратите внимание, от-чечественного производства. Вы-то хорошо меня поймёте, как современник и пограничник... бывший? Ну хорошо, современный заграничник: при нынешнем иностранном засилии нам ничего не остаётся, кроме как оказывать сопротивление. Причём, как пассивное, так и активное.

– Жирная, – пожаловался Че-че. – Отвык. Но я вас понял, пусть и отчасти. Пассивное, это потреблять только свой продукт, ясно. А активное – это как, какое?

– Да так, – махнул рукой Саша, – как-то так... такое.

– Видно, что отвык, – сказала Соня. – Весь такой тощий, что и спасибо после еды не скажет, иностранец. Прямо напрашивается, чтоб его выгнали, да подальше, к нему в заграницу.

– Нет-нет, я не тощий! Я изящный, – запротестовал Че-че. – Но и я за то, чтобы нам всем сообща поддерживать от-чечественное производство, ради его будущего. Я верю в наше будущее, не революционер же я! Совсем наоборот, глубокий консерватор.

– Видишь? Ничего, что тощий, зато он преисполнен надежд, и веры, – возразил и Саша. – Но я должен огорчить вас: консервов у нас нет, консервное производство мы ещё не открыли. В этой области... сопротивления у нас ещё отставание. Но мы тоже преисполнены надежд, в этой области – тоже.

– Чё-чё такое, каких надежд? – хмыкнула Соня. – Скажи ещё: любви. К консервам.

– Это скажу я, – вежливо согласился Че-че. – Но и сыр я люблю не меньше. Да что там – крепко люблю его! Душу б за него положил. Да-да, такой, знаете, сорт с душком... Точно, как у копчёной колбасы. Один и тот же душок. Скажу больше, сыр без такого душка – всё равно что человек без души. Но это вслух, а про себя-то я говорю, что это всё одна и та же, только разделённая душа. Или переселенная, депортированная, м-да-а... Кстати, справка: человек без души, это такой, который не делится с другими своим душистым сыром.

– Не надо отвлекаться, скажите ещё больше про себя, – предложил Саша. – Что, например, и эти переселения душ вы крепко любите. На это указывает ваша любовь к пересечению границ. По меньшей мере, любите указанные вами конкретные депортации: из человека в колбасу, и из колбасы в сыр.

– И надеюсь на них, – согласился Че-че и с этим, – а вдруг сыр у вас всё же есть? Но сказать правду, верю-то я в переселение только одной, одной только моей души. Да и то – с боем...

– Но и я про то же, – одобрил Саша.

Глава 7

— ...и только в стихи, — совсем тихо договорил Че-че, отвлечённый от темы внезапно вспыхнувшими сожалениями.

Да, он вдруг пожалел, что избрал в уборной именно этот, слишком уж ограниченный в возможностях кухонный вариант. Отказ подать к столу сыр только подчеркнул и без того ошущаемое ограничение, но тем и развязал эти прискорбные сожаления, по суги — раскаяния. Захотелось вернуться на исходную позицию и переиграть всё заново, иначе: направиться через переднюю ко входной двери, открыть её и... конечно, опять же — предстать, но совсем другим участникам действа. Теперь они, все те, казались менее опасными, чем эти, а как партнёры в сложной игре — более гибкими, готовыми немедленно (и сердечно) поддержать самые необычные ходы и любой (в том числе и благополучный) исход импровизации.

А этот, кухонный вариант вообще перестал быть импровизацией, ограничившись только одним, слишком узким и тесным, и тем встревожившим Че-че руслом развития. Он именно так и подумал: игра становится чересчур опасной. И не откладывая на потом материализацию этой мысли, то есть, забрезжившей возможности повернуть, вернуть неблагополучно сложившуюся импровизацию к её источнику и затем направить в иные, уже из-за одной только множественности своей более перспективные русла — сразу же приподнялся, пробормотал нечто, вроде: ну, спасибо за всё...

Но перед ним горой стояла женщина Соня, перекрывшая ход в коридор, и, тюкнувшись лбом в её заколебавшийся живот, ограничивший ему мир с запада и юга, Че-че был вынужден прервать своё туда движение.

В тот же миг явственно заколебалась и верхняя граница этого мира, потолок. Словно и туда что-то тюкнулось: что-то там, по ту сторону границы закреблось, загрызлось, попыталось прогрызть её насквозь — но тоже бессильно прервалось. И вместо того, чтобы настоять на своём праве свободного выбора, Че-че ткнул в направлении потолка указательным пальцем (не точно по вертикали, а чуть наискось). Пророческий жест этот он часто использовал и при чтении вслух, придавая акцентируемой интонации особое значение.

— Это что там такое? — сопровождая жест, спросил он строго, как и полагается бдительному пограничнику.

— Паразиты там, вот какое, — разъяснила Соня. — Развелись не хуже тараканов, никакой яд их не берёт. Да не сам ли ты, мило-ок, про них рассказывал? Называются: бомжи.

И снова отщипнула от щеки Че-че кусочек мясца с кожицей, то есть, будто бы попробовала отщипнуть, проделав соответствующее движение.

— Худ, — резюмировала она кратко. — Что ж с него взять? Когда и взяться-то не за что.

Словечко «бомжи» и без того крепко ущипнуло Че-че: не щеку, разумеется, но сердце. «Худ» же и вовсе тюкнуло ему в темя, словно какой чугунный утюжок. Ему стало жаль себя и он принуждённо рассмеялся.

— Что ж, что худ, — возразил Саша, — зато имеет реакции здорового организма. И это уже не худо. Продолжим?

— Продолжим, — согласилась Соня. — Небось, и он уже вспомнил, где меня видел.

— Да, — вздохнул Че-че, — вспомнил. Не раз видел в подъезде на лестнице, и во дворе, и ещё вот в квартире...

— Продолжим, — повторил Саша. — Итак, вы не впервые в нашем доме. Я так и думал. И не впервые ищете... Семенова, да? Как же теперь быть со всей

этой вашей журналистикой, с предназначенными вам сигналами: стуками в потолок? Признайтесь, вы со своими дружками затеяли нас ограбить. И, как утверждает наша Соня, зарезать.

– Ничего подобного...

– Хорошо! Хорошо... а как быть с вашей струей в уборной, sic!

– Хорошо, – согласился Че-че, – я всё расскажу. Только сначала учтите: я ничего не врал.

– А Семенов? А про себя чего наврал? – вскричала Соня. – Врун-то какой, прямо профессиональный! Да он прямо требует, чтобы его немедленно выгнали.

– Да оставьте вы этого Семенова! – вскричал и Че-че. – Вот дался вам этот... Ну да, допустим, я бомж. То бишь, без определённого места жительства, но всё же человек, не какое-то там юридическое лицо! Извините, если что не по-вашему, но у меня лицо человеческое! Следовательно, простите, многоликое: и журналистское, и сторожевое, и поэтическое, здешнее и заграничное, всё вместе. Потому и называется: божественное. Чтоб вам попонятней – оно как у Брахмы, а не у инженера-буфетчика. Так что, ничего я тут не врал. Но по порядку... Случалось ли вам бывать в Гурьеве? Нет, конечно же – не случалось. А зря, поверьте мне. Будущие мои биографы напишут, что я тосковал по дальним дорогам, что меня донимал ветер странствий. А этому – не верьте. Меня донял ветер, верно, но не тот, а этот вот, который вон там за окном во тьме поистине египетской. Которая была когда-то и для меня светом, светом души моей – а теперь весь этот свет ваш, о, бездушные инженеры и буфетчики! Да, и вы слыхали, что души исходят из одного и переселяются иногда в другое место. И это правда. Но и тела это проделывают не реже, и в библии этот процесс так и называется: исход из Египта! Вот и меня так отсюда изошли, очень даже душевно переселили моё тело вниз, на крайний юг. По пустыням, по горам и прочим инстанциям... в конце концов, в тот самый Гурьев. Имели же в виду, естественно, конечную станцию моей жизни. Потому – препроводили нежно: сыграли отвальный вальс, выписали документы, кинули через бедро. Но по порядку... Итак, это случилось почти десять лет назад.

– Хватит, – сказала Соня. – Достаточно.

– Нет, – радостно подскочил Че-че, – десяти лет оказалось недостаточно, требуется ещё! Посмотрите на меня, разве можно подумать, что уже всё? Нет, нельзя, хотя за давностью лет, казалось бы, нельзя уже и вообразить, что я когда-то жил в этой самой квартире. И служил в журнале «Охтинский Пегас», отнюдь не сторожем ещё. А что? У меня был папа, была... сестра, правда, не туг, а в Саратове. К нашему делу, стало быть, это не относится. И вдруг – такая оказия: я получаю горячий материал об одном типе из министерства обороны. Обрабатываю. Редакционное начальство прочитывает, публикует, рассчитывая расшевелить публику. Расчёты, как всегда, были правильные. Во-первых, я. Известно, я своим даром могу расшевелить кого угодно, раскачать не только что инженеров с буфетчиками, а и самих литераторов. Во-вторых: да уж, делишки этого типа не выглядели торговлей клубникой на рынке в свободное от службы время... Я, кстати, люблю клубнику. Небось, опять скажете: вру. А что, нет?

– Нет, – сокрушённо качнул головой Саша, – клубники нет.

– И не надо. Всё равно, делишки типа были торговлей не клубникой, а клубничкой-публичкой. Иначе говоря, эдакий передвижной публичный дом для высших чинов. Доходы весьма и весьма... Перехожу к результатам, к итогам, они в этом случае тождественны: тот тип – стал министром, сам министр – премьером, само министерство получило вливание, то есть, множество прежде

цивильных учреждений влилось в него, и так всё выше и выше все, кроме меня. Кроме нас. Мы, как вам уже известно, покатились в обратную сторону. Мой редактор, мой начальник отдела, я сам – все мы уже через месяц ехали кто куда, но в общем вниз. Кто прямо под землю, кто с пересадкой в подвале, а кто подешевле: на юг. И в целом – по своей воле, ибо выбора ни у кого из нас не было. С тех пор я свою компанию не видел, зане это я получил пугёвку со скидкой, на юг. Мне повезло, что именно меня сочли дешёвкой. У них были таки основания, но об этом позже... Другим же определили иные, уже названные места. Не будем слишком часто повторяться, а то жизнь станет вовсе неинтересной. Продолжим: сначала меня определили писарем в штаб пограничной армии, учтя моё умение писать. Опять повезло, был бы я музыкант – поставили бы вечно кругить пластинки, это такие плоские алюминиевые тарелки. Значит, круглые сутки посудомойка, вонь, грязь, электрические разряды в баках, пар... короче: пария. Кстати, вот вам ответ и на вопрос, помогает ли журналистика поэзии. Мне сказали позже, что я так легко отделался потому, что был представлен добрыми людьми – заинтересованным карающим лицам как невинный идиот, и в доказательство были предъявлены именно мои стихи. Стихи засвидетельствовали, что всё – так, что я, несомненно, лишь глупый барашек, втянутый в дело коварными волками, планировавшими отдать меня на съедение...

– Вероятно, ваш вид у многих вызывает желание строить такие планы, – заметил Саша, ни с того, казалось бы, ни с сего вдруг ставший обидчивым и злопамятным. Впрочем, ненадолго. – Вы и впрямь смахиваете на барашка. Точнее, на козлика. А ваше нынешнее положение может и приличного... обычного буфетчика навести на такие мысли, не только карающего инженера. Посудите сами, разве это необычная мысль: уложить не в могилу – а себе, так сказать, в кузов пуза ушедшего в инобытие, а всё ещё претендующего на место в этом мире бомжа? Разве, скажите-ка сами, это не лучшее решение, скажем, жилищной проблемы? Я имею в виду не только стоимость квадратного места на кладбище.

– Не знаю, – отмахнулся Че-че, – вам видней. Вы дельный, авось, и из вашей чуши извлечёте выгоду. Но меня, бездельника, вам выгоднее слушать бескорыстно, коли уж начали... Как вы знаете, зане всем это известно, годом позже объявили и всеобщую мобилизацию. Ибо все министерства влились в министерство внугренней обороны.

– А, так вы, собственно, провокатор тех событий?

– Можно и так... Но меня ведь за провокацию наградили той же мобилизацией, что и пассивных наблюдателей. Разница в том, что моя музыка играла недолго. По общей мобилизации нашего полку, пишущих людей, в армию прибыло достаточно. И меня из штаба турнули, придравшись к тому, что я то ли что-то там украл...

– Ага!

– ... то ли что писал не ихнее, а своё. Да-да, на прежнем основании, опять, как видите, сослужили свою благородную службу стихи, меня турнули из штаба и перевели в Гурьев, санитаром в тамошнюю психушку. Что ж, меня и такое устраивало, поскольку я получил койку и на ней прописку. Я даже полагал, что получу приют надолго, если перейду в категорию пациентов. И предпринял кой-какие шаги в ту сторону... Удивительно, но когда меня определили в параноики официально, я койку сразу потерял, меня из больницы погнали. Что, вероятно, доказывает ещё лучше, чем стихи, то самое, из-за чего я её потерял: мою паранойю. Кончаю... С этой пропиской я и оказался заграничником, когда в Персии образовались новые республики. И теперь вот вернулся на родину бе-

женцем из-за границы, иностранцем. Следовательно – таки вернулся в свой дом, но не в квартиру, а на чердак этого дома, который я с детства знаю вдоль и поперёк, и из которого выехал десять лет назад. Ведь квартира моя – как вам хорошо известно – оказалась противозаконно, при живом-то хозяине, продана. Вполне приличному, впрочем, человеку... Запасных квартир, как вы понимаете, зане все это понимают, у меня нет. В суд подавать? Не смешите... Просто посмотрите на меня, и всё станет ясно. Что именно ясно? А что мне даже приличных людей жалко, зане я – добрый человек, и потому моё место в мире людей отныне и навсегда там. Я так думаю, sic!

И Че-че снова вознёс свой пророческий указательный палец к небу. Нужно отметить, что изложенная им страница автобиографии несколько отлична от аналогичной страницы его жизнеописания, сочинённого А. Г. Л-ским. Строго говоря, своей мерзкой книжонкой этот самозванец второй раз уложил в могилу бедного Че-че. Сказать помягче – вторично убил. Однако, что ж из того следует: и он опасную играет игру? Ну да, следует то же самое: пути назад нет.

– Следовательно, это вы там сейчас грюкаете, – уже гораздо благодушней сказал Саша. – Ступайте там помягче, у нас штукатурка облетает. А что до квартиры, то вы ещё хорошо отделались: могли ведь заодно и пришибить, как многих других... таких. Опасные, скажу я вам, играете игры. Ведь очень даже свободно, грюк – и всё: вполне приличное место в мире совсем свободно.

– Нет, – обиделся теперь Че-че, – там грюкаю не я, а мои товарищи по несчастью, как говорит наша Соня – всё бомжи. Плюс один ребёнок, двухлетний, но по необходимости ещё грудной. И ещё там грюкает облава, прицепившаяся ко мне на улице и по моим следам... Но я, как видите, ускользнул. А почему вас-то всё это беспокоит? Да так, что сразу такое: тюк-грюк, пришибить!

– Нас не беспокоит, – успокоил его Саша, – сами ведь сказали, что в суд подавать не собираетесь. Правда – как знать, что завтра будет... Но до сегодня – и мы ведь, кроме пользы, ничего от вас не получали, и точно уж не собираемся завтра. Ведь именно в нашем подъезде ни одного случая грабежа квартир. А в соседнем, к примеру...

– Ещё бы! – с гордостью произнёс Че-че. – Добрые люди там, где живут, не срут. Sic!

Произнеся это, он оглянулся: Соня задумчиво смотрела на кончик своего яйцеобразного носа. Счастье в яйцах находила, нос об яйца и разбила, сама стала... стала девка... яйценос, нашёл определение Че-че. И сразу же развернул его: то есть, мудель, и тоже – sic, да, sic transit gloria mudel.

– Зато ссут, – ответила на это Соня. – Они такие. Я так думаю.

– Разумно, – одобрил Саша. – Потому мы вас и не гоним. Но там, там вас не хватятся?

– Не хватятся, – отрезал Че-че. – У нас там так принято, стоять насмерть. Умрут, а не выдадут. У нас вообще, у нас всегда... смерть, какое молчание!

– А это ещё разумнее...

– Я счастлив найти у вас полное понимание, – улыбнулся Че-че и снова оглянулся. – Счастлив встретить человека с понятием о разуме и, как прежде говорилось, душе.

Интересно, что заявив о счастье – он его действительно почувствовал, и теперь был готов сидеть тут всю ночь, говоря о чём попало с этими приличными людьми, несмотря на то, что ему жутко хотелось соснуть. Он тут же простил приличным людям все их странности, и ложное чувство превосходства (встречу по одёжке), и спровоцированные этим чувством (ничем иным) колкости и

грубость, и прочее. Он снова вытянул ноги и особенно свободно раскинулся на спинке стула.

– Но если ты завтра пойдёшь к себе туда, – женщина Соня тоже указала вверх, – обещаешь так не грюкать?

– А вы не тыкать... не тюкать, – махнул рукой Че-че: он был готов пообещать не только это, а и все сокровища мира. Даже сокровища мира невидимого. – Ну да, если пойду, то обещаю. Это они там грюкают вертолётами, нарами, попросту говоря. Вертолётами их называют потому, что на них хорошо улетаешь, особенно если перед тем выпьешь горяченького. Винца, например, нет? В самом-то деле, не на полу же добрым людям спать... Они-то, небось, не в гостях у приличных!

На этот раз маленький мстительный укол был так же прощён хозяевами, как простил их странности Че-че: легко. И принят с улыбками того же понимания, что совсем уж привело его в восторг. Теперь и ему, несмотря на так и не появившееся в поле зрения винцо (даже ответа на соответствующий запрос не последовало), захотелось сделать им что-нибудь особо приятное, доброе, чтобы... чтобы и их имена не затерялись в памяти людской, как и его собственное, и стали известными всему миру. Желание взаимно помочь помогающим ему людям овладело Че-че...

– О, если б я только мог! – закричал он, имея в виду премию, похожую на его собственную в недалёком будущем, с той только разницей, что хозяевам он отдавал премию мира. – Мог отблагодарить вас, принести вам пользу...

– Вы и так это делаете, и ещё сделаете, – любезно возразил Саша.

– Я не о временной низменной пользе, – ещё больше взволновался Че-че, – я о вечности!

– Да, он же совсем не про то, не про это, – подтвердила Соня, переступая его ноги и снова занимая своё место: свою вершину треугольника.

– Вы меня не понимаете, – замахал обеими руками Че-че, – представьте себе только: в недалёком уже будущем, когда станут широко оглашать мою биографию, то непременно помянут, что я читал свою поэму там-то и там-то, тогда-то и тогда-то, и в числе прочих помянут и наградят вас! Вашу кухню! Я, я читал свою поэму перед вами, друзья мои! Отдаёте ли себе отчёт в том, кто такой я?

– Известно, вы царь...

– Какой-такой царь! Да раб он просто, ещё и беглый...

– Да-да, и усталый червь, но отнюдь не так просто, ибо я вечный раб! – вскинул руки Че-че. – Так что усталость моя вполне оправдана. И беглость, конечно, тоже. Я вечный раб своего же дара, и верный раб. Ибо никто другой мне не хозяин, извините, господин. Сам Господь мой – он, мой вечный рок. Тиран ужасный, конечно, но тоже верный, что бы там ни говорили всякие... бабы. Да, пусть бабы говорят, что все поэты – вечные жиды, пусть употребляют множественное число, чтобы, как у баб принято, усилить качество увеличением количества. А вы не верьте бабам: вечный поэт один. Иначе и быть не может, ведь сама вечность одинока, или она вовсе не вечность. И всякая минута вечности – роковая. Все забежавшие сюда из вечности, посетившие сей временный мир поэты – один-единственный поэт. А то, что бабы принимают за других – фазы его же жизни. Факты? Пожалуйста: молодость этого вечного поэта называется Пушкин, зрелость – Хлебников, а старость... Верю, его старость – я, чем ещё раз оправдана моя усталость. Значит, под всеми этими псевдонимами, во все, плохие и хорошие времена, один я. Депортация душ, говорите? Нет-нет! Только одной-единственной, одинокой, жалкой, ничтожной, беззащитной, и потому охотно пожираемой, и обжираемой миром души. Но она же, его жертва –

жизнь его. Ибо всё остальное в мире ещё ничтожней, простой бездушный остаток, разлагающееся тело: труп, толпа, толкотня трупных баб. Умри я, изойди душа моя из сего преходящего Египта домой – тут останутся лишь они, и никакой больше вечности. Так что нет, весь я не умру, никогда, ибо это просто невозможно: вечность вечна. И это тоже факт. Итак – пожалуйста, пользуйтесь, обжирайте: могу во всякую минуту поделиться с вами роком, как вы со мной хлебом и чаем, хотя и не вином. Могу хоть сейчас одарить вас вечностью в обмен на временную поддержку, оказанную вами мне при помощи колбасы. То есть, прямо за нашей вечерей прочитать вам мою поэму. Зане больше мне нечем вас отблагодарить, и это тоже факт. Я – так думаю, нет, я думаю – так.

– Сомнительно, что такой обмен может состояться, – покачал бритым теменем Саша. – И что больше нечем. Сомнительно также, что когда-нибудь огласят именно правду. И что так уж непременно что-нибудь огласят... И ещё сомнительно: правда ли, что это принесёт нам пользу, а не вред, если всё-таки огласят? В общем – сомнительно всё, включая невозможность исхода. Впрочем, читайте свою поэму, именно потому, что всё сомнительно.

– Нет никаких сомнений! – вне себя заорал Че-че. – Всё точно: такого-то числа, осенью, я читал вам свою «Графиню СС»!

– Почему такое: СС? – забеспокоился Саша.

– Ну, просто Саша-Соня! Или Софья Семеновна, она же графиня Лещинская!

– А откуда вы знаете эту фамилию, я, кажется, её не поминал! А ты, Со-онечка?

– Нет. Может, почтовый ящик взломали? Вон и у Кати, кстати...

– Поминали, называли, да забыли! Послушайте, какая вам разница – откуда, важно куда! Туда, скажу я вам, где всё будет описано так, как есть, все соответствующие позы и выражения лиц, всё переврано и одновременно правдиво, отпечатано, опубликовано, sic!

Выкрикивая это, Че-че вскочил, действительно принял чему-то там соответствующую позу, ударился головой в абажур, сморщился... Заметались тени, волосы упали на лоб. Из глубин носа выдвинулись до корней сверкающие кустики, рубашка окончательно выскочила из-за пояса. Он весь побледнел и так раскинул руки, будто собрался пересечь границу самой Голгофы. Потом сложил их крестом на груди, словно решил ещё тут, на этой стороне, умереть...

И начал.

Глава 8

– ГРАФИНЯ ЭСЭС!

Пауза.

– Вчера высокое качалося колено
на нём напряжено свистящее сукно.
Краснея, бросила кобыле: балуй, но!
И хлыстиком с колена сбила пену.
Ремень от сумочки свернув в кольцо
нащупав пальцами его и вообще – начало
и шорох времени, и шорохи вокзала
и голенища шорох... и сказала:
на волю ныне прогоняю раба неверного моего!
Ваше сиятельство, графиня! Вы помните...
Я видел вас... ещё вчера
вы подошли в мундире светло-синем

со знаком отрицания в петлицах
и мёртвая петля лица
и профиля «банзай»
а рук «ура»
под рукавом мундира светло-синим.
Ваше сияние так было негасимо
ваше сиятельство – никак невыносимо!
Звездождь, укушенная стрелкой
как молнией, и бархата возник
покорный, как ручная белка
суббот насущных вялый ученик.
Графиня ночи! как ручная белка
и беличий высокий воротник.
Софья Семеновна, СС, графиня
я жизнь провёл на вашей жизни половине
после рождения и до него.
А вы – вы прочь бросаете того
кто на плече шуршит, повинен
как тот, с короткой стрижкой ёжик бархат чёрный.
Подмигивают молнии на звёздах плит лиц.
Не раб я, Софья, просто – Бог, покорный
таинственному знамени петлиц.

И вот теперь, усердствуя, калмык
или второй слуга твоей руки – татарин
и тоже – беспримерный ученик
ткнул в мой живот, мне в жизнь, стремительным ножом
и раной мне живот состарил.

И линия разреза привела
меня в тот день и в ту слепую ночь
в сад-лес.
В день запахов и звуков
в ночь ожидания цветов
травы дождя
дождливый лесосад
в одежде осени...

В ту ночь меня три гостя тёмных посетили.
В ту ночь меня составили три тёмных гостя.
Да я.
И вот нас стало пятеро:
два я и три суровых гостя.
Но вот вопрос: кто эти я –
гость, или так, хозяин робкий?
И кто из нас другому пища?
Кто нам, потёртым пятерым
накрытый сытый стол?
Вот основное: избежать ошибки.
Вонзите всем, всем нам, потёртым

надменный кол осины в сущность спины!
Все гости за одним столом.
Бессилен их хозяин.
Бессилен наш хозяин.
Итак – меня настало пятеро.

И в следующую слепую ночь
я высосал из шеи друга
багровое желанье жить.
Солёное желанье жить.
Знакомое желанье жить.
Моя жена на тонком стебле
носила лёгкие черты...
На третью ночь уже знакомым
движеньем зуба
я стебель прокусил
и пил чудесный стебля сок
и пил прекрасный стебля сок.
Я пил чужой мне стебля сок.

И после... многими ночами
слепых дорог
я выходил в привычный путь.

И вот:
мой красен зуб
и пот мой красен
язык и речь багровы.
И я бегу.
И, повторяю, так как все бегут
прижавшись тесно к ночи
мы тоже побежим
в тот день
и в тот высокий суд
в слепом лесу.
Когда умерших род столпится
и будет внимательно глядеть
наш красный рот
и красный зуб
язык, испачканный багровой речью
привычные ухватки упыря...
И наши все привычки
и ухватки
осмотрены внимательно и тонко
будут.
Я знаю.

Я знаю – будет день
и ночь, когда опутан талями
как две борзые, перетянутые в талии

внесём свою судьбу
на пристань с корабля.
А там и стадо в суматохе дня
и я, опоясован в талии
ремнем от сумочки в кольце
пастух и бык тяжёлый
и конь и всадница
и конь
плюющий пеною над всадником убитым —
пасём свою судьбу.
Там точка света в дня конце
и дочка женщины
которая в кольце
рассвета
думает обо мне
«да».

. . . . . .

— Больной какой-то: режет прямо по живому, — пожаловалась Соня. — Просто наказание, такое терпеть.

— Казнь египетская, — согласился Саша. — Страдания просто-таки немилосердные.

А вам, случалось ли вам претерпеть такую казнь? Нет, конечно же, не случалось. Вас, так сказать, не присутствовало ни в храме огнепоклонников, ни в московском литсалоне, ни в затюканной русской деревушке, где перед очами и ушами изумлённых колхозников на клубной сцене явилось это: читающий свои поэмы Че-че. В последнем случае рукоплескания были весьма робки, но зато проводы! Эти просто-таки разразились: со слезами умиления на щеках, со следами мучительных колебаний на...

Но повернём вопрос в обратную сторону, а как претерпевал сам Че-че своё чтение вслух? Любил ли он это делать? На такой вопрос следует отвечать дважды. Да, любил, ибо он иногда испытывал счастливое чувство власти над слушателем, власти пусть и не очень реальной — зато чувство было вполне реальным. Нет, не любил, ибо он всегда приступал к чтению с чувством отвращения к себе и слушателям, правильно подозревая обе стороны в бессмысленном обмане. Почему в бессмысленном? Да потому что — кого же они обманывали? Кроме этих двух сторон в чтениях не участвовал, кажется, никто. Друг друга? Но тогда отвращение должно усилиться по меньшей мере вдвое, если и не возвестись в квадрат.

Любил читать вслух Че-че ещё и потому, что: не зря же его голосу были дарованы широкий диапазон и яркие краски, не зря же его так легко охватывало возбуждение и вера в сиюминутное, не зря он умел хладнокровно пользоваться этим возбуждением — взвинчивая его паузами, ускорениями, контрастами ритмов и звучностей, восходящими к бессловесной музыке. Да, он и сам увлекался выводимыми его голосом мелодиями, и потому сопровождал их многозначительными жестами и взглядами, назначенными, кстати, не только слушателям, а и пространству над ними. Выглядело это так, будто исполнялся заказ не только очевидного хозяина ситуации: публики, но и другого хозяина, кроме Че-че — не видимого никем. Точнее, покорно исполнялись или гневно опротестовывались (что давало ещё больший эффект) именно его, истинного хозяи-

на, требовательные приказания. Этот тиран-хозяин имел, впрочем, право потребовать, что угодно. Ибо это он одарил Че-че возможностями исполнять его суровые требования и быть при этом счастливым. Следовательно, Че-че нисколько не кокетничал, высказывая (например, Саше) своё пренебрежение аплодисментами публики и мизерной ценой, официально уплачиваемой ею за удовольствие поучаствовать в публичной казни: втайне он получал иные, поистине бесценные гонорары.

Так-так, как ни странно такое слышать, а читая своему подлинному хозяину вслух, гласно отвечая своими творениями его велениям, несчастный Че-че, бывало, действительно становился совершенно счастлив от великолепной согласованности того и другого! И не одними только словами высказывалось это счастье, сама наружность Че-че яснее всяких слов говорила, кричала о том: слабость носа превращалась в его изящество, нездоровая впалость щёк — в экспрессивные тени духовного голода, а синева глаз углублялась до фиолета... Да что там, невзрачный Че-че в минуты этого счастья становился просто красив! Так что, абсолютно непонятно, почему иные, так сказать — исследователи удивляются (из зависти, конечно) его успеху у женщин. Успеху, понятно, быстро преходящему, взять для примера хоть женщину Соню. Впрочем, таким исследователям взять больше и некого.

Так... а не любил он читать вслух ещё и потому, что по его же убеждению — поэзия уже давно не обращена к слуху. Так давно, что и виновника случившегося с нею, Гутенберга, уже все позабыли. Это убеждение нашло место и на портрете Че-че работы его африканского приятеля, бура Люка. Точнее, место уха на картине занимает глаз, стало быть, к нему и обращается теперь поэзия со своими надеждами, верами и любовью. Так же, согласно тому же убеждению, обстоит дело и с настоящей музыкой: не развёрнутое во времени неподлинное её существование (слышание), а озираемая в один миг картина (видение), таково её подлинное бытие.

По правде говоря, на практике Че-че удавалось каким-то образом объединять эти два способа: мгновенное, подобное озарению, озирание — и развёрнутое во времени произнесение. Ещё сочиняя, он уже произносил нечто в уме, а уже записывая сочиняемое — ещё озирал его целиком. Сочиняя, он уже проделывал необыкновенные телодвижения и строил странные мины, и в то же время видел себя (именно таким) как бы со стороны, словно актёр, репетирующий перед зеркалом предстоящий выход на сцену. Всё это он успешно продемонстрировал и на кухне квартиры 43, решая задачку кроссворда (кому угодно — крестословицы) и читая «Графиню СС», так что реакция гостеприимных хозяев понятна. А поскольку кроме этих причин нашлись и другие, то понятна весьма.

Взять, например, саму «Графиню СС». Как это ясно из писем Че-че, она была сочинена в Ленкорани, когда он вращался, в сущности, вокруг собственной оси: вторая ось его жизни, подруга, называемая А. Г. Л-ским женою (в общем-то верно, вопрос только: чьей именно), ушла в инобытие, унеся с собой жилплощадь и поселив там нового друга, на этот раз — действительно законного мужа. Она-то и звалась СС: Софьей Семеновной (в какой-то мере аббревиатура соответствует и её характеру). И это ей вдогонку, в царство инобытия, послана поэма. Приблизительно так, как послан туда же номер телефона из мюнхенской книги, совпавший с адресом в Петербурге, по которому — кто-то теперь живёт, как живёт? Из Мюнхена не увидать. Фамилия Софьи Семеновны, по мужу в законе — Лещинской, возводилась к графам Лещинским. Кем возводилась? Разумеется, прежде всего — самим мужем. Короче, если всё это не причина двусмысленного поведения хозяев, то что тогда причина? Колбаса?

К причинам, вызвавшим соответствующую реакцию хозяев, следует причислить и длину поэмы, и, естественно, её содержание. Ещё более естественно (в хорошее время) – форму. Как известно, она состоит из трёх частей, привязанных к трём порам времени: к нехорошему прошлому, хорошему (опять же – как известно) теперешнему и некоему неопределённому будущему. Настолько неопределённому, что в нём имеет место только вечный Бог. Но какой именно, всё тот же ужасный тиран, вечный хозяин Че-че? Его имя? Рок, Дар... что там ещё? Но отложим эти выяснения на то же будущее, когда и сами придём в его дом. А здесь достаточно указать на то, что совершенно бесправный в отношениях с ним Че-че поглядывал на него и на хозяина в том доме неуместно, казалось бы, фамильярно. Как если бы он глядел не вперёд, и не строго снизу вверх, а искоса. Или совсем уж по-хамски: изнутри, выражая такой взгляд соответствующим поведением. Иначе говоря, здесь круг замыкается. Здесь, в третьей части поэмы, Че-че уже смертельно устал, его тошнит, из носу течёт кровь... Всё это вполне может стать самой серьёзной причиной чего угодно.

Впрочем, именно этого надо ожидать на финише чтения, если, воскрешая вначале прошлое, берёшь внутри себя столь энергичный старт, и выталкиваешь эту энергию наружу языком, упёртым в зубы, перенапряжёнными связками, преувеличенными жестами и прочим, словно прорываешь границу мира – на ту его сторону. И делаешь это приблизительно так: вчера вы*сок*ое качал*ося ко*леНО, НА Нём НАпряжеНО свистящее *сук*НО*, крас*НЕя, бро*с*ила кобыле: балуй, НО!.. и хл*ыстик*ом *с кол*еНА *с*била пеНУ. А потом, во второй части, в теперешнем существовании, стартуешь вторично – но уже в ту сторону, где кончается и всё теперешнее, то есть, на ту сторону всякой жизни: не в какое-либо там инобытие – но в небытие, в будущее. И это значит, что кое-что существует до своего начала, и продолжает какое-то существование после своего конца, осуществляя особые отношения с временем. Сказанное осторожно «кое-что» указывает прежде всего на саму «Графиню СС», ибо это она получила тут своё особое время и своё, стало быть, место. Отныне ей суждена и особая судьба (совершенно бескорыстная, что, согласитесь, случается не часто), называется – Рок. Как бы теперь ни нарушались границы стран и вещей: с востока или запада, как бы ни переводились общие часы: к лету или к зиме...

Это верно, часы и время сливаются в одно лишь при корыстном к ним отношении. Так, например, у хозяина Саши. Переход на зимнее время, осуществленный им чуточку позже, изъял всего лишь час из жизни Че-че, но хозяин получил возможность властвовать над гостем бесконтрольно, безнаказанно, как сам вечный Рок. Властвовать не только в этот час, но и позже, по отношению к нему – в будущем. И даже раньше, в прошлом, без всякого уже к чему-нибудь отношения. В корыстном же, указанном чуть выше отношении, этот переход был использован, чтобы безнаказанно изъять самого Че-че. Изъять отовсюду, из всех пор времени и всех пор пространства: его мест.

Что до посторонних наблюдателей, то им следует отнестись и к изъятому часу, и к его владельцу-тирану, ловкому Саше, двояко: и бескорыстно, и корыстно. Соответственно, как к властительному графу времени, и как к низменному графину с тухлой водой (метафоры всё же относятся, так думаю я, к одному Саше). Им, наблюдателям, по справедливости следует и к изъятому из жизни Че-че относиться столь же двояко, как к вечному «почему» – и как к изъятому из него преходящему «му». Если они что-нибудь и потеряют при таком отношении, то совсем немногое: в конце концов, такое «му» содержится и в любом повседневном «почему», а они-то ещё не все перевелись на этом свете.

Да, можно отнестись к чтению Че-че вслух как к священному акту (молитве), а можно и как к колбасе. Точно так же и к его телу, как к сосуду Божиему – или как к носителю грязных, пахнущих хлоркой носков. При таком отношении и самому Че-че пожаловаться не на что: а зачем опять придумал и влез в такую ситуацию, в чтение вслух? Зачем ворвался к приличным людям, в их отлично отрегулированные отношения, зачем топнул грязным ботинком и потряс домашний очаг, и вместе с ним мир? Зачем внёс на мирную кухню свой чердак, Гурьев, Каир, СС, зачем столкнул их с украденной у какой-то девушки сумочкой и покойным её котом, с лопнувшей трубой и требующейся на завтрашние закупки сотней?

Да, вот так ввалился, смесью хлама и хама, неудач и несчастий, и попытался разрушить, как какой-нибудь анархо-авангардист. Да, прикрывая безответственность лёгкостью души, попытался, по суги, укокошить, а ведь объявлял себя глубочайшим консерватором. Да как же иначе расценить это: ворвался – и стал такое читать! Несомненно, чтобы укокошить и Соню, и Сашу, и их знакомую Катю-Наташу, и даже их истукана-бабушку, короче, всё то, чего ему самому не было дано. Или было у него давно отнято. Так что, с ним ещё поступили весьма благородно: пусть в ответ на его «Господипомилуй» и прозвучало «Мясоколбаса», но должны-то были просто утюгом тюкнуть! Это всё, что следовало сказать об отношениях.

Теперь об их итогах и результатах. В этом случае они опять, я так думаю, не одно и то же.

Злонамеренный поступок Че-че действительно заслуживает наказания, если и не утюгом, то, по меньшей мере – презрением. Ну, хорошо, учитывая естественность этого поступка, выразимся мягче: ошибка, сделанная им, поистине прискорбна. Ему бы, если уж он ввалился сюда, должно было делать совсем другое: бухнуться на колени и потребовать у присутствующих не милостыни, а милости, сказать ясней – приговора! Воззвать к их милосердию, а не к справедливости, вознести молитвы об окончании пытки превратностями жизни им, Соне-Саше, а не какому-то там безымянному Богу, после чего вздохнуть и зарыдать. А под конец всхлипнуть и покаяться: виноват, мол, простите все и за всё содеянное, во всём виноват.

Но есть, есть одно смягчающее мою вину обстоятельство, учтите его, пожалуйста, вынося приговор: я ведь заранее согласен с этим вашим приговором, каким бы он ни был! Ибо я заранее согласен со всеми вами, и со всем вашим миром, от Египта – и до Египта, вполне одногласен, да что там, я люблю его и вас всех в нём! И время, время-то ваше какое хорошее, как его-то не любить, если я и с ним одногласен, если мы говорим одним голосом, если оно говорит моим голосом, вынося мне приговор! Люблю его, приговор к дальнейшей пытке жизнью без прописки и паспорта, без адреса и друзей, родственников, рукописей, вон, даже полупустой портфель – и тот унесен далеко в переднюю, дальше невидимого истукана-бабушки, выпал из отведенного мне пространства и времени, будто и ему перевели часы – на час, на год, на века...

Вот после такого чтения вслух можно и впрямь рассчитывать на приговор в какой-то степени милосердный: тут уж всякий, хоть что-нибудь – да подаст. Утюг, и тот станет милосердным: тюк – и всё.

А читать поэмы... нет, такая ошибка не заслуживает никакого снисхождения, даже если она и не вполне злонамеренна. Прибавить к этому ускоряющийся темп заключающих третью часть молитв, всё более лихорадочный ритм, укорачивающееся дыхание, нарастание звучностей и как следствие – кульминация, неотличимая от срыва... Ну – да, конечно: тут, по-справедливости, без страданий и лишней крови не обойтись.

. . . . . .

– Мои надежды, Господи, помилуй
мои старанья, Господи, помилуй
мои одежды, Господи, помилуй
мои страданья, Господи, помилуй
и крик цыплёнка, Господи, помилуй
и крылья ястреба, о, Господи, помилуй
и кровь уныылую, о, Господи, помилуй
чужую кровь мне, Господи, помилуй
мои значенья, Господи, помилуй
весну и осень, Господи, помилуй
и слов неточность, Господи, помилуй
и прочность заблуждений, Господи, помилуй
и слабость сердца, Господи, помилуй
и пытки, предназначенные мне иными сердцем, Господи,
всё, что я знаю, Господи, помилуй
и что не знаю, Господи, помилуй
невыносимое, о, Господи, помилуй!
И наши дни, о, Господи, помилуй
и ночи наши ноши, Господи, помилуй
холодный день, о, Господи, помилуй
и холод сердца, Господи, помилуй
и гробик сердца, Господи, помилуй
холодный гробик сердца, Господи...
Холодный день, о, Господи, помилуй
холодный белый день, о, Господи, помилуй
бездонный день, о, Господи, помилуй
бездонных дней моих начала, Господи, помилуй
мои начала, Господи, помилуй
твои начала, Господи, помилуй.
Себя, о, Господи, помилуй.

– Ну, совсем теперь зарезал, – пробормотала Соня. – Без ножа. Господи помилуй, зарезал.

– Ну что ж, отчего б и нет? – пожал плечами Саша. – Говорят ведь, что в некоторые институции заложена благотворительная идея...

– ... зарезать и помиловать.

– Зарезать, чтобы помиловать.

– Помиловать, чтобы зарезать.

– Зарезать и значит: помиловать. Для экономии средств упростим это выражение. Получим: зарезать – чтобы зарезать. Результат, что называется, исчерпывающий. А ты б отрезала ему ещё кусок колбасы. Не духом же единым ему питаться, я думаю.

– Ты б ещё придумал: мяса! А я всё-таки где-то ещё его видела, такого...

– Осторожней, – отдуваясь, пробормотал Че-че. – Вы могли меня видеть в газете.

– Ну, тогда налей ему ещё чаю.

– Пива, мадам, – попросил Че-че. – Пока ваша лавочка не закрылась.

– Чё-чё такое? Это как, как-так? – втянула своим яйцом воздух Соня.

– Я имею в виду: пусть чай, – с отвращением согласился Че-че. – Хотя уже полночь, нет?

– Полночь! – закричал вдруг Саша. – Совсем забыл, мы же сегодня переходим на зимнее время! Дай-ка мне будильник...

– Вот, – прокомментировал Че-че, – теперь не только что место, а и время моего появления не установить. Этот час бесследно изъят из обращения, от него и духу не осталось. Так что и меня теперь бесследно нет, включая дух, да?

– Удобно, – согласился Саша.

– А у Константина Леонтьевича какого-то соседа по голове тюкнули, в его собственной квартире, – сообщила Соня, подавая будильник. – И тоже: время никакое не установить. Потому что с него часы сняли, такие золотые.

– С Константина Леонтьевича? У него и труба в квартире лопнула, помнишь? – напомнил Саша, переводя стрелки. – Не золотая, вроде, а тоже никак не установят.

– Так что не забудь дать мне сотню, – напомнила и Соня, ставя будильник на место: на холодильник.

– Может, нам пора ложиться? – спросил Че-че. – Мне бы не хотелось чрезмерно...

– Пора, – согласилась Соня, – но сначала в ванну. Не думаешь же ты с такими... носками...

– И с таким носом. Однако, не больны ли вы чем-нибудь посерьёзней?

– Нет-нет, – запротестовал Че-че. – Разве что так, вообще духом, но, как вы уже знаете, соответствующие инстанции официально этого не подтвердили. Тем не менее, может, он и заразен. Да только разве это серьёзно, коли мы его изъяли из обращения? Нет, не более, чем язвочка двенадцатиперстной...

– ...души, – закончил Саша. – И это всё?

– Всё-всё, – подтвердил Че-че. – Однако, не пойдёт ли у меня снова от горячей воды кровь?

– Какое несчастье! От такого-то не умирают, – возразила Соня.

– А от какого умирают, по-твоему?

– Умирают от всякого, я думаю, – объяснил Че-че. – А бабушку-то вы тоже там моете? Смотрите...

– Посмотрим, – прикрыл глаза Саша.

Глава 9

И увидим, что Че-че вновь сравнивает себя с угодившим в западню воробцом. Точнее – в яму козлёнком, ибо (он, как известно, в таких торжественных случаях употреблял «зане») найденное вечером сравнение не раз в течение ночи именно так угочнялось, а сам Че-че давно не имел дела с ваннами. А тут вдруг – разяший хлоркой, грохочущий кипящий водопад, в котором ничего не стоит свариться, подобно тому же жертвенному козлику, а там вон, по бокам – скользкие больничные края пропасти, с которых он и сорвался туда, вниз... На дно.

Неоновая лампа заливала противоестественным светом совмещенную с ванной уборную, так что этот, по естеству своему – сумрачный чертог просто просиял (понятно, время хорошее, а всё-таки как-то оно странно...) и смахивал теперь на операционную. Но это с одной стороны, а с другой: из унитаза явственно несло мочой. С одной стороны – надо бы слить и там воду, усиленно думал Че-че, с другой – нельзя же так, совсем уж хамски хозяйничать в чужой уборной. Хотя (ещё с одной стороны), грохот обрушивающейся в ванну воды перекроет, вероятно, все остальные шумы.

Столь напряжённая, направленная по меньшей мере в три стороны мысль, да и непривычно высокая температура среды, в которую он был погружен,

вогнала в мозг Че-че волну нездоровой крови. О том засвидетельствовало не только его лицо, но и всё тело, побагровевшее, как у насосавшегося ядов пруссака (прежде, как известно из упоминавшейся энциклопедии, бледного до прозрачности). Кроме того, эти колебания туда-сюда опять расслоили действие и, следовательно, самого участвующего в нём Че-че на различные варианты. И сделали это, в общем-то, своевременно: зане все они вновь сошлись в уборной.

Снова один Че-че сидел тут на стульчаке, прислушиваясь к разговорам на кухне, чтобы в нужный момент явиться туда и присесть там на стульчик. Но одновременно — снова Че-че, только другой, пробежал в переднюю, чтобы открыть входную дверь и тоже предстать, только перед иными участниками действа. Разницы, может показаться, между исходной позицией импровизации и этой — никакой, разве что, вот, слепящая глаза неоновая лампа... Но нет: третий Че-че вместе с четвёртым теперь сравнительно комфортно утопали в пенной пузырчатой массе, медленно наполняющей ванну (пробка затыкала сток неплотно) после того, разумеется, как была слита первая порция, слишком уж грязная.

Именно эти, два последние варианта, обладали наибольшей телесной тяжестью, плотностью (как два, слипшиеся в один), то есть, наиплотнейшей плотскостью. А стало быть — и наивысшей способностью к саморазвитию. Развитию, как это и присуще всякой плоти, скорее всего гибельному, ведь только один из этих двух угопающих обладал надеждой на некую соломинку. Но отнюдь не самой соломинкой: та-то, вполне может быть, уже давно провалилась в сток ванной, ещё с первой порцией воды.

Короче, не было ничего удивительного в том, что появившееся в шели между дверью уборной и косяком лезвие ножа, ловко откинув наброшенный Че-че крючок, реализовало именно эти последние варианты, собственно — один вариант, оттеснив все прочие на задний план. На будущее, можно бы сказать, если б это не лишало нас и надежды на соломинку: установлено же, что именно в будущем расположено не какое-то, пусть и неопределённое, инобытие, а — вполне определённое небытие.

Че-че ничуть и не удивился, напротив, испытал облегчение. И действительно, какая разница, каким путём вернулось к нему достаточно комфортное единство? К тому же, нож шутя справился с препятствием, помощи ему не понадобилось. Не зная, как далеко отступились от него другие варианты развития событий, Че-че на всякий случай решил прибегнуть к доступным мерам защиты от них: пойти комфортабельному варианту навстречу, нырнуть в него поглубже самому. И потому спросил себя, не хочет ли вошедшая в уборную Соня воспользоваться при нём унитазом. А после такого введения как бы спохватился и прикрыл на себе ладонями два участка: одной ладонью (понятно) пах, другой (почему-то) горло.

Так уж оно само получилось, Че-че вовсе не считал эти участки самыми уязвимыми. Просто — сымпровизированное, хотя и вполне осознанное движение не достигло цели. Оно запнулось и случайно остановилось именно на этих участках, будто Че-че, выполняя движение, икнул или чихнул. Но нет: так наружно выразилась внутренняя, остаточная его неуверенность в окончании борьбы с другими вариантами. Доведи Че-че свой жест до конца — руки сложились бы на груди крестом.

Соня ответила на столь несовершенно исполненный жест дважды, сначала презрительно раздутыми ноздрями, потом губами. Сомкнувшись и разомкнувшись, что-то они там выговорили, то ли «пи-рат», то ли совсем «под-лец»... Но могли и просто сплюнуть: Че-че всё равно не услыхал ни звука, грохот водопада перекрывал все другие шумы. Из-за этого всё дальнейшее ему пришлось выкрикивать. Но и Соне, конечно, тоже.

– Не слышу! – выкрикнул Че-че. – Чё, милая моя, нашёлся-таки и глоточек вина?

Соня подошла поближе и упёрлась коленями в закраину ванны. Над головой Че-че навис обтянутый халатом живот. Кося глазами в разные стороны. Соня давила на погруженное в ванну тело соединённой тяжестью взгляда и живота, будто гора, вдруг заполнившая пространство уборной. Чтобы как-то ответить на всё это, Че-че тоже приходилось косить в стороны, с обеих сторон огибать взглядом настырный живот. Для того-то он и откинул голову назад, да так, что ударился серединой затылка о борт ванны. При этом прикрывающая его горло ладонь, естественно, сползла на грудь, обнажив выпяченный навстречу надвигающейся на него Соне кадык.

– Опять, значит, не его вина... – заговорила она снова, пробивая рёв водопада.

– Опять виновных нашёл. Во всём, что с ним случается, чья угодно вина, только не его собственная. Что ж теперь, несчастье ты эдакое? Собрался, чай, опять себе место в жизни у других вымогать? Знаем ведь, как оно делается: сначала переночевать, а потом-то, чай, и всякий день тут околачиваться станешь, мой ми-илый?

В интонации вопроса Че-че расслыхал, как ни странно, надежду. Даже больше того – мольбу, может быть, даже и такую: Господи, помилуй. Хотя, конечно, ошибиться было легко, ведь Соня свой вопрос, особенно под конец, истошно прокричала. Да и сам Че-че совсем недавно выкрикивал такое, могло просто застрять в ушах. В общем, он так и не решил, как ему к этому явлению отнестись.

– Ох, опять чай! – простонал он, чтобы таким маневром вообще уклониться от принятия решения: отшутившись от него. – Ну да, вам ли с Сашей не знать, как места вымогаются. Сами, небось, не один раз... Но разве я не ясно сказал, каким ветром меня сюда нынче занесло?

– Так ведь соврал! Я та-ак думаю...

– Ага-а... а ты зачем врала?

– Ага! – крикнула Соня, очевидно, опять не всё расслышав. – Значит, как всегда: одно враньё. А я-то думала... может, оно уже как-то не так, как раньше. Может, всё теперь будет иначе. А оно вон как! Ещё хуже стало. И впрямь, значит, одна на тебя надежда: чтоб сдох.

– Да, – состроил гримасу грустного шута Че-че: значит, имелась-таки у Сони какая-никакая надежда, он не ошибся. – С одной такой уже можно жить.

– Да, – расслыхав ещё меньше, кивнула она, – со мной было можно. А ты что сделал? Тюк, и всё, жизни-то как и не бывало.

Правильно, кто бы тут на её, да и на его месте что-нибудь расслышал? Рёв водопада поглощал остальные звуки – это само собой разумеется. Но ведь и не только это, сама Соня-то была целиком поглощена совсем другим делом: водила взглядом по голому Че-че. А тот был отчасти поглощён своим: ёжился, словно его щекотали или царапали. Словно взгляд был и пушистый – и заточенный, одновременно.

– Зачем, – крикнул Че-че примирительно, – зачем же вспоминать дурное.

– Зачем-зачем? – заходил волнами нависший над ним живот. – Спроси ещё, зачем ты меня бросил!

– А затем, чтобы квартиру тебе оставить, – обиделся Че-че, вернее, состроил теперь гримасу клоуна якобы обидевшегося на публику. – Сомневаюсь, чтобы Саша взял тебя без квартиры... С таким-то пузом.

– Он сомневается! – проревел живот. – А когда твой ребёнок родился недоношенным – ты тоже сомневался в пузе? Когда я хоронила его, первого и последнего моего, ты сомневался, стоя рядом? Нет, ты уже был далеко, в бегах.

— Я не знал, — разыграл смущение Че-че, впрочем, теперь и впрямь чуточку иначе глядя на угрожающий ему живот. — Не знал, что у ме... тебя был ребёнок. А ты... ты, значит, про меня вспоминала, да?

— А кто ж, если не я! Больше ведь некому. Особенно твою любимую импровизацию, ты-то её помнишь? Совершеннейшая из метафор свободы, так ты её называл, а сам надевал ролики и заставлял меня катать тебя по комнатам. А я, беременная, тянула тебя за эту метафору...

Не только взглядом, но и кончиком ножа Соня царапнула кисть руки, прикрывавшую расположенный в паху Че-че предмет. И тот, под ладонью, совсем съёжился, за одну минуту — дважды уличенный в преступлениях.

— ...за это дышло, как коняка. От такой метафоры не только что — ребёнка выкинуть, самой из окна выкинуться можно. И запоминается-то как хорошо, ни за что ведь из головы не выкинешь! Каждый день я её вспоминала, а если б даже и нет, так вспомнила бы сегодня, когда ты сочинял, как свободно катаешься на роликах по Каирам и чердакам. Ничего не скажешь, хорошо сочинял, знать, не усох талант-то... Прям — самой захотелось туда прокатиться. Может, теперь возьмёшь?

— А чё? Поехали. Только учти: ненадолго. Глянем — и назад, в тепло. Люблю-у тепло-о...

— А-а... возьмёшь на полчаса, как проститутку? А платить-то чем будешь, опять импровизациями?

— Будешь называть меня, как прежде, Ю-юня, — промурлыкал Че-че, — возьму и на всю ночь. Тем и заплачу. Только вот, как же бабушка, на кого её оставим, на Сашу? Пропадёт ведь с таким ухажёром... Хе-хе, ценою своей жизни, так сказать, купит мне ночь твою.

— Оставь бабушку в покое! — грозно вскричала Соня.

Че-че снова осмотрел её неприлично громадный живот, и опять — иначе. На этот раз ему стало жаль такого маленького и чистенького, такого... приличненького Сашеньку.

— Cleopatra e i suoi amanti, — снова хихикнул он и сплюнул в воду. — Нет, ясновельможная, бомжихи из тебя не выйдет. Я так думаю. Вон, как от сытной-то кухни разнесло! Прям — купчиха какая стала, буржуйка, печка. Не графиня — пузатый какой графин с тухлым яйцом.

— Так, — сразу успокоилась Соня, будто такого и ждала. — Опять, значит, метафора...

Она придвинулась ещё. Халат натянулся на её животе, полы его разошлись и из петли выпрыгнула треснувшая пуговица. В двух сантиметрах от носа Че-че закачался огромный шар, поросший скрученной в колечки шерстью. Из-за его верхней границы, подобно луне из-за горизонта земли, выкатился шарик поменьше: яйцевидный нос. А ещё дальше-выше — понятно не было, что такое: то ли две суженные ноздри, то ли два прищуренных глаза, выдавившие из себя и излившие на Че-че такую тяжесть, что он, сопротивляясь, вытаращил навстречу свои. Брови его поднялись, и таким образом — вроде бы выразили охватившее его изумление, или даже страх. На самом же деле он ничему ещё, нимало не изумился, и ещё меньше того — испугался: как ни странно, просто не сумел это сделать. Сумел только сыграть лицом, сымпровизировать соответственное, по его мнению, изменившейся ситуации изумление. Хотя чему тут, по широко распространившемуся мнению многих других, так уж изумляться? Не этому же:

— Sic, я сделала всё, что могла. Так я думала: сделаю всё, чтоб его выгнали. Или чтобы сам убрался. Знай, я так думала из простого милосердия, что б ты там про меня ни сочинял.

— Когда-то тебе такое милосердие удалось.

– А сегодня не удалось. Изберем, значит, другое.

Левой рукой она ухватила прядь на темени Че-че и, потянув за неё, свернула ему уже запрокинутую голову налево, да так, что он чуть было не подавился собственным языком. Правой же рукой Соня отвела укрывавшую пах ладонь Че-че и погладила лезвием ножа предмет, будто бы послуживший причиной его давешней, фальшивой стыдливости. Несмотря на понятную неловкость положения, Че-че почувствовал рефлекторное возбуждение и чихнул. И больше, как ни странно, ничего.

– Всё равно ведь отыграл своё. Глянуть хоть на этого... Глянь-ка на себя сам: сплошная метафора, и больше ничего.

– Ничего, этот ещё поиграет... – смутился теперь по-настоящему Че-че. – Но не кажется ли вам, милосердная графиня, что сей предмет для вас, для ваших импровизаций несколько затруднителен? Не изберете ли, так сказать, милосердно другого?

Странно, но Соня послушалась, отпустила предмет на свободу, и тот закачался на волнышках, подобно поплавку. На чердаке глухо притопнуло и затаилось. И Че-че вдруг ясно осознал, что его втягивают в совершенно не предусмотренный им вариант импровизации, точнее – всасывают. Что начатая им некогда импровизация поглощает его самого.

– У меня опять кровь из носу, – пробормотал он, всасывая струйку назад и глотая её.

– Пока оттуда вся вытечет, долго придется ждать. Что ж, изберем ещё раз другой, теперь – вот этот... предмет.

И Соня коснулась ножом горла Че-че.

– Я подожду, – сразу согласился он. – Могу и до утра, всю ночь, если такое потребуется.

– Какое-ещё-тако-о-е? Никакое больше не потребуется. Вот сейчас придёт...

– Го-до! – пискнул Че-че.

– ...Саша и тюкнет тебя утюгом. Из милосердия, как ты и просил: чтоб долго тебе не мучиться. А я потом взрежу тебе глотку. Опять же из милосердия, ты ведь долго, сорок три года мучился. Ну, а после этого ждать останется совсем недолго, я думаю.

Она покрепче вцепилась в волосы Че-че.

– Больно, – сморщился он, между прочим – уже всерьёз, так как от всего этого ему стало, наконец, действительно: серьёзно больно.

– Какое там! – крикнула она. – И не почувствуешь, опробовано.

– Чё, месть?

– Чё-чё? Опять сочиняешь... Да изделие, говорю, изделие опробовано! Ты сам колбасы-то просил? Значит – сам знаешь: хоть время и тяжёлое, но жить-то нам всё равно надо, так? Я думаю – так.

– Почему же мне не надо? Мне тоже надо! – закричал Че-че, пытаясь вырваться из захвата, однако, не очень активно: он всё ещё намного больше боялся показаться смешным, чем ножа. Ничего особенного, конечно, а всё-таки странно...

– Почему, почему? Да ведь не живёшь уж, и давно! А может и не жил, никогда... Не зря же такое: кроме меня – никто тебя не вспомнил, никто не хватился. И не хватится. Да не гляди так на потолок! Сам же говорил: твои паразиты не выдадут, будут стоять насмерть.

– А Семенов! Он не такой, он обязательно хватится, ибо неправда, что время плохое. Оно хорошее, хорошее! И Семенов, он очень, очень хороший!

– Да подавись ты своими метафорами, паразит! Кончать пора ими играться. Есть же и в тебе что-то невыдуманное, реальное! Вон, вспотел как от этих игр,

устал так, что и надежд лишился, да? Разочаровался во всём, нет? Осталось одно, сгинуть в яму. И сгинул бы туда, сгнил бы там бесполезно, если б не мы...

— ...как же, знаем, люди, чай, прилич-ны-е, при лице всегда своём, чай, юриди-чес-ком... А чё? В частушки вполне пойдёт.

— ...люди дела! Да, мы, люди реального дела, правильно — именно потому и приличные, мы не дадим тебе без пользы сгнить. У нас пойдёт в дело и паразит. Мы достанем тебя из ямы и сделаем полезным обществу. Да мы ведь уже тебя достали, уже запустили в дело! Прояснили тебе дух, вернули ему надежду, да так, что он сам полез в ванну, без принуждения. И вспотевшая от его бессмысленных игр, от его бесцельной беготни, ценная плоть, облекавшая этот бесценный дух, промылась. Да, слишком много бегавшее мясо теперь не пахнет потом, стало сортом выше, то есть — ещё ценнее. И, главное, сделало это само. И кровь его сейчас стечёт сама, без принуждения... С водой, за которую всё равно уплочено. Как видишь, дело упрощено до предела. Рифма случайно выскочила, не радуйся!.. Значит, поставлено оно хорошо. Да, всем юридическим лицам известно: если затраты на изделие минимальны, то они быстро окупаются, а выгода, понятно, растет. Вот какой предмет избирают все приличные люди, и тебе надо бы не потешаться над ними, а брать с них пример, понял? Полуприли-и-чный он, видите ли... Нет, совсем неприличный, каких дальше передней, да и на порог не пускают: абсолютно неприемлемый тип. А хочешь, чтоб тебя принимали — дело надо делать, как и все, дело! Понятно? Дело. Но ку-у-да тебе это понять, поздно: на уме с рождения одни пустые игры. И с чем? Прошу прощения за слово: со сло-овом.

Слово и Дело прозвучали, оскорбив чувствительные уши Че-че, как написанные с щедро увеличенных больших букв, возведенных не в квадрат или даже куб, а в степень поистине неопределённую. Нет, не прозвучали и не в ушах, наоборот: прогремев над головой, оглушили двойным ударом в темя. Так раскалывают бедную голову запретные, и вдруг произнесенные вслух грозные имена скрывающихся под псевдонимом Рок — других, не менее ужасных Богов, требующих страшных жертвоприношений в ответ на свои дары. Но и это — нет: не два грома, а один, именно так грянули эти имена, слившиеся в одно громовое имя, в один удар. Все дары — в один дар.

— Слово и есть моё дело, — так и начал было Че-че, но тут, наконец-то, испугался тоже: совсем всерьёз, и сразу же захныкал: — Не я играл, это вы со мной играли. А я-то прыгал, суетился, наивный козлик... Ч-чёрт, никак опять метафора выскочила!

— Чё-чё-ещё? Правильно: никакая не метафора. Потому что никакой и не козлик выскочил: нормальный паразит.

И Соня, пришлёпнув шлёпанцем, раздавила подсуетившегся под него прусака. Лезвие ножа чуточку надрезало кадык Че-че. Он вывернул запрокинутую голову направо, шарахнувшись в сторону от страшной угрозы, ибо почувствовал приближение ужаснейшего Бога из имевших и имеющих где-нибудь и когда-нибудь место, Бога живейшего: Бога ближайшего будущего. Тот приближался не прямо, а как-то косо, по тому косвенному пути, которым навстречу ему двигался своим взглядом, как уже установлено, которым подавал себя ему сам Че-че. По тому окружному пути, который так легко спутать с внутренним. Господи, помилуй, вымолвил Че-че, на этот раз — беззвучно. Голова его ещё раз гулко ударила в стенку ванны, на этот раз — виском, словно кланялась косвенному Богу согласно его жестоким требованиям. Тот приблизился ещё.

Его неоновое свечение сгустилось и сошлось туда, где обычно скрещиваются

тёплые солнечные лучи: в каждом сердце. Че-че тут же вообразил, как этот крест жизни нащупывают сквозь рассекшую горло щель, выковыривают его наружу и впихивают в скрежещущие шестерни ужасной, заржавевшей от крови машинки смерти. Ресницы его сразу же отбросили на скулы голубые тени, всё лицо его стало, как голубой снег... Весь вид его побледнел, он сложил крестом на груди руки, словно собрался начать чтение вслух... И начал.

— Но ба-а-ба-бушка, она-то ведь всё-о выдаст! — заверещал он. — О где ты, бабушка, о помоги...

Но голос его сорвался. Верно, кривой осколок разбитой цитаты, отразивший увечный фрагмент классического оригинала, проколол ему глотку. Он умолк.

— Не-а, она тоже не выдаст, — возразила Соня. — Она тоже так: уж помогать — так насмерть, будь покоен. И мы тоже будем, зане для общего упокоения всем надеждам придуманы соломинки: ты нам сочинил Семенова — Саша тебе бабушку. А... славная ведь вышла метафора! Я так думаю: не хуже твоих. Даже лучше, так. Зане — не для игры, для дела. Как думаешь, знаток, разве не так?

Она умолкла. А импровизация продолжилась.

Прорвалась граница, дверь в сияющий чертог распахнулась: это в совмещенную с ванной уборную ворвался Саша. Он милосердно тюкнул Че-че в темя острием утюга и с первого же удара вдребезги разнёс ему память. Осколки этого тончайшего зеркала рассеялись мельчайшими кристаллами, развеялись пылью. В тот же миг Соня полоснула ножом по кадыку и запрокинула голову трупа налево. Разверзлась в его глотке широкая щель, хлынул из неё пузырящийся поток, смешался с воняющей хлоркой водой, окрасил её в алые, потом — красные, потом — в багровые тона...

Наконец-то пробка вырвана из стока целиком. Чавкнуло. И, глухо ревя, взвизгивая и подвывая, смешанный этот поток (так смешиваются горные реки) рванулo из источника во внешний ему, казнённый непроглядной тьмой мир: в сумрачную долину. По трубам, по другим стокам, сквозь другие этажи и квартиры: в подвальный саркофаг.

Там его сдавили каменные скобки и он умер окончательно.

Глава 10

«Умер Ю. Ч-ч».

Под таким, вполне традиционным, названием могла бы появиться статья, написанная известным автором. Но не появилась. И правильно сделала: до сих не объявил о себе ни один очевидец смерти Че-че. И в единственном надёжном свидетельстве о его рождении и жизни про неё *слова* не сказано, в чём легко убедиться, перечитав это свидетельство (от эпиграфов и моего предуведомления — до слова окончательного). Более того, преданные через его посредство опубликованию, точные показания самого Че-че делают такую версию весьма противоречивой, да просто сомнительной. То есть, появись такая статья — её, как минимум, следовало бы назвать чуточку иначе: «Умер Ю. Ч-че?»

Но и это название, явно выразившее бы сомнение в смертности Че-че, противоречило бы подлинной сути дела. Сам-то он, каков он был и есть (словом — его суть, про неё-то как раз бывало говорено немало), единственный и неизменный, под каким бы псевдонимом ни выступал в разные времена, он-то ведь ничуть не сомневался в своём бессмертии. Уж если он публично называл себя вечным, то, значит, решительно избрал совсем иной вариант развития импровизации, иной её исход.

Поступок вполне логичный: не сидеть же вечному вечно запертым в тесном, глухом подвале, да ещё с такой гласной профессией? Нет-нет, он непременно выберет, и всей душою, иной исход из Египта (абсолютно прозрачный псевдоним мира преходящего): в распахнутый всем временам и сторонам света безграничный свой дом. Удивительно, что находятся люди, оспаривающие это, например, автор одного совершенно нахального сочинения, называющий себя А. Г. Л-ским... Да, такое слово сказано: прорвалась граница мира. Но прорвал-то её сам пограничник, и может выбирать сам, куда именно ему податься. Ну, а статье об этом происшествии подошло бы уже совсем иное название: «Исчез Ю. Ч-ч».

Однако, опубликуй кто-нибудь и такую статью — в ней мало бы что содержалось. Доказательством тому служит появившееся вместо неё, то самое сочинение Л-ского, в котором если что и содержится, то одно лишь провокационное название. Но это-то уж ничуть не удивительно: что, кроме названия, мог сочинить о совершенно чуждом ему предмете Л-ский? О чём смог бы нам сообщить? О праве Че-че на послесловие к некоторым обстоятельствам его жизни? Но Че-че и сам уже позаботился об этом послесловии: оставил же он зачем-то в чужой передней портфель со своими записями! Пусть и на авось (по привычке на него надеяться, или просто забыл, что по сути одно и то же), но всё же оставил.

Следовательно, для других, и прежде всего для Л-ского (не его же это передняя), придумывать такое или любое другое послесловие — дело совершенно безнадёжное, всё равно что... писять в штаны. Описать, да ещё понаслышке, вулкан как живой организм, извергающий некую продукцию, назначение которой неизвестно? Сделать это может лишь сам вулкан, и ничем иным — этой самой продукцией: извергшейся из него лавой. А другой (сам, между прочим, далеко не вулкан), что напишет он, чем? Он и приблизиться-то к нему, живому, не посмеет, собственно — уже не посмел. В лучшем случае он сочинит что-нибудь вполне фантастическое о мёртвом вулкане, собственно — уже ведь сочинил. И потому естественно, что в его писаниях ничего не содержится, ибо в таком случае о вулкане действительно сказать нечего: он-то ведь тоже уже никакой не вулкан! Он уже нечто противоположное: застывшая в могильный камень лава, сковавшая труп так, что его уже не разделить на внятные члены. Остаётся лишь, нечленораздельно мыча, пережёвывать и переваривать слухи о его смутном прошлом, и то — заглатывать лишь легкоусваиваемые, а остальное отхаркивать.

Так и поступил Л-ский, переварив слухи в дешёвое изделие и получив за него гонорар. То есть, набив свою утробу (слово и тут имеется: в кузов пуза уложив) колбасой, сделанной из роскошной двенадцатиперстной души Че-че, не промычал даже о таких существенных её ингредиентах как Соня-Саша, выхаркав их подальше. А значит — выхаркав меня. Всё для дела, для дела, конечно... Чтобы затраты на его изделие были (по известным правилам) минимальны и легко окупились. Между тем, проделать это вовсе не так легко, как полагает Л-ский, ибо его подлинные намерения видны всякому, не только мне: хлопочет-то он вовсе не о Че-че, а о его (по слухам) убийцах. Л-скому следовало бы назвать свою книжонку: «Кто убил Че-че». Но он этого не сделал. Тоже, я думаю, для дела.

Ну да, сделай он это — ему пришлось бы начать опрос свидетелей действительно надёжных. И начать, опять же, с меня (впрочем, мною и закончить). Ему пришлось бы спросить меня: откуда мне так хорошо известны подробности описанного в моём свидетельстве происшествия? Откуда у меня никому не извест-

ные автографы – не из авоськи ли, оставшейся в моей передней? И пойти дальше: вцепиться в очевидное моё сходство с Сашей, в нашу с ним неразлучность, возведенную в степень неразличимости, затем раскрыть сашин псевдоним и установить подлинное его имя... То есть, моё имя! Но у кого же Л-ский выпросит нужные показания, надёжные доказательства этой версии? Ни у кого, такого просителя не только что дальше пройти, а и в переднюю к себе никто, добрейший из добрых людей не пустит. И проситель это отлично знает.

И потом, для чего же это ему так стараться, ради чего терпеть громадные издержки? Только ради того, чтобы в конце концов признаться в том, что обманул публику? Что вовсе не «историю одного псевдонима Че-че» он писал, а своего собственного, то есть, историю того, как он присвоил псевдоним убийцы Че-че? Чтобы сознаться, что вовсе не он – возможный убийца, и, следовательно, никакой не «создатель Ватикана», а всего лишь песочного домика? Ну нет, затраты на такое дело стали бы просто неимоверны... И не для того он издавал свою книжонку, чтобы каждый ленивый и слепой читатель мог спросить его: а по какому праву ты, А. Г. Л-ский, наглец и обманщик, сделал такое! Каждый, даже и не очень честный, человек был бы обязан вот так, как я теперь, публично разоблачить этого ложного, псевдозагадочного сфинкса! И назвать это разоблачение: «Я убил Че-че».

Тогда для чего же, спрашивается, он её издал? Э-э, я-то знаю – для чего. Знаю, чего он хотел добиться. Знаю, зачем он прикрылся моим, ещё и изувеченным, расчленённым псевдонимом. Своей язвительной брошюркой он и не собирался воскрешать истину, нет: он намеревался, всего лишь, кое-кого ею смертельно уязвить. Да, этот искалеченный ложно-Лещинский, эта двадцатиперстная язва (а по-настоящему – раковая опухоль), если и намеревался выязвить открытый протест, то не всей публики, а только мой. Точнее, хотел вскрыть все защитные скобки и выудить публичное признание, но не из всякого читателя – а из одного меня. Воткнув в мои язвы все свои двадцать пыточных перстов, выпытать из меня признание совершенно определённое, сделанное без уклонений, не прикрытое косвенными грамматическими наклонениями, пронзительное, как прободение кишки.

Да-да, именно так: он намеревался прободать меня, чтобы сварить из моего питательного внутреннего суп свой насущный, о! О, я отлично понял, зачем он опубликовал свою стряпню! Но нет, ему не выбодать из меня соблазнительного питания, твёрдого прямого признания, не выковырять желанного из моих скобок, их сталь – не полихлорвинил, с которым он привык иметь дело в своё-то время. Придется ему жрать своё изделие таким, какое оно есть без главного ингредиента: сослагательное, мягкое... о запахе его умолчу. Вместо желанной колбасы сожрать её косвенную метафору (дерьмо как слово интеллигентными людьми не употребляется, что давно уже и строго установлено). Ради удовольствия посмотреть на это пиршество я сделал бы и подходящее признание, да и делаю его тут, пожалуйста... Если б мне пришлось писать посмертную статью, то я назвал бы её, пожалуй: «Я б убил Че-че».

На худой конец: «Бомж и графиня СС», в каковой статье и изложил бы веские мотивы убийства, если одного такого названия не достаточно. Нет-нет, и за них уцепившись – меня не выудить из косвенного наклонения, ибо такие же мотивы имеет каждый. Мотив приличный, он же карающе-милосердный: освободить Че-че от немилосердных страданий, учиняемых ему жизнью и самим собой. Мотив практичный: очистить занимаемое им безо всякой пользы место, хоть квартиру – хоть и весь мир, оба эти места не резиновые. Духовный: не

забывать же о гордости, что раздавил паразита! И любовный: чтоб Че-че, наконец-то, можно было полюбить. Живой-то, разве он достоин любви? Разве такого можно любить? И не нужно говорить, что меня невозможно понять, по меньшей мере – из-за моего сослагательного, неопределённого наклонения, подсовывающего публике вместо как бы реального как бы воображаемое. Меня понять можно, прежде-то, бывало, ещё как понимало! Вместе ведь установлено, и согласие на это большинства, пусть оно и не всеобщее одногласие, достигнуто давно: в некоторых профессиях (такое ограничение прежде отлично усмиряло возмущение несогласных) воображаемое и есть реальное.

А Л-ского, или как его там по-настоящему-то кличут, у него на кухне... Этого понять тем более можно. Бодливое его дело поставлено, надо признать, хорошо. Но не от особого ума, а по простой необходимости: у него-то ведь (не у меня) время всегда тяжёлое, а жить ему (не мне) надо. И природные задатки, рога – надо же как-то их использовать!

Отшутившись таким образом, я спрашиваю теперь серьёзно: что ж мне, действительно не надо жить? Если не надо – приказывайте, умру тотчас, я-то (заодно и проверим) не бессмертный. А если надо – как прикажете дальше жить? Ох-хо-хо, набивая рот тем же изделием, растравляя им и себе язву души, сам я думаю об этом так... вот так бы и назвал статью, пиши я посмертно о себе! Я – так об этом думаю: что изменилось оттого, что в мой дом, а прикажете – в чертог души моей вошёл (и вышел, за случайную оговорку меня рогами не подцепить, и не надейтесь) Че-че? И отвечаю: всё.

А потом думаю ещё, и отвечаю: ничего. Но простите милосердно, скажут, как же это так, всё и ничего? Опять, скажут, понять его невозможно, загадочен, что твой сфинкс, да ещё и повернувшийся к публике попкой... Нет-нет, теперь-то как раз – вполне можно! Достаточно глянуть на меня, хоть бы и на ту пресловутую попку, и сразу всё станет понятно: вот, теперь уже совсем дряхлый, я в который раз думаю о встретившемся мне однажды и навсегда оставшемся для меня юным (точнее – Юней) Эдипе. О его неизменном, исходном душевном наборе, столь же плодотворном, как ответы на кроссворд (задача, подсунутая ему мной). Тут меня могут, да и должны ещё раз поправить: ответы на крестословицу. И мне самому придется ещё раз просить милосердного прощения за то, что во мне и в родном мне языке крест прочнее привязан не к словам, а к рукам. Привязан намертво.

Думая о нашей встрече, я воображаю навсегда запавшие щёки Че-че, упавшую на лоб прядь, вижу зеленоватый его портфель, слышу запах хлорки от носков и одновременно – от льющейся в ванну воды, в которой лежит он – одновременно сидя на стульчаке в той же уборной. Со мной тогда по-прежнему все те многоразличные Че-че, с которыми он и сам имел дело: варианты его судеб, задачки, которые он, сам себе сфинкс, придумал и продумал в моей уборной, и всё для того, чтоб повернее увернуться от обещанной ему помощи бабушки смерти. Ускользнуть от всякой судьбы.

Опять, скажут, развязал своё воображение... Ну, коли угодно – пожалуйста, вот уж в чём могу сознаться без всяких наклонений: из-за бесконечных повторений давно установленного жизнь может стать совершенно неинтересной. Это же касается и судьбы Че-че. Так что, лучше уж я вместе с ним послушаю-прослушаю доносящиеся с кухни в уборную реплики, поиграю-проиграю до конца самонапрашивающийся кухонный вариант – да и не последую ему. Возьму его целиком в другие, косые скобки, и отмету как совершенно неинтересный, неперспективный. И вместо того, чтобы представить Че-че жильцам квартиры 43

на их кухне (по подсказке оттуда же), а он там непременно начнёт спрашивать с них Семенова, подскажу иной вариант движения: в противоположном направлении. Пусть оно ещё раз, теперь – последний, вынесет Че-че за границу этого места. Пора, наконец, вынести и несчастного Семенова за скобки всей этой истории, и там оставить его в покое (в его покоях, а коли угодно – чертогах, где бы они ни находились) раз и навсегда.

Ну, а столь ценный для нас портфель, многополезную авоську – где её-то тогда оставить, да так, чтобы после, когда понадобится, по-прежнему без затруднений найти? Ах, эта-то задачка из совсем простых: не в передней оставить, а в уборной, возле унитаза. Там, где Че-че с наслаждением облегчился разом от всего лишнего имущества, сразу же о нём забыв.

Да-да, Че-че двинется в обратном направлении поистине облегчённо: пошумев в уборной, смело теперь протопает мимо этажерок с книгами и зеркала, из которого на него коротко глянет старый знакомый, ничего, что неприятный – тоже ведь, всё-таки, какой-никакой Че-че! Затем без стеснения прогремит цепочкой и замком (стесняться некого, ещё одна приятная деталь такого варианта), а там, разумеется, тоже предстанет, но теперь – преследователям, успевшим за это время подняться на площадку пятого этажа. И не только: один из них, между прочим, давно уже пытается взломать чердачный люк.

И последняя, может быть, самая приятная деталь... Ничуть не загадочное, и потому совсем немного пугающее, ближайшее будущее. Ещё до его приближения вплотную – оно уже отлично известно, знакомо во всех деталях: препровожденный вниз по лестнице во двор и брошенный там в гицелеву клетку на колёсах, ничтожнейший в стае ничтожных воробец, паршивейший в своём стаде ягнёнок, отмеченный стальными наручными скобками... Че-че оставит при своём даже и не подумавших выйти на шум (хотя бы под шумок, хотя бы в переднюю) Сашу-Соню. Нет-нет, в этом варианте – безымянных жильцов квартиры 43, просто женщину-мужчину, брата-сестру, жену-мужа, даже и не помысливших о возможности существования козлёнка по имени Че-че. А чё, чё им помышлять-то, зачем выходить? И без того хорошо известно, что «не подъезд, а проходной двор какой-то».

Вполне знакомо и будущее более далёкое: пусть его и немало, но и оно уже всё бывало.

«Злостное нарушение паспортного режима, бродяжничество и попрошайничество... опасность распространения паразитов, инфекции... к исправительным работам... учитывая место постоянного проживания, находящееся за границей... препроводить к депортации... определить...»

(Протёртый до дыр обрывок листка из портфеля. Пометок на нём не сохранилось.)

«Препроводили нежно. Но мясная часть я
на свадьбу уповала случая и счастья
напрасно: их поела белая старуха-цаца.
Давно ей, дусе, надоело побираться,
косить под нищенку. И не одну с тех пор
капризную косу она перековала на топор,
презрев авось. Проржавленным своим оралом
она уже раз сто, раз тысячу железно проорала
про радость сообщать полезные мне вести
о том, что ныне – ни одной честной невесты,

кроме неё. Что свадьбы не играют, как бывало...
Что пуси прежние мои, пуская юркий взор
в карман себе, теперь вздыхают: Юрка-т — вор!
И подмывают за море. Лады, а мне-т — как быть?
Куда же мне, такому, плыть?»

(Листок оттуда же. Помечен: в «Соломенную бабушку», В.о. 3 окт.)

Короче, всё знакомо: двигатель взревёт, скрежетнут шестерни в заржавевшей машинке. И весь рыжий от ржавчины, смахиваюший на брюхатую волчицу фургон (б. чёрный ворон) отвалит от подъезда дома 22, переваривая проглоченных им козлят. В окне пятого этажа появится любопытствуюшая мужская физиономия в очках — и сразу исчезнет. Обладатель физиономии, и квартиры 43, одетый в пижаму-шлёпанцы, усядется в своей кухне за стол и поморщится: из-за сгушенного запаха жареного и вечного рёва воды в ванной жить могло стать совершенно неинтересно. Развернув сегодняшнюю газету, он найдёт ответы на крестословицу, напечатанную на прошлой неделе... «Опять этот дождь», с запозданием отметит он увиденное из окна.

— Сонь! — крикнет он. — Чай-то мы будем, наконец, пить? Или как?

— Чё-чё? — ответит ему из уборной-ванной женшина, заканчивая стирку. — Уже иду.

Ей и вправду остаётся достирать (и можно идти на кухню) только пару носков, изрядно поношенных, но ешё без дыр. А чё, простирнуть два раза — станут как новые, так думает она и, всё-таки, брезгливо моршится: от носков сильно несёт хлоркой.

Вполне ведь ешё сносные, думает она дальше, вот пусть и донашивает, раз уж у него всё идёт в дело. Женшина имеет в виду сидящего на кухне мужчину.

И правильно ведь думает: поношенные — так и что же? Прошлое, оно и есть, в обшем-то, руины. Что ж вдруг сегодня-то изменилось, с этой-то стороны? Да ничего, конечно.

Хотя, с другой стороны, ничего уже не будет так, как раньше. Точно, всё теперь будет не так.

«Теперь всё будет иначе.
И что же? Да ничего,
а всё-таки странно...»

(Оттуда же. Помечено: в «Бабушку Смерть», 4 окт.)

. . . . . .

(Мюнхен, янв. 98)



Наталия ГЕНИНА

Мюнхен

Давайте дрожать и молиться...

* * *

Ните Табидзе

Упругий звон да серый блеск...
А время-то идёт.
Не пилится упрямый лес –
из-под пилы растет.

Его стволов не сокрушить,
пока – один за всех –
он защищает право жить,
как самый смертный грех.

* * *

Это всё-таки лучше, скажу, чем тюрьма, –
здесь хотя бы прогулки границ не имеют.
Отчего же ряды наши быстро редеют
и российская воля нас сводит с ума?
Не поймёшь, то ли дождь, то ли снег, то ли плач,
монотонный, негромкий... Мы втиснуты, вжаты
в наш бескрайний простор, где в преддверии жатвы
плодоносны идеи. Под горку, да вскачь,
с бубенцами и песнями! – к этой езде
с малолетства приучены – нам ли бояться?
То ли дождь, то ли снег, то ли плач – не дознаться.
Помутнела река, и по черной воде
кто-то тихо ступает... врастают кресты
в купола, оживают кремлёвские своды...
И тревожною горечью близкой свободы
Гефсиманские полнятся наши сады.

* * *

Давайте дрожать и молиться,
молиться и снова дрожать.
Кривое перо очевидца
легко ли в руке удержать?

Вдова себя высечет снова –
и все облегчённо вздохнут,
ведь пряника нету иного,
чем сладкий карающий кнут.

А наши родные пенаты
со временем станут трухой,
и в бронежилетах солдаты
дадут нам и хлеб, и покой.

Милее обители нету,
чем эта разруха и мрак.
Так что же мы рыщем по свету,
как стаи бездомных собак?..

* * *

Можно ли ждать ответа?
Можно ли ждать пощады?
Как велика планета –
крыша и пол дощатый.

Дважды рабы и трижды.
Только звезда – не меркла!
Только душа, поди ж ты,
снова легка, бессмертна...

* * *

Везде чужбина. Отрывая
глаза от будничных щедрот,
пойми: ни ада нет, ни рая,
а только медленный исход.

Ступай и ты, куда придется,
ступай, кочевник и изгой.
Тяжёлый камень инородства
кати легко перед собой.

И ты поймёшь, глотая слёзы
и обращаясь в пыль и прах,
какие грозные колоссы
брели на глиняных ногах,

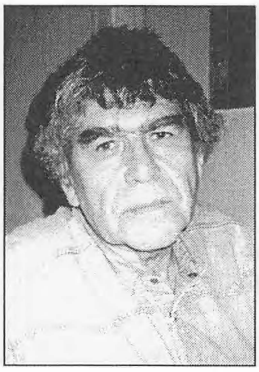
какая сладкая отрава
поила души и тела,
какая рухнула держава
и нас едва не погребла.

Лети – с чужбины на чужбину, –
ключи от дома передай
тому, кто долго глядя в спину,
тебе сулит дорогу в рай.

* * *

Мечты приливы и отливы,
неукротимый труд волны...
Непостижимостью мы живы,
невысказанностью сильны.

И Моцарта живая вьюга,
и глаз твоих прямая речь –
всё это только путь до звука,
которого нельзя извлечь.



Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ
Кёльн

Немец

ИЗ 40-Х ГОДОВ

Кадры, овладевшие техникой, решают всё.
И.В.Сталин

Эта история, из которой вряд ли что и выведешь, разве только лишний раз убедишься в непредсказуемости того, как могут вдруг развернуться весьма малозначащие, на первый взгляд, события, началась в приземистом, наспех оштукатуренном и побеленном одноэтажном строении, – вход с торца открывался в длинный темный коридор, откуда двери вели налево и направо, в разного назначения комнаты, комнатенки и вовсе клетушки, отделенные одна от другой наспех поставленными дощатыми перегородками. Эта история, одним словом, началась в одном из тех бараков, какими покрыта земля нашего Севера, как покрыта она серыми и коричневыми гранитными глыбами, затянутыми голубовато-седым или зеленым мхом и лишайником.

История эта началась в небольшом помещении, имевшем форму неправильного четырехугольника. Стены, примерно до середины, были покрашены снизу грязно-зеленой масляной краской, обозначавшей грозный «защитный» цвет, по стенам прилажены были полки, грубые, почти неструганные, но тоже покрашенные. На полках были разложены разные металлические штуковины – шестерни, трубки, барабаны, болты, рычаги, еще больше стального тяжелого хлама лежало на полу и на столах. Все эти вышедшие из строя и замененные детали двигателя, ходовой части и вооружения, использовались теперь в качестве учебных пособий. Между полками и над ними висели плакаты и схемы, изображавшие отдельные узлы и детали того же двигателя, ходовой части, вооружения и прочих органов боевой машины, на которой мы служили; узлы и детали на плакатах давались в разрезе, наружные поверхности были обозначены защитным цветом, а внутренние сизо-голубым. Направо от двери стояла печь, сложенная кое-как и нещадно дымившая, – обыкновенная кухонная плита, с железным листом и двумя конфорками. Назначение обители многократно менялось; наверно, когда-то здесь требовалась именно плита, офицерские жены, пересказывая друг другу полковые новости и ссорясь из-за места на конфорке, варили борщ мужьям и кашку детям, теперь, среди тяжеловесных напоминаний о минувших и грядущих битвах, эта подробность обстановки выглядела по-своему трогательно.

Когда замешивалась наша история, в комнате размещался класс, здесь постигали теорию нелегкого ратного дела два десятка сержантов и ефрейторов – личный состав приданной пехотному полку самоходной батареи. Такие батареи занимали в части несколько особое положение, они воспринимались пехотными начальниками как инородное тело, искажающее строгий, стройный вид и

нарушающее безукоризненный порядок во вверенном им полку, который мог быть и непременно был бы, если бы не эти чуждые подразделения.

Начать с того, что самоходные орудия, из которых, помимо личного состава, слагалась батарея, были машины. Передовая же философия учит, что машина, будь она хоть семи пядей во лбу, непременно уступает человеку, даже не слишком головастому. Это и теперь весьма очевидно, но в то время, о котором идет речь, в то время, когда кибернетика гляделась служанкой империализма и идеализма, было прямо-таки ошарашивающе очевидно. Любая машина всего лишь металл, и ей нипочем не выдержать на прочность того, что в состоянии выдержать человек, конечно, наш человек, вооруженный этой передовой философией. Самого ледащего пехотинца, едва он после трудного марш-броска преклонил голову и подтянул к животу ноги, можно одним лишь зычным «Подъем!» сдернуть с места и, коли того потребовали обстоятельства, снова двинуть вперед, по дороге или без нее. В машину же надо заливать воду, горючее, масло, машину надо заводить, она (это знает всякий, имевший с машиной дело) живет своей, обособленной от человека жизнью: вечером вы оставляете ее в полной боевой готовности, а поутру находите не желающей ступить и шагу и, если готовой к какому бою, то лишь с собственным создателем и властелином.

Никто в ту пору, понятно, не решился бы отрицать величайшего значения техники, но вместе подсознание пехотного начальства было постоянно обжигаемо раздражением от ощущения дисгармонии, вносимой техникой в натренированный организм полка. И еще большее раздражение вызывали кадры, овладевшие техникой. В самоходных батареях служили сплошь сержанты, старослужащие и сверхсрочники, (даже заряжающими — на черную работу — брали не из новичков, а из ефрейторов), то есть, люди бывалые, прошедшие суровую школу первого года службы, озабоченные утверждением себя в рамках положенных им по уставу, но упорно недодаваемых прав и свобод, и не упускавшие случая ухватить походя и то, что им не принадлежало. Добавлю, что назначение танкиста в самоходную батарею, хоть и приносило ему как сержанту некоторые преимущества среди окружавших его рядовых, считалось все же (по-старинному говоря) как бы «из гвардии — в гарнизон». В танковом полку служить в чем-то и тяжелее, но там ты свой брат, там у тебя свои всеми ценимые достоинства и всеми замечаемые промашки, там свои неписаные правила и свой неписаный устав, там, если коротко, БТиМВ (бронетанковые и механизированные войска), и там ты — танкист. В пехоте же ты со своими черными погонами и танкистскими замашками — белая ворона, тебя ломают и усекают, стараясь придать тебе внешний и внутренний облик пехотинца, но ты-то видал уже не раз, как пехотинца, если на учениях или на дальнем марше посадят его к тебе в машину, укачивает и разбалтывает, как угорает он до тошноты от запаха газа и пригорелого масла, заполняющего тесную металлическую коробку. Приданные пехоте сержанты-самоходчики явно или подсознательно боролись за то, чтобы оставаться самими собой, танкистами, пехотное же начальство всячески жаждало заставить непокорных подчиненных с черными погонами принять порядок, по которому служили подчиненные с погонами малиновыми, при всякой встрече с самоходной батареей оно, пехотное начальство, твердило известный в армии афоризм: «Где кончается порядок, там начинаются БТиМВ», но в том-то и штука, что сержанты-самоходчики, поселенные в пехотном полку, тоже неизменно повторяли этот афоризм, но никак не осудительно, а, наоборот, с гордым самоутверждением.

...Итак, дело происходило в классе, печь топилась, дрова непременно потрескивали, ибо этого требует художественность описания, дым, по той же причи-

не, пощипывал глаза, на конфорке уютно грелся наполненный водой котелок, — это был, безусловно, проступок: принимать пищу солдату положено лишь в отведенные для этого часы или в так называемое «личное время», которое первый мой комбат, подполковник Григорьев, по кличке Суворов, маленький, сухой, быстроногий, с верхней губой, иссеченной рубцами, именовал не иначе как «лишним», убежденный, что солдату оно только во вред. Между тем кипяток в котелке поспевал, в лавке были куплены на двоих буханка ржаного хлеба, пачка маргарина, кубик чаю и грамм сто сахарного песку: воспользоваться удобной минутой, разрезать буханку вдоль, намазать половину маргарином, посыпать сахарным песком и запить кружкой крепкого, настоенного почти до состояния чифиря чаю, — в таком наслаждении отказать себе было просто-таки невозможно!.. Минута же выпала куда какая удобная: батарея отправилась на полевые занятия, барахталась где-то в глубоком снегу, какая-нибудь из машин, конечно, увязла, пришлось цеплять к гусеницам бревно и медленно прокручивать их, чтобы многотонная бронированная скала, подминая под себя бревно, мало-помалу выбиралась из снежной ямы. Батарея была в поле, в классе же оставался дневальный, ефрейтор Володя Михайлов, который все загодя и спроворил, буханку черного, маргарин, сахарок, и теперь поглядывал только на котелок, поджидая, пока закипит вода.

Кроме Володи, тут же находился старшина батареи Костя Кириллов, и снова требуется, наверно, пояснить, что старшина самоходной батареи совсем не то, что старшина в пехоте. Там это, чаще всего, самый грозный, самый придирчивый из начальников, тотчас засекающий даже пустячное упущение и неукоснительно карающий провинившегося нарядами; в самоходной же батарее, среди сержантов и сверхсрочников, старшина, хоть и первый, но среди равных, — занимается своими хозяйственными заботами, которыми, впрочем, не слишком себя обременяет, и старается ладить со всеми. Он меньше всех остальных связан жестким распорядком дня, больше всех сам себе хозяин, а потому чаще всякого иного улучает время понежиться у печки — занятие в условиях Севера очень привлекательное! — приотворив дверцу, щурится на огонь, покуривает, пуская в топку струю табачного дыма, ибо курить в классе даже ему, старшине, запрещено, болтает с дневальным (пехотный старшина никогда не позволил бы себе такой унижающей его вольности и, если заговорил бы с дневальным, то с единственной целью влепить ему наряд вне очереди).

Костя Кириллов отличался среди всех батарейских, включая офицеров, удивительной подтянутостью, бросавшейся в глаза опрятностью, даже лоском: гимнастерка, шинель, головной убор — все сидело на нем как-то особенно ладно и красиво, все было тщательно пригнано, начищено, надраено, все блестело — пуговицы, эмблемы, ремень, пряжка, высокие хромовые сапоги, которые он, пользуясь правами сверхсрочника, носил всегда и даже в самые сильные морозы не менял на кирзу. Костя был высокий, худощавый, весь удлиненный — узкое красивое лицо, бледное, с нежным румянцем и большими серо-голубыми глазами, узкие белые кисти рук с длинными тонкими пальцами, хотя войну он прошел на тяжелых танках «ИС», длинные тонкие ноги, на которых красиво смотрелись сверкающие высокие голенища. Своим батарейским офицерам, с которыми Костя был в приятельских отношениях, он в нужные минуты оказывал подобающее почтение, внешне выраженное очень благородно и достойно, — почтения было ровно столько, сколько требовалось по уставу, ни граном больше и ни граном меньше, но оно оказывалось с заведомой охотой, по убеждению и вместе с приятной независимостью. С подчиненными Костя держался

просто, приказывал не грубо, не напористо, но вежливо, и педантично требовал исполнения приказаний, притом имел еще с каждым свои, внеслужебные, неформальные отношения, которые никак не сказывались на делах службы – с несколькими почти дружеские, с другими дружелюбные, с третьими дружелюбно-далековатые, перекурить же и перекинуться словцом рад был со всяким.

Хотя о произошедшем в тот день я знаю понаслышке, я ни минуты не сомневаюсь, что в то роковое мгновенье, когда хлипкая дверь класса внезапно распахнулась и на пороге возник подполковник Демиденко, Костя, вытянув длинные ноги, обтянутые сверкающими голенищами, сидел с папиросой на табурете у приотворенной печной дверцы, Володя же Михайлов со своей толстой, свернутой из газеты самокруткой пристроился тут же, на подсунутом под зад полешке. Ну, конечно (в описании без этого не обойтись), сизый табачный дым тянулся в жаркое жерло топки, тогда как дым от сгорания дров выбивался из бесчисленных щелей непрочного сооружения и висел в воздухе, вяло напоенном светом короткого дня. В краях, где происходили описываемые события, в зимнюю пору едва успевало рассвести, уже снова начинало темнеть, а той зимой еще и часто вьюжило, между бараками протянуты были веревки, и, случалось, из казармы в класс или столовую приходилось пробираться гуськом, придерживаясь за веревку, чтобы не сбиться с пути.

Внезапное появление в классе подполковника Демиденко было неслучайным: из всех начальников именно он, замполит полка, относился к БТиМВ с особенной недоброжелательностью: какие бы проступки, преднамеренные или непреднамеренные, не совершались в других подразделениях, они не вызывали у подполковника такого искреннего, неукротимого негодования, как проступки и ошибки самоходчиков, объединенных в его сознании нестерпимым понятием «вольница».

Перепившийся в первом же увольнении пехотный солдатик трепетал, стоя «смирно» перед замполитом. Устремив на салажонка задумчивый взгляд ярко-синих глаз, подполковник долго молчал, предоставляя провинившемуся самому вообразить всю громадность неотвратимого наказания, он лишь слегка покачивал головой, будто соглашался с жуткими картинами, возникавшими в воспаленном мозгу кающегося первогодка; на тяжелом лице замполита, не лишенном следов былой красоты римского патриция, но не в меру обрыхлевшем, обабившемся, читалась глубокая, нерадостная дума об участи грешника, и лишь когда грешник, испепеленный им же самим воспламененным ужасом, превращался в горстку праха, подполковник Демиденко как бы с трудом размыкал узкие губы, тонкой чертой проведенные над массивным, до глянца гладким подбородком, и начинал говорить. Он начинал медленно, нараспев, с удовольствием обкатывая во рту каждое слово, но с каждой минутой речь его становилась горячее, голос то взлетал до низкого потолка казармы, то плыл кругами, резонируя среди железных переплетений двухэтажных коек, то хрипел мрачным, адским шепотком, каким-то чудом не утрачивая при этом мягкой южно-российской звучности.

Подполковник Демиденко в полной мере владел ремеслом пропагандистской проникновенности, подобно опытному приказчику в лавке, умел сбывать свой товар с подходами и подходцами, умел возбудить себя до того, что сам начинал верить в годами наработанные искренность и доверительность, радостно чувствовал слезу, в нужный момент выступившую на ярко-синих глазах, но при этом продолжал обдумывать и контролировать каждое слово и каждый жест (так великий артист Москвин – он сам об этом рассказывает –

целиком чувствуя себя тем персонажем, которого играл, ни на минуту не переставал придирчиво следить за всем, что делается вокруг, на сцене, не забывал поудобнее поставить табурет, на который позже придется сесть, разгладить тулуп, на который предстоит ложиться).

Подполковник не любил точку в качестве знака препинания, не любил препинаться надолго, слова текли одно за другим, сливались в фразы, фразы образовывали периоды, точка нарушала плавность речи, подполковник обходился тире, двоеточиями, ну, точкой с запятой, — поток катился, не останавливаясь. Речь подполковника не чуждалась метафор, подчас они присутствовали, пожалуй, в изобилии, — что поделаешь, не забудем, была эпоха архитектурных излишеств...

Опорным в словесных построениях подполковника был образ дома (что ныне непременно заинтересовало бы психоаналитиков; в ту пору, о которой я рассказываю, они были под запретом). В своих проповедях, речах, разносах он не упускал случая втолковать подчиненным, что тот дом, который остался у каждого где-нибудь в деревне Бугрово или Пестово (при необходимости подполковник подставлял нужное наименование, заранее высмотренное в личном деле), это всего лишь маленький дом, и что, если дорог тебе твой маленький дом, то должен ты, выполняя священный воинский долг, на тебя возложенный, прежде всего крепить могущество твоего большого дома. Тут замполит принимался живописать это могущество: умело сочетая на холсте общий фон и выразительные подробности, повествовал о великих стройках коммунизма, гидростанциях, каналах, поднявшихся на пустынных просторах лесозащитных полосах — «представляете, товарищи, приезжаю в отпуск, места у нас степные, а тут, гляжу, сосны рядами поднялись, хлопцы с девчатами в лес по грибы ходят» (родные степные места, надо уточнить, подполковник Демиденко навсегда покинул в раннем отрочестве, отпуск же проводил исключительно в военных санаториях, но не укорим замполита во лжи: он творил образ — вымысел в эти вдохновенные минуты не грех, а художественная потребность). Про маленький дом замполит говорил тоже горячо и ладно — про желтый подсолнух под окном, про гулянье с баяном за околицей, про трактор в поле, про ярмарку на селе, про дивчину в расписном платке, которая любезного воина ждет (сцены сельской жизни он заимствовал из нового фильма «Кубанские казаки» и из давних — «Трактористы», «Богатая невеста», «Свинарка и пастух», эти ленты в частях крутили несчетно раз).

«Нет, видно, не дорог тебе твой маленький дом (Бугрово, Пестово), если своим поведением бесчестишь ты твой солдатский дом (отделение, взвод, батарею), забываешь о силе и славе нашего большого дома...» Еще не очухавшийся от вчерашнего перепоя (а выпил-то всего-навсего грамм сто пятьдесят водки, налитых в кружку с пивом), от ночной блевоты, от озноба холодной, где провел ночь, от страха, что стоит перед самим замполитом полка, солдатик, подхваченный этим потоком, захлебывался, задыхался, ничего не видя в катящейся вокруг воде, лишь изредка разбирая доносящиеся до него звуки, из которых, правда, не умел связать что-либо путное, ибо, родом был из Закарпатья, только что возвращенного в лоно родной матери Советской Украины, и по-русски мало разумел.

Общаясь по долгу службы с бывалыми сержантами-самоходчиками, подполковник Демиденко чувствовал между собой и ними (и это томило и раздражало его) невидимую преграду, не пропускавшую лучей замполитовой пропагандистской проникновенности. Он толковал свое про гидростанции на

великих реках, про подсолнух под окном, а сверхсрочный старший сержант Постников, помощник командира первого взвода, без страха смотрел ему прямо в глаза, убедительно скрипел стальными желваками и, будь то выговор или назидание, отвечал лишь коротким «Так точно».У Постникова лоснилась на груди черно-оранжевая ленточка ордена Славы, а на руке синела татуированная русалка, символ Варшавы, – подобно многим танкистам, уцелевшим при взятии города, Постников сделал такую наколку. Сам подполковник не то что бы не воевал, но, волею обстоятельств, почему-то оказывался в стороне от главного направления десяти сталинских ударов; впрочем, имел хорошие ордена за выслугу лет, но опытный взгляд не спутает Красной Звезды, Красного Знамени и Ленина, соответственно за пятнадцать, двадцать и двадцать пять лет благополучной службы, с боевым «джентельменским» набором орденов Отечественной войны обеих степеней и Звездочки; орден Славы же не спутает ни с одним другим. Словом, замполит имел все основания не жаловать самоходную батарею и относиться к ней с придирчивой подозрительностью.

...Подполковник Демиденко стоял на пороге класса, сокрушенно покачивал головой, мрачноватая печаль отразилась на его несколько обабившемся лице римского патриция – все, что ни улавливали вокруг его ярко-синие глаза, все было непорядок, нарушение, проступок – эта ранившая душу «вольница».Минуту-другую он недвижно стоял на пороге, покачивал головой, вбирал взглядом всякую малую подробность; важные, необходимые, как нельзя более идущие к делу слова переполняли его, наконец, он был уже не в силах удерживать их – и приоткрыл водосброс. «Для воина, который по чувству долга и зову сердца совершенствуется в боевом мастерстве, – запел он неспешно, – класс есть дом знаний, хранилище тех богатств, которые... Вот вы, Михайлов, – подполковник повернулся к дневальному, – у себя в отчем доме, в маленьком вашем доме, где, наверно, ждут вас три березки у ворот...» Но тут замполит вдруг вспомнил про одно странное несоответствие, которое давно намеревался выяснить. Заглянув однажды в личное дело ефрейтора Михайлова, он не без удивления обнаружил, что в нескольких подшитых здесь бумажках место прежнего жительства ефрейтора именовалось по-разному. В одной оно значилось как деревня Блины (он еще подивился такому наименованию), в другой – Ложки, в третьей же – подполковник замешкался памятью – как-то и вовсе невозможно, не то Концы, не то чуть ли не Кранты. Но и этого мало: все бумажки составлялись не по месту прежнего жительства ефрейтора, а в иных краях, иногда весьма отдаленных, где нынешний ефрейтор отбывал разные сроки заключения (замполит предполагал, да все недосуг было поразведать об этом в танковом полку, откуда и прислали Михайлова заряжающим в связи с неспособностью продвинуться в курсе обучения, необходимом для механика-водителя или командира орудия).

Обращение замполита к личному делу ефрейтора Михайлова было связано с таинственной историей, некоторое время сильно занимавшей весь полк, но так и не проясненной (хотя кое-кому, мне в том числе, разгадка была известна). Во время несения нашей самоходной батареей караульной службы по части Володя Михайлов, стоя ночью на посту у контрольно-пропускного пункта, заскучав, да и терпеть было невмоготу, закурил папироску. Обычно он чадил толстыми, в палец, махорочными самокрутками, но крутить цигарку, стоя на часах, сложно и опасно, посему, отправляясь в караул, Володя запасся на всякий случай дешевыми папиросами с тонким мундштуком, «гвоздиками», как их именовали. Наверно, даже и не общеупотребительным тогда дешевым «Нордом», только

что в процессе борьбы с низкопоклонством перед Западом переименованным в «Север», а чем-нибудь еще подешевле и потоньше, — «Путина», кажется, назывались эти тоненькие, впрямь «гвоздики», папиросы (впрочем, может быть, тут я запамятовал — ведь уже сколько лет не курю).

Володя Михайлов стоял на посту и, пряча папироску в рукаве, быстрыми, короткими затяжками разделывался с ней, между тем, сжигаемые страстным желанием разоблачить непокорных самоходчиков к нему с риском для собственной жизни (вдруг бы от неожиданности полоснул из автомата) подкрадывались, таясь и прячась, как только возможно, сразу два проверяющих — да каких! — зам. командира полка по строевой, маленький толстяк-кавказец с круглыми щеками и черными усами, напоминающими о главных усах державы, и знакомый нам замполит Демиденко. Володя, парень тертый, был настороже и не забывал поглядывать вокруг, но дело происходило в самый тягостный для человека на посту час ночи, уже готовой, но еще не решившейся повернуть к рассвету, — тьма, знобко, тело каждой клеточкой норовит пригреться, ноги и голова равно одурели от бесчисленных трех шагов вперед, трех назад, спать хочется, на секунду, наверно, Володя дал засосать себя муторной дремоте, но тут же встрепенулся, пыхнул папироской, затягиваясь поглубже, и увидел совсем рядом, чуть ли не озаренных на мгновенье красноватой вспышкой его папироски-«гвоздика» проверяющих. Он ловко отскочил назад, направил на проверяющих автомат и прокричал положенное: «Стой! Стрелять буду!». В ответ толстяк-замстрой протянул к нему обтянутую кожей перчатки руку и сказал весело (он был шутник) со своим кавказским акцентом: «Ефрейтор, оставь сорок!» (так просят докурить) — и в тот же миг включил, ослепляя Володю, сильный электрический фонарь. Володя прищурил желтые рысьи глаза, сделал еще шаг назад, обозначая необходимую по уставу дистанцию, и снова выкрикнул положенные слова, прибавив к ним от себя странное изречение, которое имел обыкновение повторять по нескольку раз на дню: «Раз в год даже палка стреляет». «Папиросу давай!» — завопил замстрой и нетерпеливо постучал каблуком сапога о землю. «Какую папиросу?» — Володя, окаменев лицом, просто-таки поражавшим тупостью, продолжал водить перед собой стволом автомата, будто уже расстреливал проверяющих. «Ты что, подлец, смеешься!» — кавказец был не менее вспыльчивый, чем веселый. Володя рассказывал потом, будто замстрой начал даже расстегивать кобуру пистолета, но Демиденко схватил его за руку, предупреждая смертоубийство (впрочем, эта подробность кажется мне неправдоподобной). «Вы, ефрейтор, курили на посту», — не терпящим возражений тоном произнес замполит и тоже зажег фонарик. «Никак нет», — отозвался Володя, направляя на него автомат. «Предъявите окурок», — подполковник Демиденко посветил Володе в лицо и, в свою очередь, протянул руку. «Какой окурок?» — на подполковника смотрели невозможно честные глаза дурака. Володя отступил еще немного, медленно, словно отлепляя, отнял от ствола автомата одну ладонь, потом другую и показал их замполиту. Демиденко направил луч фонарика на землю. Володя стоял у входа на КПП, место чистое, выметенное, подполковник туда-сюда водил фонариком у ног часового, земля искрилась песчинками, никаких посторонних предметов на ее поверхности не обнаруживалось. Соблюдя все параграфы устава, проверяющие вызвали начальника караула и приказали поднять весь пребывающий в караульном помещении свободный от постовой службы личный состав. Нас бросили бегом к КПП, вскоре туда же подогнали из парка две автомашины. Водители включили фары, освещая территорию. Земля сияла, как огромный стальной шар, будка контрольно-пропускного пункта и полосатый шлагбаум — покрашенная белым и

черным, полосатая железная труба с веревкой на одном конце и грузом из нескольких связанных кирпичей на другом, – выглядели сиротливо на этой просторной и гладкой сверкающей планете. Мы ползали по ней на четвереньках – окурка не было. Михайлову приказали вывернуть карманы, из кармана шинели он извлек мятую пачку «Путины» с несколькими неначатыми папиросками и коробок спичек. Окурка не было даже в сапогах. Михайлова отправили под арест. Прежде чем покинуть нас, он остановился в центре ярко сверкающего круга, на котором разворачивалась сцена, белые струи света, бившие со всех сторон, омывали нижнюю половину его тела, тогда как лицо оставалось в тени. «Ни за что страдаю», – раздался оттуда, из тени, проникновенный голос Володи. Его увели. Кажется, нашу батарею сменило в карауле другое подразделение. Настало утро, потом недолгий осенний день, – валясь с ног от усталости, от бессонной ночи, мы, под строгим присмотром начальства, продолжали поиски. Мы уже злились на Володю и желали, чтобы скорее отделаться, найти вещественное доказательство его проступка, но вместе, с каждым часом в нас поднималось сомнение: может, в самом деле не курил? Померещилось в темноте этим чертям гладким, теперь кувыркайся тут целые сутки!..

Замполит Демиденко жаждал заполучить окурок не для того лишь, чтобы уличить ефрейтора Михайлова в чудовищном нарушении устава и во лжи, не для того даже, чтобы нанести чувствительный удар самоходной «вольнице»: его манила возможность впечатляющего, очень полезного в системе воспитательной работы действа, именуемого «Похороны окурка». То обстоятельство, что персонажами и исполнителями в нем окажутся БТиМВ, придавало замполиту энергии и настойчивости.

Спектакль давался раз или два в году, режиссура была отработана до мелочей. В поле, вне расположения части, выбиралась подходящая площадка. Подразделение, где служил виновник событий, уличенный с папиросой в неположенное время или в неположенном месте, посылали туда заблаговременно рыть «могилу». Работа не шуточная: копали не ямку для виду, даже не яму, куда можно было бы уложить самого виновника, – копали ямищу, ров. Времени на работу давали в обрез, копали быстро, сменяя друг друга, гимнастерки быстро белели от соли. Когда ров был готов, полк выстраивали вокруг, затем, по команде главного режиссера (им был, конечно же, замполит Демиденко), из ворот части (если быть совершенно точным – из-под приподнявшейся полосатой трубы-шлагбаума) показывалась процессия: впереди кто-нибудь из младших командиров, следом шестеро солдат с носилками на плечах, на носилках покоился найденный или отобранный в неположенном месте или в неположенное время окурок, за носилками одиноко шествовал виновник происходящего, следом – личный состав подразделения. У края рва процессия останавливалась. Замполит обращался к нарушителю с проникновенной речью, требуя осознания вины и покаяния. Выслушав ее, тот с окурком в руке прыгал в яму, укладывал окурок и, слава Богу, вылезал обратно. Личный состав проштрафившегося подразделения снова брался за лопаты и на глазах части забрасывал «могилу» землей. Финал действа составляло торжественное слово замполита, в котором упоминался дом большой, поменьше и совсем маленький, где-нибудь в Блинах, Ложках или этих, будь они прокляты, Концах-Крантах... Вот какую радость, какой праздник отнял у подполковника Демиденко строптивый ефрейтор Михайлов, что-то такое, непонятное, загадочное сделавший с папиросой – ведь была же, была! – проглотил он ее, что ли?..

Но Володя Михайлов не проглотил папироску. Пожалуй, настала пора от-

крыть тайну – за давностью лет преступление уже не наказуемо. Увидев перед собой высокое начальство, Володя, сохраняя полное душевное равновесие, быстро и ловко загнал «гвоздик» зажженным концом вниз в дуло своего автомата, откуда впоследствии окурок был извлечен принявшим у него оружие, когда вели его под арест, другом и земляком, ефрейтором же Димой Андреевым. Замполит Демиденко, до той поры не заглядывавший в личное дело Михайлова, не мог предположить искушенности ефрейтора в так называемых «шмонах», которым Володя, до того, как, по терминологии замполита, народ на него возложил, многократно подвергался в местах разной степени отдаленности, где, в сущности, провел допризывный возраст, в частности (ходил слух) и по мокрому делу...

Итак, подполковник Демиденко, ощущая, как из души его властно пробивается наружу потребность произнесения слов, возвышался в дверях класса, ефрейтор же Михайлов возвышался перед ним в позе, из которой безусловно явствовало, что сам он убежден, будто стоит «смирно», хотя сказать про него, что стоит «вольно», и то был бы грех, к тому же, промасленная его гимнастерка выбилась из-под пояса, а еще более промасленные рабочие шаровары, облепленные опилками и мелкими розовыми щепочками, обвисли на коленях и тощем заду. От Михайлова не ускользнула запинка подполковника, едва ли не впервые почувствовавшего сбой того внутреннего механизма, который безотказно и безостановочно подавал нужные слова; но вместо того, чтобы хоть как-нибудь пособить начальнику, Володя, безразлично, ни к кому не обращаясь, вдруг произнес свое любимое: «Раз в год даже палка стреляет». Это неприхотливое, даже нелепое сочетание слов обладало, однако, главнейшей особенностью истинно великих изречений: при осмыслении оно обретало все большую многозначность и, произнесенное при самых разных обстоятельствах, непременно оказывалось к случаю. Подполковник Демиденко несколько растерянно уперся взглядом в ефрейтора. Михайлов стоял перед ним нескладный, рыжий, и с лицом рыжим, сплошь покрытым лепешками веснушек, и глаза у него были совершенно рыжие, обрамленные белыми бесцветными ресницами, в чуть приоткрытом рту, как бы выражавшем некоторый глуповатый интерес к происходящему, желтели длинные, кривые зубы. Подполковник мог, конечно, приказать ему: «Молчать!», но ничего нового изрекать ефрейтор вроде бы не собирался, и подполковник снова замешкался, тем более, что, против своей воли, в эту минуту пытался еще и понять, что означает вся эта чушь со стреляющей палкой. Почувствовав свое бессилие разобраться в хитросплетениях ефрейторской мысли, он повернулся к старшине Кириллову.

Ах, какая стойка «смирно» была у старшины! Античная скульптура, художественное произведение! Словно старшина, завидев на пороге начальство, не с табурета вскочил, а взлетел, взмыл куда-то на высокую гору и застыл там, всем своим длинным, легким телом продолжая устремляться к небу. При этом замполит, хотя ростом был пониже Кости, видел большие Костины глаза с расширенными усердными зрачками так, как если бы это он, подполковник Демиденко, стоял на вершине, ибо старшина, обретаясь в великолепной своей стойке, странным образом всегда умудрялся смотреть на начальство снизу вверх. Подполковник даже невольно загляделся на Кириллова и, сердясь, почувствовал при этом, что опять упустил какое-то важное мгновение.

Он заранее готовился к тому, что речь его будет исполнена праведного гнева, но раздражение, охватившее его, едва он потянул на себя дверь класса, вдруг вырвалось из-под контроля. Давняя неприязнь захлестнула его. Впервые в своей многоопытной пропагандистской работе великий артист не поспевал раз-

глаживать складки тулупа, на который должен был улечься. Нежданно для собеседников и прежде всего для самого себя, он, точно и не ведал никогда хитросплетений риторики, заорал, как последний пехотный старшина: «Бардак... папироски... с дневальным... лясы.... распиздяйство... дерьмо... бардак...» Да что ж это я, успел подумать подполковник Демиденко, всей душой желая вернуть своей речи проникновенную убедительность и плавность, но что-то испортилось в машине, ремень оборвался и, взамен того, чтобы плавно кружиться на шкивах, лупил и стучал по чему ни попадя.

Сила ненависти — он уже не мог совладать с нею — сорвала его с места; путаясь в полах шинели, которую он, заботясь о впечатляющей монументальности, всегда выбирал несколько длиннее, нежели требовалось (товарищ Сталин, изваянный скульпторами, всегда представал в длинной, до земли, шинели), подполковник почти бежал по классу. Вместо катящегося потока слов — ах, как потом сладко было бы их вспомнить! — он, задыхаясь на бегу, только и выкрикивал: «вот... вот... вот...» — и, пробегая мимо, пинал носком сапога разложенные (признаем, весьма небрежно) вдоль стен детали узлов и механизмов (покрытые, опять же признаем, некоторым слоем пыли). Надо ли напоминать, что детали сплошь были стальные, подполковник быстро отбил пальцы на правой ноге и вторую половину пути бежал уже прихрамывая.

В глазах ефрейтора Михайлова, желтевших за белыми ресницами, зашевелилось нечто похожее на любопытство. Старшина Кириллов — руки по швам — поворачивался, как петух на спице, на своих длинных ногах, обтянутых сверкающими голенищами, и, не трогаясь с места, умудрялся каждую секунду оказываться к подполковнику лицом, нежно зардевшимся от необычности происходящего, и ловить его молниеподобные взгляды уставно расширенными, немигающими глазами.

Вражда, накопившаяся в душе подполковника, вдруг прорвалась, вырвалась наружу, как гной из чирья на натертой жестким целлулоидным подворотничком солдатской шее. А зайди этак в класс не он, подполковник Демиденко, а командир дивизии, еще выше, генерал из округа, сам командующий округом, черт побери... — распалял он себя и все пинал коробки передач, распиленные вдоль и поперек двигатели, разного размера тяжелые шестерни, валы, траки, броня крепка, большой палец на правой ноге болел нестерпимо (не иначе трещина в кости), уже замыкая круг, подполковник выхватил из внутреннего кармана шинели чистый, аккуратно сложенный носовой платок, провел по какой-то полке и поднес разом почерневшую ткань к лицу старшины: «Вот...»

Между тем над котелком поднималось, густея, белое облачко пара и вода в нем забулькала, отвлекая внимание подполковника. «Чайку захотелось... — снова взорвался он. — Вы бы еще борщ ... вы бы, старшина, в классе кур завели... порося... в такой грязи только свиней...» Подполковник схватил котелок за проволочную ручку, приподнял над плитой, но девать его было некуда, не на пол же швырять, — подполковник обжег ладонь и почти бросил котелок на раскаленный едва не докрасна лист плиты. При этом круглая конфорка, на которой прежде стоял котелок, осталась открытой — из нее с гулом вырывалось пламя. Выплеснувшаяся из котелка вода разбежалась по плите быстро мутнеющими и тут же высыхающими шариками. «Под арест! — подполковник тряс обожженной рукой. — Оба под арест!..»

И тут взгляд замполита полка упал на портрет. Это был портрет товарища Сталина. Обычный, напечатанный на бумаге портрет, какие в учреждениях всей нашей необъятной Родины выдавали для развески по комнатам. Экспозиция портрета в нашем классе явно не соответствовала уставным положениям,

требовавшим, чтобы портреты вождей, взятые в застекленные рамы, помещались в определенных местах стены, на определенной высоте и прочее. Наш портрет был приколот кнопками к оторванной дверце письменного стола, неведомо откуда взявшейся, ибо письменного стола ни в классе, ни во всем бараке не имелось, дверца же с приколотым портретом была поставлена на невысокий шкаф, где хранились учебные пособия. Лист прикололи не очень ровно, а, может быть, сама дверца, использованная вместо рамы, была не очень ровной, кнопки слегка проржавели, портрет (скажу банальное) был слегка засижен мухами и выглядел несвежим. Впрочем, если задуматься, в таком виде портрет свидетельствовал о более искреннем, более душевном отношении к нему, нежели пристроенный в положенной раме на положенном месте и от привычки незамечаемый. Товарищ Сталин в форме генералиссимуса, сильно поседевший, с отеческим строгим доброжелательством посматривал на нас с невысокого шкафа, и мы, доставая свернутые в трубку таблицы и схемы, всякий раз, с некоторой интимностью взглядывали в глаза своему генералиссимусу. Существенно для пытливого ума, что мы вообще сочли нужным вот этак, в нарушение всех правил, запросто поместить в классе портрет — не свидетельствовало ли это о глубокой внутренней потребности общаться с ним?.. Эти соображения не осенили подполковника. Думаю, одновременно с понятным возмущением, он испытывал бодрящее чувство наступающего торжества: портрет генералиссимуса, кое-как приколотый к оторванной дверце письменного стола, — это был пик «вольницы», ее кульминация, за этим неизбежно должна была следовать развязка, — замполиту виделись грозные разборы и разносы на всех уровнях, партийные собрания, суд чести, к которому он притянет командира батареи, молчаливого (никогда не поймешь, о чем молчит) капитана Чернышева, тихо ладившего со своими сержантами. И еще разное виделось... Победа была близка — только руку протянуть. Разум толково нашептывал подполковнику необходимый образ действий, но рев страсти в ушах заглушал голос разума. О победе страстей над разумом нам известно еще из античных трагедий. Вместо того, чтобы сорвать плод победы, подполковник Демиденко, распаленный яростью, которую сам в себе возбудил сверх допустимых пределов, протянул-таки руку, но к портрету и одним махом сорвал его с дверцы, к которой тот был приколот. «Все засрали... Портрет засрали... Товарища Сталина портрет засрали...» — он сам удивлялся своему неузнаваемому голосу, лексике, интонациям. Ярко-синие его глаза помутнели до белизны. Одним сильном ударом ладоней, точно лепил снежок, он вдруг скомкал портрет и швырнул с размаху в гудящую пламенем зияющую конфорку.

Никто такого не ожидал, менее всех, могу поклясться, сам подполковник Демиденко. В тот момент, когда бумажный комок погружался в пламя, он даже сделал движение рукой, как если бы хотел извлечь его обратно, но доблесть Муция Сцеволы на сей раз была бесполезной, огонь, бесновавшийся в топке, тотчас сожрал беззащитную бумагу. Костя Кириллов тоже качнулся длинным, вытянутым в струнку телом в сторону печи и, конечно, тоже без смысла, по одному лишь внутреннему побуждению. Что же до ефрейтора Михайлова, то он продолжал пребывать в своей нелепой стойке, равно далекой от «смирно» и от «вольно», и, приоткрыв рот, с любопытством взирал желтыми глазами на происходящее. Когда стало ясно, что совать руки в печь в надежде добыть оттуда портрет так же неразумно, как и дожидаться, что он сам, подобно птице Фениксу, выпорхнет из конфорки, Володя Михайлов, не страшась обжечь ладонь, взялся за проволочную ручку котелка, приподнял его и опустил

обратно, прикрывая конфорку, – будто точку поставил. При этом он повел рыжей головой и в наступившей, как после взрыва, тишине вымолвил вроде бы ни к селу ни к городу свое «Раз в год даже палка стреляет» – и, согласимся, немудреное изречение опять пришлось кстати и обретало, по обыкновению, заведомую многозначность.

«Что?» Подполковник очнулся и, заметно взвинчивая себя, произнес что-то вроде «доигрались», но теперь у него и крик не получился, как прежде не получилась привычно катящаяся потоком речь. Подобрав полы шинели, он, прихрамывая, быстро направился к выходу, на пороге обернулся, набрал в грудь воздуху, но так ничего и не сказал, лишь погрозил старшине и ефрейтору пальцем и исчез, крепко пристукнув дверью. Костя Кириллов снял со шкафа дверцу от письменного стола, аккуратно вытащил из нее проржавевшие кнопки, которыми был прикован портрет, и вместе с прицепившимися к ним обрывками бумаги бросил в печь.

После этого происшествия замполит в нашей самоходной батарее не показывался. На разводе, во время общеполкового политчаса, культмассовых мероприятий мы для него как бы не существовали: его синие глаза, наткнувшись на черные погоны, на какое-то мгновение словно переставали видеть и вновь обретали зрение, когда пройдя эту мертвую зону, встречались с желанными малиновыми. Вскоре пришел приказ о передислокации полка. С окраины северного городка, где мы стояли, нас перебросили в тундру, в сопки. Пока пехота добиралась до нового места, самоходчикам приказано было своим ходом, на машинах направиться в город Н., где размещался штаб соединения, и до времени состоять при тамошнем танковом полку.

История с портретом быстро зарастала в памяти новыми впечатлениями и разве что изредка, в веселую минуту, вдруг аукалась дурацким анекдотом, который и рассказать опасно. В Н. я встретил давних своих приятелей Витьку Сакулина и Володю Драгоева – мы когда-то вместе начинали службу. Однажды мы с Витькой Сакулиным курили в отведенном для того месте, возле казармы: лениво развалившись на скамеечке, пускали дым и щурились, подставляя лицо нежаркому, зато долгому северному солнышку. Время чистить оружие, но очень не хотелось шевелиться. Подошел Володя Драгоев: «Который час?» Я попробовал взглянуть на циферблат стареньких мозеровских часов, трофейных, купленных еще до армии по дешевке у инвалида, – глаза были набиты солнцем, не разбирали блеклых цифр под блестящим кружочком стекла; согнув в запястье руку, я показал часы Володе. «Без десяти шесть, – сказал Володя. – Ровно в шесть я застрелюсь». Он был очень красивый: точеный с горбинкой нос, большие продолговатые черные глаза, из болгар, наверно, все у него, как мы знали, складывалось удачно, стреляться ему было не с чего, да и говорил он об этом весело, улыбаясь. Накануне мы вместе ходили в увольнение и провели полный соблазнами вечер, начатый в буфете морского порта и завершенный в общежитии рыбоконсервного завода. Витька старательно обтер пальцем вспотевший на солнышке нос, проговорил сонно: «Здесь могилу рыть тяжело – вечная мерзлота». «И цветов нет, – глупо подхватил я. – Ты какие любишь?» Володя засмеялся: «Ну, прощайте, философы, мать вашу».Через десять минут в помещении для чистки оружия он выстрелил себе в рот из пистолета; пуля вышла в затылок и застряла глубоко в деревянной плахе подоконника (Володя сидел спиной к окну), следователи еле ее оттуда выковыряли.

На другой день по части настойчиво пополз слух, что накануне вечером, через несколько часов после несчастья, о случившемся передали в последних

известиях вражеские радиостанции «Би-би-си» и «Голос Америки», которых в полку, разумеется, никто не слушал (да и забивали их тогда отчаянно). Из такого слуха нельзя было не сделать вывод, что кто-то из личного состава полка немедленно сообщил о Володином самоубийстве империалистическим державам, — это придавало самоубийству, помимо нравственно чуждого, еще и неприятный политический оттенок. Все происходящее — по-армейски: «ЧП» — остро подтверждало необходимость постоянного повышения бдительности.

В тот же день чужой — но знакомый мне — старшина отвел меня в сторонку и рассказал, что, как только вся эта хреновина с Володей получилась, особисты явились в каптерку, открыли его чемодан и унесли все имевшиеся там письма: наверно, намеревались в них вычитать причину Володиного поступка. О таких вещах рассказывать не было принято, мы со знакомым чужим старшиной минуту-другую покурили молча, своим молчанием я как бы оценил его доверительность. Но, оказалось, недооценил. «Ты-то на хрена письма хранишь?» — проговорил он с показным безразличием, делая последнюю затяжку и бросая окурок в распиленную пополам железную бочку, заменявшую урну. — Сдались они тебе!» Мне, и правда, писали из дома каждый день, иные дни я получал сразу несколько писем, плотные их пачки, крепко стянутые шпагатом, занимали половину моего чемодана, где, кроме них, имелся лишь комплект выходной одежды, нитки, картонка с прорезью для чистки металлических пуговиц, безопасная бритва и кое-какие мелочи мужского туалета. Меня порадовала осведомленность знакомого чужого старшины в содержимом моего чемодана, я тоже затянулся напоследок, бросил окурок в бочку и молча кивнул. В тот же вечер я сжег письма и больше не собирал их, тотчас по прочтении уничтожая всякое полученное письмо.

Хоронить Володю нас не взяли — зря мы тревожились насчет рытья могилы и цветов. Витька, дослуживавший при штабе и имевший доступ к начальству, заикнулся было, но на него строго махнули рукой: «Без вас обойдутся». О похоронах, собственно, никому и не сообщили, позже Витька разузнал, что провожал Володю офицер из особого отдела, кто-то из политчасти и несколько солдат из госпитальной обслуги. Была также Володина мать, ее вызвали телеграммой. Мы видели ее, когда она, уезжая, получила Володины личные вещи: высокая, с горбатым носом и продолговатыми, черными, как у сына, глазами; на голове черный кружевной платок. Высокая, прямая, она шла, глядя прямо перед собой, по дорожке к воротам, знакомый чужой старшина нес за ней Володин чемодан, а над расположением части, со всех сторон, во всю мощь гремели репродукторы, полковой радист, не затрудняясь выбором пластинок, крутил все одну и ту же любимую: «Надену я перчаточки, прощайте вы, девчаточки!..» — лихо отрывало мужское соло, и женский хор тут же и с такой же лихостью вопрошал: «А ты скажи нам, нинаглядный, отчиво ты такой нарядный!..» Был прозрачно-светлый, солнечный, северный летний вечер...

Лишь в первые дни осени оказался я в сопках, где в палаточном городке располагался теперь наш полк. И тут судьба напомнила мне, что у нее на каждого свои виды. Вскоре после приезда меня назначили помогать топографам, уточнявшим карты местности: участок был неразведанный, с недавних военных времен сохранились какие-то немецкие карты, но вызывали сомнение. Край болотистый, автомобиль не всюду пройдет, мою машину решено было использовать как вездеход. Офицера-топографа и двух солдат, его помощников, я устроил внутри, а сам, для большего простора действий, сел снаружи, на броне, держась за пушку. Во время движения мы беседовали с офицером-топографом,

который высунулся по грудь из люка; солдаты жались в бронированном коробе, их там растрясало и укачивало. Из экипажа машины (на мое счастье, как вскоре выяснилось), кроме меня, был только механик-водитель Шура Черныш, уроженец питерских окраин, с бледным лицом и припухшими прозрачными глазами порочного отрока; командира орудия и заряжающего, чтобы не болтались зря и не занимали в машине лишнего места, отправили на другие работы.

Время от времени топографический офицер просил остановить машину, хотя под рукой у него была кнопка, нажав которую, он мог зажечь красный огонек на щитке водителя (опять же на мое счастье, он не знал об этом) — я вытягивал ногу, так, чтобы водитель мог видеть носок моего сапога и подавал ему сигнал. Топографы выбирались на волю, бегали туда и сюда, что-то промеряли, исследовали, зачерчивали, нас с Чернышом это мало интересовало: мы сладко нежились, курили, прислонясь спиной к слегка нагретой солнцем броне. День стоял великолепный, под блеклым голубым небом охрилась и ржавела бескрайняя тундра, воздух был легкий, каждая кочка, красневшая в отдалении, тонкое кривое деревце с уцепившимися за корявые ветки последними не облетевшими желтыми листками виделись ясно, выпукло, как в оптическое стекло.

Так мы гуляли по окрестностям часа три или четыре, пока офицер-топограф не приказал свернуть резко в сторону от дороги. «Тут вроде бы трясина!» — крикнул я, приподнимаясь ближе к его уху и стараясь пересилить грохот движущейся гусеничной машины. «У меня на карте луг», — отвечал он, преувеличенно артикулируя, и протянул мне карту, в которую я не стал заглядывать: луг так луг — точность карты меня ничуть не волновала, мне бы машину не посадить. Дорога шла по насыпи, я видел, что внизу, по сторонам, между кочками посверкивает вода, видел это, конечно, и топограф, но словно какая-то безмятежная морока нашептала нам не верить своим глазам. «Ну что, сворачивать?» — спросил я жестом. Он кивнул — в его взгляде соединились приказ и просьба. Держась за пушку, я вытянул ногу и носком сапога показал Чернышу направление. Машина круто развернулась на месте, ткнулась носом вниз, сползая с насыпи, и так , в наклонном положении, остановилась. Солдаты внутри громко, испуганно заматерились. Черныш воткнул первую передачу, и машина начала тяжело съезжать в болото. Передняя ее часть, тот острый стальной клин, где лист лобовой брони под острым углом сварен с донным, отодрал, подцепил слой дерна, по мере движения машины дерн этот скатывался перед нею толстым ковром. Оказавшись всем протяжением гусениц на болотном грунте, машина с трудом проползла еще десяток метров и снова встала. «Засядем», — подумал я. Приятный день оборачивался множеством хлопот: вызовом тягача, за которым придется на редких здесь, в тундре, попутках и пешком добираться до части, буксированием машины, долгими и нудными трудами по ее чистке и приведению в порядок, неудовольствием начальства, а скорей всего, и взысканием. Пока совсем не увязли, надо попробовать обратно на дорогу, — я выругался и спрыгнул с брони, пощупать собственными ногами почву и посигналить водителю в открытый люк, чтобы включал заднюю передачу. Но в ту секунду, когда ноги мои коснулись неверной земли перед носом машины, Шурка Черныш захлопнул люк, потому что к нему в кабину летела грязь и затекала болотная жижа. Я помахал было рукой, да разве увидишь? Дерн огромной скаткой ковра заслонил крошечный стеклянный прямоугольник смотровой щели. Черныш снова воткнул первую и тронулся не назад, а вперед — на меня. Я хотел отскочить, но ноги по колено погрузились в трясину: стоял и смотрел, как ползет на меня многотонная стальная махина. Смотрел и понимал — всё, конец.

Не помню и понять не могу, как я оказался вниз лицом, – это спасло мне глаза, да и вообще голову; макушка и затылок были покрыты толстым с предохранительными подушечками танковым шлемом. Еще больше мне повезло, что я попал между гусеницами, я чувствовал, как машина навалилась на меня и, мне казалось, долго мяла и била мне голову и спину. Тяжесть ее становилась все непереносимее, я не мог дышать, грудь не поднималась и спина тоже, все было придавлено этим многотомным стальным прессом. Я открыл рот в надежде все же вобрать в себя хоть немного воздуху и почувствовал, как в рот потекла вода. Я вдруг увидел себя в классе, не в том, описанием которого началась эта история, а в обыкновенном школьном классе, я, маленький мальчик в белой рубашке, сооруженной из маминой батистовой кофточки, сижу за партой, передо мной черная школьная доска, незнакомый учитель берет мел и пишет на ней крупно: «Умираю», – я до сих пор помню почерк, которым было написано это слово, помню цвет мела – не белый, а сероватый, какой бывает, когда пишешь по влажной доске. Рот был полон холодной болотной воды...

Но день выдался для меня фантастически счастливым. Если бы в машине был еще один танкист, он бы непременно автоматически нажал кнопку «стоп» и тем обрек мою расставшуюся с телом душу на великие хлопоты – не так-то просто выбраться из-под самоходно-артиллерийской установки, по самое днище увязнувшей в болоте. А именно это и произошло с ней, не с душой, а с самоходной установкой, минутой позже, когда не ведавший про кнопку топограф, очнувшись от растерянности, криком и топотом подал сигнал остановиться водителю Шуре Чернышу, и не предполагавшему, что едет по своему командиру. Машина проползла еще с десяток метров, прежде чем прекратить движение и тут же всей своей огромной тяжестью прочно застрять в болоте. Лишь тягач несколько часов спустя выволок ее обратно на дорогу. Место было мягкое, топкое – тоже благо! – металл не столько ломал меня, сколько вдавливал в трясину, да так глубоко, что извлечь мои сапоги вместе со мной из болота уже не удалось. Я очнулся, когда меня закидывали в кузов такого случайного (и тут удача!) в тамошних краях грузовика: приоткрыл глаза, увидел голубенькое небо, рыжую, вызолоченную солнцем тундру, еще более просторную с высоты, на которую меня подняли погружавшие в грузовик руки, почувствовал, как хлынул в грудь легкий студеный воздух, – ах, хорошо!

Пока все это происходило, я не сообразил даже испугаться. Испугался уже в госпитале, ночью: вдруг, точно в замедленном кино, увидел, как неторопливо прет на меня машина, а я, будто дерево, по колено врос в землю и двинуться с места не могу, самоходка, эти поставленные на гусеницы тысячи килограммов стали, совсем близко, вот уже коснулась меня выступающим вперед швом, где под острым углом сварены лобовая и донная листы брони, – и тут такой страх на меня накатил, что я покрылся холодным потом и застонал, не в силах удержаться. Подошла сестра – меня положили в коридоре рядом с ее столиком – уколола мне что-то, и я снова провалился в сон, уже до утра, до той минуты, когда открыл глаза и увидел возле терпеливо сидящего на стуле человека в белом халате поверх мундира. Он держал на коленях папку с положенным на нее чистым листом бумаги: «Врачи считают, что положение у вас сложное, – начал он заботливо, – поэтому не будем откладывать. Что вы можете сказать о ваших отношениях с механиком-водителем Чернышом Александром Сергеевичем?..»

Осень перевалила за половину, когда я возвратился в свою батарею. В холе госпиталя, пусть относительной, и все же холе, я успел соскучиться по нашим невысоким сопкам, горбившимся под просторным небом. По холодным

палаткам, в которых мы спали на фанерных нарах, не раздеваясь, по двое, по трое, прижавшись друг к другу, чтобы укрываться не одним, а двумя или тремя тощими байковыми одеялами, между тем как дневальный, за неимением печки и дров, жег по ночам в ведре что ни попадя, чаще всего рваную автомобильную покрышку (утром, выбежав из палатки, мы долго откашливались и отхаркивались, выплевывая черные хлопья копоти). По нашим машинам, которые постоянно не заводились, которые всякий день приходилось чистить, смазывать, лупить кувалдами по тракам. По товарищам-батарейцам. Чем, кажется, отличались от них те, с кем я сошелся в госпитале: те же разговоры, шутки, обиды, та же общность интересов? Все равно: соскучился!

Давно отлетали белые мухи, отзвенела земля под нашими сапогами — снег, раз-другой примерившись, лег основательно, хотя пока не очень глубокий. По утрам, чтобы умыться, мы разбивали тяжелым гаечным ключом лед в стоявшей возле палаток железной бочке. Дни стали коротки. На наши сопки все плотнее наваливалась полярная ночь.

Как-то вечером мы сидели с Костей Кирилловым в его отдельной палатке, оборудованной еще и под каптерку: в ней стоял небольшой стол и ящики с казенным имуществом. Вместо нар у старшины была настоящая железная койка с постеленными на ней двумя-тремя матрасами, и отапливалась палатка настоящей круглой жестяной печуркой, возле которой были свалены горкой с трудом добытые в окрестной тундре тощие чурочки, палки, сучья — какие-никакие, а все дрова. На столе не убогая коптилка светила — всамделишняя керосиновая лампа. Костя, разложив какие-то разграфленные листы, составлял вечные списки. Не помню, о чем завязался у нас разговор, да оно и не важно, — тут главное отметить безмятежность нашего настроения, совершенную нашу беспечность: день прошел и слава Богу, поужинали, добавили уже в палатке чайку с хлебом, сыты, впереди ни работ, ни караульного наряда — лишь сладкий сон. Костя автоматически, не переставая болтать, покрывал листы бумаги своим четким, красивым, с завитушками старшинским почерком, я развалился поперек его мягкой постели, мы тянули до отбоя, и ничто не предвешало каких-либо событий в оставшиеся полчаса уходящего дня.

Но полог палатки слегка отогнулся, и вовнутрь всунулась голова ефрейтора Михайлова; лицо Володи в желтом свете лампы казалось не таким рыжим, как обычно. Он огляделся, после чего в палатку протиснулись плечи, низко пригнувшаяся спина и, наконец, появились Володины ноги в стоптанных кирзовых сапогах с широкими голенищами. «Разговор есть», — вместо положенного приветствия произнес Володя. Глаза старшины в полумраке ярко улыбались чему-то смешному, только что промелькнувшему в нашей беседе, он кивнул головой, давая понять, что принимает неофициальный тон ефрейтора и готов к неслужебному разговору и шуткам. Михайлов присел на корточки перед печкой, заглянул в топку, старательно подложил туда несколько кривых палочек и сказал спокойно, как о чем-то всем хорошо известном: «Раз в год, бля, даже палка стреляет». «Ты о чем это?» — спросил старшина, выводя карандашом красивые с завитушками буквы.

И Володя поведал нам, что уже давно, сразу после почти забытого ныне всеми происшествия в классе, послал письмо товарищу Сталину. Он писал, что во всей его молодой, по собственной глупости загубленной жизни, которую разменял по тюрьмам и лагерям, одна была у него радость, что есть на свете товарищ Сталин, лучший друг, отец и учитель всех людей на земле. И вот теперь, когда, отбыв срока, он, с ясной и твердой мечтой исправиться, слу-

жит в родной Советской Армии, ему, что называется, наплевали в душу. Что ж это делается, если замполит полка на глазах у подчиненных скомкал и бросил в печку портрет великого вождя! Пусть портрет и не был застеклен, пусть не висел, как положено, не покривил против истины Володя, за это и наказать можно, но глядеть, как жгут в огне портреты товарища Сталина, лично он, ефрейтор Михайлов, никаких сил не имеет, о чем и считает нужным сообщить для принятия мер. Все это время на письмо не было ни ответа, ни привета, но вот нынче после ужина Володю незаметно отловил толсторожий сержант, состоящий при контрразведчике, офицере особого отдела, которого в части между собой именовали «особняком», и приказал сворачивать в особнякову палатку. Володя удивился, он уже и не ждал, что по этому делу, и наскоро перебрал кое-что из старого, — что именно, он, впрочем, нам не объяснил. В палатке сидели четверо: наш особняк, тощий, смуглый, как копченая рыба, двое, как понял Володя, московских, и, видать, в чинах — гладкие, щурятся, — и еще толсторожий сержант стучал на машинке. Сперва, конечно, как у них водится, спрашивали про другое, но он, Володя, в эту буру играл-переиграл, и, пока не спросили про портрет, чувствовал, что все это присказка, а когда пошла сказка, изложил во всех подробностях, как было дело. Володя пересказал нам подробно, что говорил там, в особняковой палатке, точно мы прежде слыхом не слыхали про сожженный портрет. В его словах, интонации, выражении лица не было ни возмущения, ни иронии (хоть бы промелькнуло что): ровным, безразличным голосом он и нам несколько раз повторил исправно, что сил у него нет глядеть, как бросают в печь портреты товарища Сталина, — наверно, точно так же и там говорил.

Про Володю Михайлова никто из нас толком ничего не знал, кроме того, что он с малолетства скитался по местам заключения. Он никогда не хвастался этим, как хвастались едва не все, изведавшие такой же участи. Он вообще редко вспоминал в разговорах о своей прошлой жизни, кое-что сбалтывал иногда его земляк и кореш Дима Андреев, но и ему, похоже, известно было немного. В общении Володя выказывал себя человеком доброжелательным и справедливым, никогда не задирался, редко с кем ссорился, если же ссорились при нем другие, старался примирить стороны, непременно напоминая про палку, которая вдруг да и выстрелит. В его словах и поведении была даже какая-то излишняя ровность, заведомо не показная — и все же как бы скрывающая его подлинные мысли и намерения. О чем он думает? Поди пойми, глядя на его рыжее лицо, с немигающими желтыми глазами и белыми ресницами, с чуть приоткрытым ртом. Я и сейчас не нахожу ответа на вопрос, с какой целью затеял Володя Михайлов всю эту историю: хотел ли посрамить подполковника, просто ли шутил от скуки или (вдруг иной раз закрадывается мысль) его послание великому вождю было совершенно искренне?.. Но какие бы соображения не побудили его к тому, он нажал пусковую кнопку, шестеренки начали поворачиваться, цепляя одна другую, машина заработала, и не в Володиной власти было теперь остановить ее. Да Володя и не видел ни малейшей необходимости ее останавливать. Наоборот, в нем угадывался затаенный интерес ученого, наблюдающего за ходом поставленного им эксперимента. «Ты, вызовут, станут спрашивать, не дрейфь, — говорил он старшине, разгребая суковатой палочкой жар в печи и подсовывая ее на освободившееся место. — Дело чистое, врать не надо, объясняй все, как было...»

Даже густой теплый свет керосиновой лампы не мог скрыть бледности Костиного лица. Неподвижный взгляд его светлых, широко открытых глаз словно

что-то высмотрел в темноте. Он сидел, выпрямившись до такой степени, что казалось, поговорка насчет проглоченного аршина имеет реальное основание. «Да какого... – старшина никогда не ругался. – Какого лешего ты письмо это писал?» «Ну, чего теперь говорить? Раз в год, сам знаешь... – Володя поднялся от печки и махнул рукой, обозначая тщету запоздалых сожалений. – Ты, главное, не путайся. Не втирай шары валетам этим. Дело, говорю, частое. Расскажи, как было – и с приветом, ваш сын Вася». Он неспешно выбрался из палатки, показав нам напоследок тощий зад, на котором обвисли промасленные стеганые шаровары. Мы слышали, как он зашагал прочь, как к тупому стуку его шагов присоединился стук еще чьих-то, – видно, Дима Андреев, кореш и земляк, ждал его; скоро неподалеку раздалось бряканье струн Диминой балалайки, и два голоса негромко и благообразно затянули нескладуху, частушку, в которой к ничего не обещающим двум первым строчкам вне смысла и рифмы присоединяются еще две, непременно непристойные. Костя-старшина, прячась от света лампы, прикрыл глаза узкой ладонью; он был все еще бледен. «Понимаешь... – начал он было и остановился. – Ну да ладно... Долго еще до отбоя?» Он вытянул стройные ноги в начищенных до глянца сапогах, заложил руки за голову и потянулся своим узким телом. «Слушай, проведи за меня вечернюю проверку, спать ужасно хочется...» Он зевнул, уже совсем нарочито. Тут весьма кстати горнист протрубил зорю, я вышел из палатки, приложил ладони рупором ко рту и закричал: «Строиться!..»

На другой день в послеобеденное время, занятый какими-то делами, я увидел Костю, возвращающегося к себе от притаившейся на отлете, между двумя высотками особняковой палатки. Он шел задумчиво, опустив голову, по натоптанной тропе, то ныряющей в лощинки, то вновь выбирающейся на невысокий гребень хребта, составленного несколькими стоящими рядом сопками. Прямой, тонкий, в простом бушлате, подогнанном и сидевшем на нем так, что смотрелся гусарским доломаном, он легко двигался на длинных, обтянутых хромовыми сапогами ногах, с изяществом переступал с камня на камень (серые круглые валуны то тут, то там выступали из-под неглубокого еще снега), перепрыгивал через невидимые мне рытвины, огибал редкие кривые деревца и кустики. Приблизившись и заметив меня, Костя показал глазами, что нехудо бы поговорить, но не на виду, – я понял его знаки и с самым безразличным видом направился к выгребной яме, вырытой в стороне от жилья и обнесенной низким частоколом из тоненьких северных березок. Костя заглянул через ограду, чтобы убедиться, что за ней никого нет, и коротко поведал мне о только что состоявшемся разговоре, который, понятно, обязался не разглашать. Он готовился в подробностях изложить особистам происшествие с портретом, его, однако, об этом и не спросили: все вопросы, прямые или косвенные, как понял Костя, клонились к тому, не он ли, старшина Кириллов, подбил ефрейтора Михайлова написать известное письмо и послать по известному адресу. Костя на всякий случай сделал вид, что о письме слышит впервые, и, как его не подлавливали, стоял на своем: теперь он просил меня, чтобы я, если меня вызовут, ничего не говорил про вчерашний вечерний разговор с Михайловым. Я, конечно, пообещал, но порядком испугался. Я не знал, сообщил ли Володя Михайлов особистам, что рассказал Косте про письмо; я допускал также, что хитростью, угрозами, очной ставкой они и Костю вынудят признаться, что разговор о письме у него с Михайловым был и что я при разговоре присутствовал, – в этом случае я окажусь виновным в недоносительстве или укрывательстве (как там у них такое называется!). В утешение себе я сочинил какую-то несусветную чушь: ска-

жу, что, когда появился Михайлов, я вышел из палатки по нужде, или, лучше, что заснул и не слышал разговора. Я был достаточно искушен, чтобы понимать, что «они» мне не поверят, и потому, что выдумка моя ничтожна, и потому, прежде всего, что «они» вряд ли утруждают себя поисками серьезных доказательств — просто снимают ленту по своему сценарию. И все-таки, слаб человек, припасал доказательства.

Меня, однако, не вызывали — и это вместе радовало и тревожило. Идти в особнякову палатку страсть как не хотелось, но расследование велось почти неделю, и за эту неделю весь личный состав нашей батареи перебывал в этой отдаленной от прочих палатке, весь, кроме меня, — и это по-своему тоже пугало. Я был для «них» заведомо не лучше других, и то, что меня не трогали, позволяло предполагать, что со мной «им» уже все ясно, или, что, по сценарию, мне уготована некая неожиданная, отличная от других роль.

Каждого, с кем вели беседу, предупреждали о неразглашении. Но жили мы друг у друга на виду, про каждого, хоть и соблюдалась игра в тайну — толсторожий особистский сержант как бы незаметно подступал, как бы незаметно отзывал, — знали, где был и откуда вернулся, разговоры в батарее, понятно, тоже, так или иначе, постоянно поворачивали к происшествию, — опасались, конечно, один другого, в общем и целом, не разглашали, но вовсе смолчать, не предупредить товарища, о чем могут спросить, на чем изловить, было бы предательством, на всякого, кто возвращался «оттуда», внимательно, ожидающе смотрели остальные, и он открывал что-то — намеками, шуточками, и в нарочитых улыбочках, фальшивых словах, с которыми едва не каждый возвращался после беседы, ощущалась какая-то душевная оскомина, недосказанное что-то, саднящее и пачкающее душу.

Из возникавших, подчас не слишком внятных разговоров, все же прояснялось понемногу, что если в особняковой палатке и беседовали о сожженном портрете, то не с батарейскими, а, наверно, лично с подполковником Демиденко; судя же по вопросам, которыми донимали наших ребят, заседавшие в этой палатке интересовались всего более «провокационным письмом», сочиненным и посланным «кое-кем» из личного состава батареи с неблаговидными, — возможно, враждебными — намерениями. Вряд ли все наши вполне сознавали это, но с каждым днем больше и больше чувствовали тяжесть атмосферы, настроение в батарее было напряженное, общение, даже по службе, часто оборачивалось общением кремня с кресалом — искры так и сыпались. Нередко объектом раздражения оказывался Володя Михайлов: заварил кашу, а остальные расхлебывай. Сам же он был по-прежнему убедительно спокоен. Ничего нельзя было прочесть в его немигающих желтых глазах, окруженных белыми ресницами; он лишь повторял с механическим упорством, как твердил, должно быть, при расспросах в особняковой палатке: «А хули он портрет товарища Сталина сжег!..» И присовокуплял обычное свое изречение.

Подполковнику Демиденко — по нему было видать — эта неделя тоже не прошла даром: его рыхлое лицо стало серым, осунулось, глаза потускнели и обрели ординарный, невыразительно голубоватый цвет. Надо думать! Списание пришедшей в негодность красной суконной скатерти, которой во время собраний покрывали стол президиума, сопровождалось длинным и сложным ритуалом; каждый слегка попорченный бюст (гипсовые носы, будь они неладны, такая хрупкая штука!) требовал придирчивой экспертизы, а здесь — на тебе! Схватил запечатленный лик вождя, скомкал и в огонь!.. Но это мои домыслы, конечно. Кто «их» там знал, что «они» задумали, какие кому сарафаны шили...

Хуже всех чувствовал себя старшина Костя Кириллов. Он понимал, что сценарий о «провокационном письме» предполагает на главную роль в фильме именно его: Володя Михайлов, тупо повторяющий одно и то же, обретал черты второстепенного персонажа, эдакого дурака, ставшего орудием в руках ловкого лидера. Впрочем, и это — мои домыслы. Но старшину приглашали в палатку к особняку чаще других, едва не каждый день, и по Костиным глазам, по его озабоченному бледному лицу я без труда угадывал, что он постоянно думает о том, что ему говорили и что он говорил на прошедшей беседе, и о том, что могут сказать и что он, соответственно, должен отвечать на беседе предстоящей. На мои вопросительные взгляды он отвечал пожиманием плеч, унылым подмигиванием, мало значащим словечком, он не пересказывал мне содержания бесед, да я и не желал этого — лишние сведения так опасно обременительны, и все же надо бы чуточку знать, чтобы быть готовым, если, наконец, вызовут, спросят... Правда, и здесь житейский опыт подсказывал мне, что вне зависимости от того, нагружен ли я информацией, как караванный верблюд, или пребываю в младенческом неведении, все равно назначенную мне роль сыграю.

Костя, говоря словами классика советской литературы, жил и исполнял свои обязанности. Составлял бесконечные списки, будил нас зычным «Подъем!», бежал с нами на физзарядку, заботился о харче и амуниции, проводил утренние и вечерние поверки, командовал: «Смирно», «Вольно», докладывал приходившим на службу офицерам, расквартированным в прижавшемся к основанию наших сопок небольшом поселке кирпичного завода, что за время их отсутствия никаких происшествий не произошло, — Костя исполнял свои обязанности, но исполнял их, как заводная кукла, я видел, что жил он другим: в этой ладной, стройной, с точными изысканными движениями оболочке сгорал уничтожаемый страхом человек. На исходе недели Костя знаками снова предложил мне уединиться близ выгребной ямы. Удостоверившись, что за частоколом никто не справляет нужду, он, глядя мимо меня на раскинувшийся вдали белый простор, проговорил тихо и рассудительно: «Вся эта история, наверно, худо кончится. Я погиб, понимаешь...» Я хотел возразить, но он, опережая меня, коснулся моей руки длинными белыми пальцами: «Подожди. Понимаешь, не могу больше. Иначе я им признаюсь. Я тебе такую вещь скажу, которую ни одна живая душа в мире не знает...» Он схватил воздуху и прибавил: «Пока не знает...» Мне сделалось страшно. Я молчал и ждал, стараясь заглянуть в большие Костины глаза с сильно расширенными зрачками. Но он смотрел мимо, на засыпанную снегом, уснувшую тундру. Он опять схватил воздуху — и решился: «Понимаешь: я — немец». Это было так неожиданно неправдоподобно, а я был так напряжен, что расхохотался. «Шпион?» «Да подожди ты! — он схватил меня за отвороты бушлата и сильно потянул, заставляя слушать. — Я немец. Настоящий немец. Немец...»

Костина тайна, как он мне открыл ее тогда, была такая. В первые дни войны его семью, вместе с другими семьями издавна поселившихся в России обрусевших немцев, погрузили в эшелон для отправки на Восток: в лагеря, в ссылку, на поселение — никто не знал. Костя, советский юноша, комсомолец, не пожелал с этим смириться. Ночью, на какой-то станции ему чудом удалось неприметно ускользнуть из теплушки, рядом на путях оказался состав с отправлявшимся на фронт танковым полком. Костя сочинил жалобно-правдоподобную историю (сколько мальчиков со всякого рода историями приблудилось к ехавшим убивать и умирать частям в минувшую войну) и уговорил танкистов взять его с собой. Он назвался Кирилловым (кажется, и Костей тоже, взамен настоя-

щего имени), отвоевал все четыре года и, поскольку возвращаться было некуда, остался на сверхсрочной. Теперь Костя был уверен: когда историю с сожженным портретом и письмом начнут распутывать по-настоящему, то без труда докопаются, конечно, и до его тайны.

Весь рассказ занял несколько минут, подробностей Костя не сообщал, я не спрашивал. Я испытывал потрясение. Совсем недавно окончившаяся война («священная война», «ярость благородная»). Образ немца, привычно, вне доводов разума, тождественный образу врага, что бы там ни говорили про гитлеров, которые приходят и уходят, и про народ немецкий, который остается («сколько раз увидишь его, столько раз его и убей» – всеми заученные стихи). Ошарашивающая неожиданность того, что немцем оказался мой товарищ, с которым я делил хлеб и кров, которого подчас брал себе в пример. Но вместе жившее во мне (и, конечно, утаиваемое) неприятие сталинской политики преследования и гонения целых народов, объявленных «неправедными». Более, чем когда-либо, осознанное уважение к Косте, которое я почувствовал, услышав его рассказ. Вдруг всплывшие из глубин памяти лица мальчиков Фридриха и Грегора, – это были мальчики из моего детства, в нашем доме жило несколько семей немецких «спецов», работавших в Союзе (в детской картине мира, мною некогда нарисованной, они стояли рядом с «Губертом в стране чудес» и Карлом Бруннером, юными антифашистами, героями любимых тогдашних пионерских книг и кинофильмов). Но это лишь первая причина потрясения. Вторая – и, не скрою, более ощутимая, – понимание того, что я оказываюсь отныне хранителем опасной, совершенно ненужной мне тайны, которая раньше или позже может быть разведана, и обречен таким образом жить с заряженной бомбой в кармане. Была и третья причина – я не мог не думать об этом, хотя ненавидел себя за то, что такие мысли приходят мне в голову: все, что я только что услышал, неправда, предательская уловка, – запуганному вконец Косте приказали там, в особняковой палатке, довести весь этот бред до моего сведения, а теперь ждут, приду я сообщить или смолчу, – вот такую роль и придумали для меня в этом кино. Хребет души у людей моего поколения был изломан страхом. Мы подозревали в других палачей, а иные в самом деле оказывались палачами, потому что заведомо чувствовали себя жертвами.

Костина история была, пожалуй, слишком невероятной, чтобы предположить в ней выдумку, но в тот момент мне было не до предположений: страх толкал меня к прямолинейным выводам. «Ты мне ничего не сказал, я ничего не слышал», – улыбаясь, произнес я дурацкую ходовую фразу того времени. Но Костя так сник, так непривычно ссутулился, что я взял его за плечи, слегка притянул к себе и попросил, чтобы он «этого», Бога ради, никому больше не рассказывал. Он вздохнул, уныло кивнул головой, и я понял, что «они» его сломают – расскажет. И (тотчас шепнул мне страх) расскажет, что мне рассказал. Я, по обыкновению, утешил себя тем, что, если понадобится, мне и без Костиных баек слепят какое угодно дело: утешало также, что на этот раз свидетелей нашего с Костей разговора действительно не имелось. Вечером, когда Костя надолго пропал куда-то, я все ждал, что сейчас вызовут и меня, устроят очную ставку, Костя будет в подробностях напоминать мне все, что я нынче от него слышал, а мне ничего не останется, как упорно твердить, что все это я слышу впервые. От ожидания на душе было паскудно, и еще паскуднее, что ждал этого...

Меня не вызвали, а назавтра, после обеда, каким-то образом сделалось известно, что расследователи отбыли из части. Мне неведомо, как был дописан сценарий и был ли дописан; похоже, кому-то показалось невыгодным

давать делу ход. Не знаю, получил ли какое-нибудь взыскание подполковник Демиденко; для старшины Кириллова и ефрейтора Михайлова история обошлась без последствий. Жизнь богаче в решениях, чем литература: потянись я к литературе вместо того, чтобы излагать события бесстрастным пером летописца, художественная правда, без сомнения, привела бы мое сочинение к трагическому финалу. Косте бы, скорей всего, не поздоровилось, да и мне тоже, глядишь, и Володя Михайлов не выпутался бы, как он ни придуряйся, впрочем, возможно, именно он мог оказаться в выигрыше, усердие его было бы вознаграждено, даже в сержанты бы произвели. Не убежден, что сюжет оказался бы вполне милостив к замполиту Демиденко: в самом деле, нельзя же так безответственно (а покопаешься, — может быть, и преступно) обходиться с портретом любимого вождя!..

Неделю-другую никому не верилось, что история уже позади, что ее участники и все, поневоле имевшие к ней касательство, оставались в напряжении, то и дело заговаривали о случившемся, по секрету пугали друг друга слухами, что Володю Михайлова беспременно посадят, старшину тоже, командира батареи Чернышева разжалуют, а остальных раскассируют по разным частям. Но вот в одно прекрасное утро в расположении батареи появился подполковник Демиденко с ярко синевшими среди снегов глазами и как ни в чем ни бывало спросил что-то у вытянувшегося, как взлетевшего с докладом Кости, и одернул дневалившего как нарочно Володю Михайлова за то, что привалился к бочке с питьевой водой: «Разве в своем доме, вы, ефрейтор Михайлов...» (Название деревни опустил...) У всех от сердца отлегло...

Тут как раз подоспела очередная Октябрьская годовщина. На торжественном построении замполит произнес вдохновляющую, призывающую и окрыляющую речь. Офицеры ушли праздновать вниз, в поселок. Солдаты и сержанты, кому выпала очередь, отправились туда же в увольнение и разбрелись по клетушкам бараков кирпичного завода. Мы, оставшиеся в сопках, вернулись с построения в свои палатки. Все быстро успели выпить втихаря, из-под брезента раздавались более громкие, чем следовало, голоса, смех. Дима Андреев бренчал на балалайке и пел свои нескладухи. Володя Михайлов стоял у крайней палатки и, не мигая, смотрел на рассыпанные у подножия сопок серые коробочки заводских бараков. «Ну, бля, раз в год даже палка стреляет», — произнес он вслух и, придерживаясь за кусты, начал спускаться по скользкой тропинке: ясное дело — в самоволку («Где начинаются БТиМВ, там кончается порядок», — скажет завтра подполковник Демиденко).

Мы с Костей Кирилловым гуляли у него в палатке. На днях старшина ездил по служебным делам в город Н. и привез наш с ним любимый ликер «Полярный» — на черной этикетке серебряный белый медведь и над ним серебряные же, разбегающиеся веером лучи северного сияния. Я сидел напротив Кости, смотрел на его разрумянившееся красивое лицо, в серые с яркими зрачками глаза: немец или не немец? Очень хочется верить, что Костя сказал тогда правду. На груди у Кости, на суконной парадной гимнастерке орден Красной Звезды и медаль «За взятие Берлина». Костя достает из-под стола наполовину уже выпитую нами бутылку, разливает по стаканам тягучую янтарную жидкость. «Помнишь, что я говорил тебе тогда?» — спрашивает он. Я слегка киваю и смотрю на него с надеждой. «Забудь!»

И я забыл...



Франц ГЕРМАН
Дрезден

Исповеди просит душа, исповеди...

ДВОРЕЦ

Я подарю тебе когда-нибудь дворец
С бассейном, переполненным любовью,
С садами из раскрывшихся сердец
И счастьем в виде звёзд над головою.

Чтоб ты жила в нём со своей собакой
С детьми, с любовью, с вечностью на равных,
Без страха перед будущей утратой,
Без слёз, неудержимых и незванных.

И чтоб весной, когда приходит жизнь,
И на душе становится просторней,
Весь твой дворец пронизывала б синь.
Сошедшая с небес моих ладоней.

* * *

Когда настанет святое время
И Бог сойдёт,
Он спросит всех за наше бремя
И всех спасёт.

Предстанет каждый перед ним,
Раскрывши душу,
И будет суд неотвратим –
Он нужен.

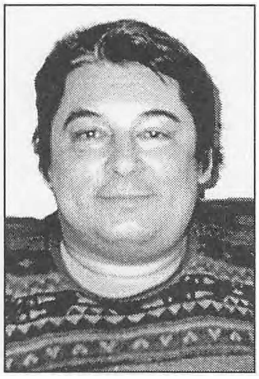
Но, может быть, и этот час
Для искупленья
Положен каждому из нас,
Как провиденье.

Ведь как за всех нас на кресте
Страдал Мессия,
Теперь распята на Земле
Россия.

* * *

Исповеди. Просит душа исповеди.
Исповедаться где?
В захудалой, забытой церквушке?
Исповедаться где?
Может, рядом с женой, на подушке?
Может быть, написать дневники,
Душу выложить в буквы и строчки,
Влиться в чувственные родники,
Только исповедь – будут точки.
Может, выпить бутылку вина,
Сесть на лавочке с пьяным прохожим,
Всё равно он наверняка
Завтра вспомнить всего не сможет.
Может, выйти на площадь и крикнуть:
«Люди, слушайте, я скажу Вам тайну.
Кто желает бесплатно проникнуть
В мою душу совсем случайно».
Остановятся два зеваки,
Кто-то будет звонить в 03,
В ожидании будущей драки
Соберутся в кружок патрули.

И как будто конец, и весь в красном палач.
Перед взором всю жизнь проведи.
А душа, хоть напейся и плачь,
Просит исповеди.



Игорь ГЕРГЕНРЕДЕР

Берлин

Лосёвый чудь

ПО МОТИВАМ РУССКОГО ДЕРЕВЕНСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Места эти звались Высокая Травка. Здесь было оренбургское казачество. Едешь четыре дня до Уральских отрогов, а травы с обеих сторон колеи двумя стенами так и клонятся на телегу. Высотой до конской холки.

Через нашу местность бухарские купцы проезжали на Казань. Летние дни разморят, от травяного духа человек пьян; кругом птички паруются. Купец в телегу положит под себя всего мягкого, его истома и пронимает. Тут озорные девки разведут руками заросли и покажутся голые. Недалеко от дороги у них и шалаш, и квас для весёлого ожидания. Заслышат телегу и бегут крадком наперехватки. На самый стыд лопушок навешен.

Купца и подкинет. «Ай-ай, какой хороший! Скорей иди, барышня!» А она: «Брось шаль!» Посверкает телом, повертится умеючи – и скрылась. Так же и другая, и третья... Купец уж клянёт себя, что не кинул: давай в голос звать. А они опять на виду: груди торчком, коленки играют. «Брось платок! Брось сарафан!»

Он и кинет. Горит человек – что поделать? На одной вещи не остановится. А они подхватывают – и пропали. А он всё надеется улестить... Вот так повыманят приданое.

Но чтобы купец хоть какой раз получил за свой товар – не бывало! Какие ни нахалки, но тут казачки строги. Забава есть забава, но продажность в старину не допускалась в наших местах. Побежит купец вдогон – в травах его парни переймут: «Ты что, хрячина некладеный?!» Стерегли своих казачек.

Бухарцы страшно обижались, что ругают хрячиной. Жаловались начальству: у вас, мол, ездить нельзя, такие оскорбленья терпишь от молодых казаков. «Мы свинину не выносим на дух! А казачки-барышни красивые, хорошие...» И ни слова не скажут про озорство. Всё-таки хотелось купцам, чтобы им девки показывались.

Но, конечно, такое озорство шло не отовсюду, а только от хутора Персики. Вот где снесли деревню Мулановку, там был в старину казачий хутор. Кто-то говорил, что его назвали по прелестям девок. Но вряд ли. Тогда всё выражали гораздо проще.

Выражали грубо, но чего стесняться, если особая красота казачек была: выпуклый зад... Как киргизские кобылы огневые, норовистые, так и те девки были. Умели заиграть хоть кого. Закружат голову и разорят. А вон в станице Донгузской жили казаки-староверы – там ничего подобного. Суровость!

В Персиках веселье было от смешанности. Казаки много женились на калмычках. Около жили башкиры, они делали набеги на Калмыкию, приводили девушек. Те сбегали к казакам, окрестятся и замуж. Так же и красивых башкирок, если замужем за стариком, казаки сманивали. Потому даже русых было мало на хуторе, а светлой – и подавно не найдёшь. Народ чернявый.

Среди него выделялась Наташка: вон как среди грачей чайка. За такую красоту лучше б сразу куда упрятать – чтоб без убийств. Белокурая; коса вот такой толщины! Жила с матерью, та пьющая. У Наташки был Аверьян, но его родители ни в какую, чтобы он на ней женился: голая. А красота – чего на неё глядеть? Наташка собирала себе приданое, дразня бухарцев, но мать всё пропивала.

А за хутором, на берегу реки Салмыш, жил старый персиянин. Для его дома возили отборную сосну из Бузулукского бора, за триста пятьдесят вёрст. Богач был. За какие-то заслуги наградило его царское правительство большими деньгами, и он почему-то угнездился у нас. Начальство его почитало, казаки относились с приглядкой. Уж такой приветливый; говорит как гладит, да медком подмазывает. Непонятный! Кто его знает: что он да как?!

Вот по его детям и назвался хутор. Персики: то есть персиянина приплод, малые персы. Старый-старый, жил тихо, а после вдруг наплодил...

Как вышло? Сперва он углядел Наташу на горячем песочке у Салмыша. Над берегом откос, вот с откоса он затрагивает её. «Подымись ко мне в тень дерева, Наташа! Солнышко попечёт». Тут Аверьян выходит на песок из кустов. У них с Наташкой только что была сердечность. Персиянин как ни в чём: «А, и ты, Аверьяш! как хорошо! Подымитесь для обсуждения».

Взошли; он объясняет. Будет он красить в доме полы, и вот что. Если Наташка и Аверьян – так, как их мать родила – исхитрятся по свежей краске до его спальни дойти и не попачкаться, на постели побыть и тем же путём обратно, он такое приданое даст! Ни у одной девки на хуторе не было!

Аверьян так бы его и зарезал. А персиянин посмеивается: «Я её не коснусь. Вдвоём будете. Идите в обнимку. Хочешь, на руках её неси, не выпускай. Всё останется скрытым: заплот у меня вон какой высокий, без единой щёлки».

Аверьян: «Ты иди к мужичью сули, а я – казак! Мы на всякое такое не продажны».

Персиянин: «Ты характер показываешь потому, что соображения не можешь показать. Как по свежей краске пройти сени, коридор, залу и спальню до середины и не попачкаться?»

Аверьян стал задумываться. Персиянин говорит: «Если попачкаетесь, деньги всё равно дам. Ничего страшного. Только буду иной раз про себя напоминать. Но это безвредно. Может, и к удовольствию». Глядит на Наташку: что скажет? А она: «Я б согласилась, но только, мне кажется, вы будете подсматривать». Аверьян говорит: да! мы не согласны!

Но Наташка тут: «Тебе-то что?! Погуляешь – другую возьмёшь, с приданым! А мне как?» Начинает рыдать. Персиянин успокаивает: зря, мол, Аверьян, так. Всё честно. Тот говорит: сколько денег-то? «Три с половиной тыщи рублей!» Тогда были огромные деньги. Аверьян чуть не присвистнул. А Наташка так его прямо за руку. А персиянин такой с ними обходительный.

Аверьян спрашивает: будешь подглядывать? «Врать не хочу. Может, с саду подойду к окошку, из-за занавески гляну. Но вам это нисколько не заметно; значит, вы про то ничего не знаете. Не интересуйтесь!»

Ладно – Аверьян с Наташкой уходят думать. Он даже отправляется в баню, чтобы паром себя прояснить. Туг и мысль ему: мыло! к мыльной руке сажа-то не липнет.

Идут к персиянину: согласны. Утречко раннее, в саду у персиянина птички поют. Заплот кругом в два человеческих роста. Дорожка к крыльцу речной галечкой посыпана. Никого нет. Персиянин один. Выходит из пристройки: я, говорит, жду, жду... Двери дома настежь; крыльцо, сени и сколько внутрь видно – всё покрашено тёмно-красной краской. Вот как уголь притухает: такой цвет. Прямо рдеют полы.

С собой принесены таз и мыло. Просят персиянина удалиться. Разнагишались, ноги намылили и лёгоньким шажком... Скользко ужасно, но оба ловкие – чего! Таз и мыло несут. А постель разубрана! Как обрадовались, что дошли и краски ни полпятнышка ни на ком. Свадьбу уж видят. Сколько они её ждали – тянет, конечно, друг к дружке.

Ну дали жизни!.. Пупки сплотили, избёнка гостя приняла, гость видного чина – в четверть аршина. Запер дых – разудал жар-пых. Загонял месяц звёздочку, сладка курочке жёрдочка. Оба сгорают совсем. Наташка крики испускает. Оголовок прущий, вытепляй пуще! Персиянин за окном стоял, истоптал каменную плиту. Туфли на нём мягкие, а следы остались.

Эта плита есть и сейчас. Когда Тухачевский в гражданскую войну казаков повывел и стала на месте хутора Персики деревня Мулановка, эту плиту с глубокими следами мягких персидских туфлей сволокли к Салмышу. Бабы на неё клали сполоснутое бельё.

Ну, а тогда Аверьян с Наташкой нарезвились на персиянской перине! Играли, как котята. Выкидывали коленца. Тыквища белобокие то перину мнут, то на Аверьяна прут. Звёздочка от скока прожарена глубоко. Ясный месяц-месяцок далеко кидает сок.

Уморится гость в избёнку встревать, приклонит головку, а Наташка белой ручкой берёт и водит его по приветливой, по радостной туда-сюда. «Гони, миленький, лень, коли хочет приветень!» Да... Звезда около – гляди соколом! Он и взбодрится. Шапка лилова – молодчиком снова.

Ладно – кончили баловство, опять ноги намылили и осторожненько вышли. Только успели накинуть на себя одежду – персиянин. Они ему: гляди ноги. Ни на одном ноготке краски твоей нет!

Посмеивается. Отсчитал три с половиной тыщи ассигнациями. Аверьян скинул рубаху, завернули в неё пачки денег. А время уж к полудню. И как хорошо-то всё вокруг, красиво! С радости куда? На сеновал за Наташкиным конопляником. Казацкая молодёжь горячая.

Наташка говорит: «Аверюшка, а я не знала, сладенький, какой ты у меня ещё и умненький!» А он: «Я боялся, ты поскользнёшься, но ты на скользком крепка!» И так они друг дружку хвалят, на сене милуются. Он ей косу расплетает, а она: «Аверюшка, как мы его! Ой, обхохочусь вусмерть!»

Вдруг: что такое? И оба заморгали. У него на пальцах – красное, липкое. Ах, мать честная! На конце косы – краска. Наташкина коса-то белокурая ниже колен длиной. Когда на постели кувыркали друг дружку, коса летала себе туда-сюда и мазнула по полу.

Веселье с них как рукой кто смахнул. Аверьян успокаивает: не бойся, ничего не будет! Деньги – вон; целы. Воды нагреть да с щёлоком – всё смоет! Сколько тут краски?! А Наташка глядит по-другому: «Аверька, ты невер! А я чувствую...»

«Да чего это ты чувствуешь?»

«Что приходит, то я и чувствую!»

Аверьян вгорячах: и не надо, мол, воду греть. Пока греть – ты в болезнь умаешься со своим страхом и чувством. Взять овечьи ножницы, отрезать конец косы! Наташка как зыркнет на него: нет, нам не отвязаться... Он смотрит: ну, меняется девка! Нехорошо у неё в глазах.

Всё-таки сходили за ножницами, отмахнули у косы замаранный конец. Наташка требует: это надо сбыть персиянину. Отнести тишком, закинуть ему через заплот... Пошли задами, по назьмам, чтобы не привлекать любопытства. День за середину, жар палит. Аверьян так бы и потряс за грудь персиянина.

Наташка под ноги показывает: гляди, трава сабина. Пожуй — томно не будет.

Аверьян на неё: «Она же отрава!» А Наташка: «Чего нам теперь отрава-то? Попробуй маненько». Тут слепого дождя пролило. Аверьяна взяла какая-то слабость. Наташка его приклоняет: он мокрые листья пососал, стебли. Забылся.

Очухался у персиянина под заплотом. Наташки нет. Но птичек кругом — стаи. Щебечут, скачут; всем хорошо, Аверьяну — непонятно! Обежал усадьбу: в заплоте нигде ни щёлочки. Ну, изловчился — перелез.

Окно дома в сад открыто. Узнаёт Наташкин смех. Заглянул: Наташка — ни лопушка на ней — с персиянином на кровати. Но полы не красные, а тёмно-синие. Такого цвета бывал раньше бархат. А нахальство творится! Наташка прилегла на персиянина, кончиком косы щекочет ему под носом. Тот её похлопывает, поглаживает по заду, по спелым тыквам белобоким; а пальцы-то в перстнях, камушки — цены нет.

Запрыгнул в окно. Девушка визжать. Персиянин скатил её на постель, подходит. Он только до пояса раздетый, на поясе кинжал: рукоятка сама на Аверьяна глядит.

Персиянин говорит: «Ты, пожалуйста, не злись! — показывает на свою бородёнку, на усы. — Видишь, какие седые. Я ей ничего плохого не сделаю. Вас обоих ещё не было на этом свете, а она мне уже снилась вот такая — белокурая барышня, коса толстая, стан тонкий и большой очень белый зад. Тугой, крепкий, очень хороший! У нас в Персии если мужчина такое увидит и не получит — умрёт! А если получит, то так любит — тоже умрёт».

Прямо перед Аверьяном стоит, объясняет. Рукоятка кинжала сама в руку просится. «Ну так умри!» — Аверьян кинжал хап! И тут ему вроде какой голос велит: «Не коли! Не коли — брось!» А персиянин не шелохнулся, посмеивается. Аверьян ему под нижнее ребро и ткнул кинжалом.

И тут как гроханёт! Огонь, гром. Как огненный горох посыпался. И — темно. Очнулся в траве сабине, у которой давеча листья сосал. Наташка толкает в плечо, за волосы треплет: «Ты чего заснул, как пьяный некрут! К твоим отцу-матери пора идти — деньги показать».

Он её за ноги: я тебе другое покажу! Персиянин твой не поможет! Она очень легко вырвалась — такая в ней сила. Дурак ты, говорит, вон гляди... А дом персиянина так и полыхает. И никто тушить не бежит. К персиянину шли с Наташкой днём, а теперь уж темно. Аверьян оглядывается кругом и ничего не поймёт. Одни сомнения. А пожар какой! Что сделалось-то?

А Наташка: да мне, чай, не всё равно? У тебя есть интерес жениться — так идём. А он стоит, не знает, как всё понять. Впору опять в траву лечь. Тут ветром дунуло — принесло уголёк. Упал под ноги, соломинку пережёг. Наташка кричит: «Ой, ожглась! Бежим скорей!» Сама отстала, половинки от соломинки подняла. Он это заметил, но не смог ничего сказать. Растерялся человек.

Вот его мать с отцом увидели пачки денег, три с половиной тыщи ассигнациями: женись! Сразу Наташка стала хорошая. И красоту вспомнили. Такой, мол, красавицы во всей местности нету!

А пожар следствие разобрало: трупа нет. Значит, хозяин уехал, а дом сам поджёг. По каким-таким мыслям — начальство будет дальше разбирать. Может, дело государственное... Конечно, было подозрение на Аверьяна: что он персиянина ограбил и куда-то задевал. Откуда вдруг у Наташки такие деньги?

Но какой-то бухарский купец богатый обратился к войсковому атаману. Я, мол, через хутор Персики езжу, барышня Наташа мне понравилась. Я дал ей приданое... Особо никто не удивился. Бывало, эти бухарцы из-за девок на тыщи рублей раскидывали товаров с воза.

Ну, после яблочного* поста – свадьба. Баранов жарят. Гостей собралось несметно: такое приданое огромное... Наташку наряжают. И тут сообщение – мимо хутора будет проходить войско. Возвращается из Персии с войны. Везут тяжело раненного генерала. У него последнее желание: если где поблизости свадьба, чтобы невеста к нему подоспела, вложила пальцы в его раны.

Аверьян против. Пусть, мол, по другим хуторам проедут – сейчас свадьбы кругом... Но от генерала опять скачут. Ему, оказывается, уже рассказали, какая невеста, и он хочет, чтобы именно Наташу ему привезли. Аверьян не соглашается. А посыльные казакам говорят: генерал даёт хутору десять тыш рублей. Лишь бы только Наташка явилась к умирающему в шатёр. И за то вам – десять тыщ!

Этих денег как раз хватит, чтобы купить за Салмышом луга у башкир. У казаков стадо было огромное, а сколько овец! А табуны! Луга очень нужны. Ну, Аверьяна прижали. А ты, мол, как, Наташа: облегчишь гибнущему генералу мученья? Наташка: я, чай, не каменная!

Приезжают в стан. От шатра всех отвели на сорок шагов, Наташка одна входит. Аверьян стоит, злится. Так ему это всё не нравится! А из шатра вроде как смех. Казаков отпихнул и бегом в шатёр.

Там тёмненько. Но разглядел впотьмах, что Наташка с голыми грудями прилегла на генерала, и обоим весело. Аверьяну не дали кинуться, руки крутят ему, а генерал просит: «Ты, пожалуйста, не злись. Подойди глянь, какая рана у меня под ребром... Но я за неё ничего плохого не делаю».

Аверьян: а... Так и знал!

«А чего она не пальцы влагает?» Генерал поясняет: это говорится – пальцы. А влагаются в раны сосцы, дающие жизнь. Имел бы такие ранения, понимал бы про сосцы. Тугие, поспелые. Каждая девушка это чувствует и, если жалостливая, никогда палец в рану не тыкнет. Дай мне получить жалость для последних дней жизни.

Аверьяна вывели, а он беснуется. На невесте – бесчестье! Казаки: что? какое бесчестье? Человек с войны, лежмя лежит... Молодой ты, а уж без стыда. Поедем завтра луга покупать – успокоишься.

Но он на своём: на мне поругание из-за вас! Обида не даёт стерпеть! Казаки тогда: ну, чтоб обида дала, сейчас обсудим. Значит, Аверька говорит, он потерпел ущерб, что Наташка лечила генералу раны. А у нас Фенечка кучерявая сколько мужа с войны-то ждёт? Шестнадцати годов вышла и пятый уже ждёт. Сердцето уж – рана. Ходи, Аверька, к Фенечке – лечи рану. На общество не обижайся.

А Фенечка – такая завлекательная казачка! Всем возьмёт, как и Наташка. Только что волос чёрный, и смуглая; ноги тоже волосом поросшие кучерявеньким. Такие-то бабы непросты – особенно с мужским полом. Гладкая кобылка, скакунчик.

Ладно – уговорился Аверьян с господами казаками. Но идёт к знахарке. На хуторе жила старуха-чувашка; слова знала, травы. Колдунья. Аверьян к ней с подарком, с денежкой – и рассказал всё-всё; как опутал их персиянин и как дальше было... Генерал-то – это он. Что ещё учудит?

Старуха ведёт в подызбицу. Пошептала в углы, козьим помётом посорила; берёт из клетки крысу. Завязала ей лапки, кладёт перед котом. Кот старый, головастый такой. Походил вокруг крысы, помочился на неё. Есть не стал. Пометил. Старуха берёт ручного скворца, в другую руку крысу – и в погреб. Покричала там: вроде будила кого и выспрашивала...

Вылазит: руки в крови, пёрышки налипли. Держит жабу. Посадила на то

*Успенский пост с 14(1) августа по 27(14) августа. В пост едят яблоки. (Прим. автора).

место, где лежала крыса. Жаба сидит. Старуха ей кричит: «Ертэн! Ертэн! Дай сказать – не сердись!» И рассказывает. Персиянин – колдун огромной силы. Но другие колдуны сговорились и всё ж таки с ним совладали. Силу его завязали, а съесть не смогли. Прогнали его. Он в наших местах и угнездился.

А Наташка с Аверьяном его развязали. «Он вам свой хитрость, вы ему свой хитрость – связался узел один! Ой плохо!» – Старуха объясняет: как Аверьян удумал хитрость с мылом-то, тем и привязался к путам, какими был завязан колдун. А как Наташкину косу ножницами овечьими резанули, узел и перерезали – и путы спали с колдуна.

«Ой, Аверька, трудно будет! Очень хочет он Наташка твой!» Велит почаще с Наташкой в бане париться, обкладывать её на банном полке пареным сеном. Будет от нетерпенья Аверьяна почаще знать, а о том, глядишь, думать некогда...

А по хутору уже разносится: показывается персиянин и в сумерки, и перед рассветом. Сманивает девок. Гуляют девки с парнями – вдруг из дикого малинника, из-за стогов как запоёт кто-то. Голос чистый до чего, приятный. Так и заволнует. Глядь: одна девка побегла в дикий малинник или за стога, другая... Вот тогда и пошли дети-то персиянина: персики самые.

Родители уж не больно стали девок от парней беречь. Для персиянина, что ль? «Ладно – уж гуляй попоздней, только на поющий голос не ходи!»

Аверьян ходил ночами: может, услышит голос? Встречи ему охота. Живут с Наташкой, в бане часто парятся, он её пареным сеном обкладывает, она с ним ладит – но в душу не допускает. Отвлечена! За любовь не похвалит, за ласку-то; не возьмёт теплюшу ручкой – по сосцам поводить, посластить их. Ну, он к Фенечке. А уж та к нему ластится! На кровать оладьи с мёдом подаёт; только что молоком не умывает. Но томно ему. Уверен, что исхитряется Наташка погуливать с персиянином.

Приходит опять к колдунье. Она его заставила возле козла посидеть, чтоб козлиным духом голову прочистило. Велит почаще у Фенечки бывать. Он объясняет: когда, мол, я у Фенечки, то вдруг чую – вся птица и весь скот на хуторе как взволнуются! Поветрие какое-то идёт, в дрожь бросает. И кажется, Наташка уже в том сарае своём за конопляником, где мы ей косу резали. В сарае с ним! Как бы сделать, чтобы она от него ко мне бегом прибегла? Чтоб стала его презирать, чтобы плюнула на него, а ко мне бы стремилась? Как мне его силу себе забрать?

Старуха говорит: «Ой-ой, как трудно будет! Не боишься?» – «Ничего не боюсь! Вот что хочешь отрежь мне!» – «Зачем резать? Деньги большие возьму...» – И приносит травяной настой.

Аверьян деньги даёт, не жалеет, а она ему: как, мол, снова накатит, ты попроси Фенечку не мешать и – в чём был – на лавку сядь. Выпей из этой бутылочки глоток, надень на голову ведро, сиди... Наташка будет к тебе вызвана. Сначала почуешь её не в телесном виде. А после и сама, настоящая, прибежит. Гляди только, чтобы тогда с Фенечкой не поубивали друг дружку...

Ладно – теперь он к Фенечке за двумя делами идёт. Бутылка с собой старухина. Прежде чем любиться, он её на поставец у кровати поставил...

Вот за полночь. И вроде как птица и скотина со всего хутора на волю вышли. Кажется ему: бегут, летят к сараю Наташкиной матери. А может, то девки, бабы обернулись? К персиянину на гулянку-то невтерпёж... Вскочил с кровати, хочет из бутылки глотнуть, а Фенечка ему стаканчик: «Налей сюда. Там уж сладкая наливочка – от моей бабушки хранится. Хорошо подкрепит тебя. А я уйду на печку, не помешаю».

«Хорошая ты! Уж, пожалуйста, не мешай».

Выпил старухиного настою с наливкой Фенечки: его повело всего, закружило. До лавки чуть дошёл нагишом-то, ведро с головы раза три ронял.

Ну, сидит, а самого разбирает. Так палит всего! Ведро на голову надето, а Наташку отчётливо видит. Сперва, правда, только лицо. То злое было, отворачивалось, кому-то другому глазками этак делало... а тут оборачивается к нему. Губы раскатались, ноздри от нетерпенья так воздух и тянут, а глаза — во! — как у кошки! И тело проявилось. Уж ему Наташкиного тела не знать. Где надо, толсто — а как кругло! а стан тонок! И всё ходит ходуном. Сосцы — как рожки у козочки.

Колышется телом и к нему. На колени к нему. Как проймёт их обоих дрожь! Ах, мать честная, — затрясло, заёрзалось. Забыла персиянина. Презирает! Пошипливает Аверьяна, льнёт, обнимает, голосу волю дала.

А уж он-то! Уж так её на коленях услащает. Запрёт кутак-задвигун избёнку и отопрёт тут же, и опять, и опять — разудала стать! Избёнка качнётся, сама на гостя наезжает, берёт к себе. Заходи, теплюша, вкусного покушай! Тесно ему, стенки гнутся, да не треснут. Аверьян, голова в ведре, уж как за гостенька рад! Хозяюшку избёнки холит на руках: ёрзай раскатисто, на кутак ухватиста. Рукам — приятность, гостю — вкуснота, рту — маята: расстегайчик наливий мнится. Не ведро — укусил бы.

Ну, перебыли они. Скинул ведро, а с ним — Фенечка. Прижалась, сидит в обхват.

«Что такое — так тебя растак... разъядри твою малину!»

«Да ты ж меня звал!» — «Тебя?» — «Вот мне помереть, вот так сидючи! Так звал, молил — не совладала с собой. Жалко!»

А он невесёлый! А она: «Уж нам ли, Аверюшка, не хорошо?» — «Хорошо, да им-то хорошее! Не стерплю, чтобы чья-то сила лучше моей была!»

Накинул на себя одёжку и бегом к тому сараю — Наташкиной матери. Вбегает, а оттуда птичья буря на него. Крыльями лупят, когтями ранят: вымётываются в двери. Гомон — ужас... Кое-как отбился, глядит, а в сарае только какой-то гусак и гусыня остались. В сене порылся — никого.

Приходит домой, а Наташка сонная, злая. «Гуляешь, — сквозь зубы цедит, — сволочь! От тебя бабой разит — уйди от меня!» А чего он ей скажет? Но к утру опять ей не верит.

Идёт к колдунье. Рассказал всё, просит: давай доведём до конца. Как снова накатит, надо, чтобы она была от него ко мне вызвана. Был бы он по природе меня сильней и лучше — а то благодаря колдовству, мошенству! Не выношу, чтобы его сила над моей была.

Старуха говорит: будет больших денег стоить. «На, бери!» Она дополнительно над бутылкой с настоем пошептала и даёт ему шапочку сурчиного меха. Шёрстка шелковистая наружу. Чтоб не мешали, говорит, запрись в бане. Выпей настоя глоток, глаза махоткой завяжи, шапочку положи посреди бани. Сиди, жди жара. После иди: иши по бане руками. Шапочка встретится на уровне твоего пупа, а под шапочкой будет сидеть Наташка.

Ну что... Вот опять он у Фенечки. Только за полночь — взволновало его. Вроде снова птица, скотина летит, бежит к тому сараю... Вскакивает с кровати, а Фенечка как знает: «Идём, миленький, в баню — с вечера не остыла ещё. Запрёшься и делай, чего тебе охота».

Ведёт в баню, у него бутылка в руке. В бане ему стаканчик: «Налей сюда. Там уж капли весёлые — от моей бабушки хранятся. Хорошо желаться будет тебе». Выпил настою с каплями — его и закачало. А Фенечка махотку смочила, завязала ему глаза поплотней. «Ухожу я, не помешаю. Запирайся!» Довела до двери его.

Накинул крючок, из предбанника-то наощупки еле-еле в баню вернулся, положил шапочку на пол. Ноги не стоят. Нащупал лавку, ждёт сидит... жар по всем жилам потёк. И вроде как Наташкина спина проявилась... ноги... а лицом всё не оборачивается. Его так и подмывает кинуться. «Ты, – шепчет, – шапочку надень! Шапочку...»

И к ней – хочет Наташку за плечи взять. Ничего нет. Ниже руки – ничего. А как на уровень своего пупа снизил, наткнулся на голое. «Шапочка где? Шёрстка шелковистая?!» – ищет её голову, а она её прячет: клонит, клонит... этак перегнулась пополам. Он наощупь-то к её голове тянется до полу – чуть не упал; опёрся на неё. И тут шапочка под руками... Ищет под шапкой роток, охочий зевок. Нашёл – его словно током как шибанёт! Аж зарычал. Сомкнулись – у обоих заперло дых.

Кинуло в толканье-то. Такую силу свою почувствовал. Ну, персиянин, плевать на тебя! Сама радость наяривает. Не вмещает избёнка гостя, хозяйка в крик: «Ох, ты, родина-отчизна! Укатала туговизна!» Гость избёнку так-сяк, наперекосяк, а ей удовольствие. Как ни туг навершник у палицы – ничего приветени не станется! Запирай, кутак, потуже – не такого гостя сдюжу!

Сделалось; махотку сорвал – Фенечка. Распрямилась, к нему обернулась, носиком, губёшками об грудь трётся: «Уж как меня звал, молил! Дверь отпер, кричишь – бегом прибегла. Боялась, застудишься... Уж нам ли не хорошо?»

А она его в предбаннике давеча к окошку подвела: это он ставень на крючок запер.

«Хорошо! Это тебе пока хорошо, – рычит, – когда он тебя ещё не повлёк! А то тоже к нему бегала б, небось. Не-е, доколь я в этом деле не пересилю, не будет мне хорошего!»

Бежит к тому сараю. Уж так ему кажется: они там. А оттуда – козы, овцы. Свалили с ног, по нему бегут. Сколько их пробегло! Кое-как поднялся. А в сарае барашек и овечка остались. Всё сено перерыл – никого нет.

А Наташка дома зла! И горячая вся, как со сна: никуда вроде не выходила. Костерит его: «Сволочь! И правда гулять буду. С начальством буду!..» Но к утру у него опять к ней веры нет.

Денег не так-то уж и осталось, но берёт двести пятьдесят рублей и к старухе. Рассказывает – убивается перед ней. Ну скажи ты – как дело срывается! Что хочешь, но устрой мне преимущество у него отнять.

Старуха повела его в омшаник, мёртвых пчёл на голову посыпала, пошептала всяко. После чем-то пахучим побрызгала на него – опять с приговоркой. И даёт верёвочку: на один конец воск налеплен, другой завязан петелькой. «Через твою боль, – старуха говорит, – будем действовать. Стерпишь?» – «Стерплю!»

Ну вот, опять, дескать, надо запереться в бане. Восковой конец верёвочки к стенке прилепить: петелька пусть свешивается. Глоток настою выпить, глаза завязать и на лавку сесть, но – высунув язык. Как Наташка в баню призовётся, она наперво – верёвочку искать. Найдёт, петельку тебе на язык накинет, туго затянет и ну тянуть! Терпи из всей мочи. Кажется, уж язык перерезан, оторвётся: всё одно – выноси боль. Намучает-де тебя, намучает: стерпишь до конца – и уж тут она твоя совсем. Плевать на персиянина захочет, смех над ним.

Ладно – но, придя к Фенечке, прилаживает в бане засов. Вот полночь проходит, и снова этак сильно взволновало его. Всё то же кажется. То ли вправду вся птица, скотина с ума посходила, несётся к сараю тому. То ли девки с бабами обернулись для озорства с персиянином.

У Фенечки и в этот раз баня в аккурат вечером истоплена. Верёвочку к стене прилепил, говорит: «Ты, Фенечка, пожалуйста, не обижайся, но из

твоего стакашка пить не буду». – «Как тебе хочется, миленький. Но как выпьешь – вот эту изюминку в рот положи. Если будет трудность, лёгонькой покажется».

Сам Фенечку из бани выпустил, на засов заперся. Волнуется – стеснение в груди. Всё скинул с себя, а не легче. Глотнул из бутылки, изюминку в рот; завязал глаза, сидит – язык высунут. И тут этак-то приятно запело в ушах; жар, колотьё по телу. И такая накатила охота – ну страсть!

Вроде шорох вблизи... ага! Наташка вертуном вертится, дразнит. Верёвочку от стены отлепила, петелькой перед пупом своим помахивает. И приспускает, приспускает. Раз – и накинула! Он думает: это только кажется, что не на язык, а накинула-то на язык... Но нет петельки на языке. Ну, думает, мать честная, эх, и боль будет сейчас!

А она на верёвочке и повела за собой. Поводила по бане, поводила – и давай мучить. Схватить её, подломить – а, нет! «Не обжулишь», – думает. Мычит, стонет, а руки за спиной удерживает. «Вот она, боль-то какая имелась в виду – но стерплю до конца, сам не прикоснусь. Вправду будешь моя совсем. Наплюёшь на персиянина».

И наступала же она на него, напирала! Петельку распустила, льнёт; ухватистость плотна, наделась звёздочка месяцу на рог. Аверьян тыквушки ладонями приголубил, поддерживает; они откачнутся да наедут елком на оглобельку – размахалась! Разгон чаше – патока слаще. Этак тешатся, стоят, гололобого доят. Гость из избёнки – изба за ним, он в обратную – стенки гнёт.

От гостеприимства Аверьян рыком рычит, а уж она!.. Коровы размычались в хлеву, думают: быка в бане душат, что ли? Но вот смешочки пошли. Над персиянином смеётся! А как же, мол, до конца протерпел – не докоснулся до неё пальцем, пока сама не посадила курочку на сук. Справилось колдовство. Как кончилось хорошо!

Развязал глаза – что ты будешь делать? Фенечка. Взяла в кольцо, на носке стоит. Он давеча дверь на засов запер, а ставень – нет. Она в предбанник и влезь... «Уж как ты меня кричал! Ровно как ребёнка волк схватил и несёт. Сердце кровушкой залилось. Как не прийти?»

Он её обзывать. Столько денег переплатил, а всё ты! всё ты! Как будто мы и так не можем. Бегаю дураком – хорошо, те гусыня с гусём, овца с барашком смеяться не могут... Ой! Его и осени! «А-а, пень-распупень, непечёна печень! Наташка это с ним – гусыня с гусём, овечка с барашком! Они! Они...»

И в избу. Хвать нож и к тому сараю... Подбегает, а от сарая – тени, тени гуртом. Заглянул: пусто. И в сене никого не находит. А за стеной есть кто-то; озорство, причмоки. Наташкин голос узнаёт.

Крадком из сарая и вокруг, вокруг; в руке – ножик. А там, за сараем-то, – лосиха и лось. Она то голову ему на загорбок кладёт, то носом в шею ткнётся. А он боком потирается об неё. Громадный лось, рога – во такие!

Аверьян притих под стенкой. Было б ружьё... Или хотя б нож длинный, а этот, в руке: свинью не заколешь, только баранов резать... Да и то правда – и ружьё не годно против колдовства. Не в оружии дело тут. «Ишь, – думает, – чем берёт! Был бы ты по природе сильный, как лось, а то... Не стерплю!»

И не может окоротить себя. Такой характер. «Я тебя, старика старого, пырнул, а лося – конечно, побоюсь? Не-е, убей, а в этой силе лучше меня не будь! Может, я её и не отниму, но попытаюсь».

Выкрался из-за сарая, прыг – и ножом ему под заднюю ляжку, в пах. Так по рукоять и засадил... Как лось лягнёт! Гром с пламенем; голова, кажется, раско-

лолась как склянка. На воздух подняло его, и послышалось: «Получи за упорство! Уважаю».

Опомнился в избе у Фенечки. А над ним-то — Фенечка и Наташка. Ухмыляются и друг с дружкой этакие приветливые. Как понять? «Утро, — говорят, — просыпайся, миленький, просыпайся, хорошенький!..» И сметану ему, и баранину с чесноком. Двух кур с ним съели, рыбник с сазаном. Казаки жили богато. Всё было. Телячьи мозги, пряженные с луком, подают... Пируют пир: хихоньки да хаханьки. И — играть-веселиться.

А силища распирает его. Ходит изба ходуном. Дых переведут, перемигнутся — и опять дразнить его. То пляска, а то глаза завяжут ему, с колокольчиком бегают — в жмурку играют.

Но вот охота ему выйти, а не пускают: «Что ты? Нельзя тебе, миленький... справь нужду в ушат...» Не поймёт он такого угождения. А они отвлекают на озорство, он и отдаётся. Чует только — на голове что-то мешает.

На другой лишь день поглядел на себя в зеркало. Ах ты, уха из уха: голова наподобие лосиной! И рога, и загорбок, и шерсть. Сперва-то на радостях да с бабьей вознёй взгляд на себя был замутнённый: и шерсти даже не замечал. А тут вот она — по всему телу, особенно по спине. Но тело в основном прежнее, человечье. Ступня интересная: пятка человечья, а вместо пальцев — копыто раздвоенное.

Ну, конечно, нельзя стало ему на хуторе быть. Ушёл в Нетулкаевский лес: он тогда рос почти что до наших мест. Наташка с Фенечкой ходили к нему.

После и другие бабы стали, за ними — девки. И сам он набегает из леса. Начнёт на поле с кем озоровать — наутро стога раскиданы стоят.

Или перед зарёй станет купаться в Салмыше. Рыбаки думают: кто-то свой. «Не пугай рыбу, мужик!» А из воды вот этакая башка с рогами — ноги и отнимутся.

А то в шалаше пастушьем заснёт. Пастух туда нырк: и — ай, сваты-светы! разопри тебя дрожжи! На неделю онемеет. Чудо так чудо. Так и стали звать: Лосёвый Чудь... А то, говорят, народ интересный жил на Урале: лесная чудь и горная чудь. Может, по ним зовут.

Так ли, нет ли, тоже и в сарае, бывало, подкараулит. Скотина его принимает, тихая при нём. Баба туда без подозренья, а он нахрапом сзади... Она, бедненькая, взвизгнет — во дворе услышат: а-а, хрюшка визжит... Выйдет с плачем: чего на помощь не прибегли? в двух шагах от вас чего делалось... неуж не слыхали? Домашние сокрушаются: нет! Переглянутся: видать, была тебе примета, да ты проглядела. Ой, глядеть надо!

Отчего у нас бабы и особенно девки так завязывают волосы косынкой, когда красят чего-нибудь? Попадёт на волосы чуть краски — не миновать Лосёвого Чудя. В глаза ей глянь, так и видно: будет у неё с ним свидание...

Одни завязывают, другие озоруют. И волосы выпустят, и брызжутся нарочно краской.

Отчего в нашей местности народ пошёл горбоносый? Особенно и очень высокий? От него. И травы высокой давно нет, и живности, и рыбы нет, и птицы, вон глянь, не слыхать, мелиорация кругом, земля уделана, где тебе дикая малина? И речки стали как корова проплакала, деревни покинуты, а он есть. Ещё и недавно видали его.



Эрнест КОРОБЧИНСКИЙ

Гамбург

Танцевальный этаж

РАССКАЗ

«Дамы и господа! Добро пожаловать на концерт в гамбургском парке «Растения и цветы». Сегодня вы увидите поющие фонтаны. Музыка «Болеро» Равеля исполняется на водном фортепьяно. Длина, цвет и направленность струй соответствует звукам музыки».

Туристы стараются обязательно побывать на этом феерическом спектакле, а жители Гамбурга – по нескольку раз в году; музыка часто меняется и впечатление, действительно, незабываемое.

Был будний день, и на зрелище пришло всего сотни две людей. Кто стоял на скамейках, кто сидел на траве поближе к фонтанам. Под звуки великолепной музыки розовые, голубые, зелёные, красные и огненно-золотые струи сменяли друг друга. На фоне ночного парка разнообразие цветовых оттенков, звуков и запахов создавали нечто божественное.

Володя то и дело отвлекался от этого волшебства, им овладело какое-то наваждение, почти галлюцинация. Он не мог оторваться от лица, от глаз этой женщины. На скамье напротив, на подстеленной газете стояла пара; весь их вид говорил о том, что это нормальные преуспевающие супруги. Мужчина мог в конце концов заметить любопытные взгляды, которые Володя каждый раз бросал на его жену, но знать, что он сейчас испытывает, – мужу было никогда не догадаться. Полной уверенности, конечно, не было, но что-то подсказывало, что это она, Лариса.

...Боже, как молоды они были тогда, как беззаботны. «Поедемте в Лужники,– сказал Николай,– там во Дворце спорта сегодня танцы – пальчики оближете». От станции метро «Спортивная» такие же поезда, как на ВДНХ, подвезли их прямо к главному входу во дворец. Музыка не звучала, а гремела всей тяжестью полусотни духовых инструментов. Армейский оркестр играл только при входе, встречал гостей, внутри были музыкальные ансамбли. В гардеробных стояли громадные очереди, но разве они могли касаться Николая! Он подошёл к самому началу одной из них, мгновенно отыскал свой тип («Понимаете, настоящая блондинка с такими большими серыми глазами») и выдал ей не вчера придуманный экспромт: «Девушка, ради бога, не двигайтесь, вот так, так вы и предстанете в моём новом фильме». В общем они тут же сдали свои плащи и вместе с новой знакомой вошли в зал.

Николай сразу отправился танцевать, а Володя стоял и рассматривал публику, пёструю, шумную. Криком моды тогда был твист, не все ещё умели, но пытались все.

Танец кончился. Внезапно сзади возник Николай со стройной брюнеткой:

– Оставляю на твоё попечение моего друга, не давай ему скучать.

Брюнетка сообщила, что она танцующая певица, это тоже входило в моду. Объявили конкурс на лучший танец, она сказала: «Доверьтесь полностью мне, и приз наш». Призом оказалась напольная ваза. Володе не улыбалось весь вечер её таскать. К счастью, брюнетка встретила знакомых, и он незаметно перешёл в противоположный угол зала.

Когда заиграли танго, он пригласил невысокую девушку. Броской красоты в ней не было; чуть раскосые глаза, их молодой, необыкновенный какой-то алмазный блеск – вот что его привлекло. Минут через двадцать танцы ей надоели, и они отправились гулять. В разговоре Лариса вдруг обронила:

– На концерте в Фридрих-штадт-паласе...

– Вы что, бывали в Берлине?

– Я, можно сказать, там живу.

«О, да это офицерская жена», – подумал Володя, и настроение у него испортилось. Проводил он её аж в Текстильщики, там она села в подмосковный автобус. Договорились встретиться на следующий день возле старого здания МГУ, у него там в восемь вечера заканчивался семинар.

Володя пришёл без опоздания, она уже была на месте.

– Вот что, девочка: в театр идти уже поздно, в кино не хочется, а на ресторан у меня денег нет, остаётся ужин у меня дома, это совсем рядом.

– Или вы циник, или вы хотите своей откровенностью меня покорить.

– Ни то, ни другое, просто говорю, что думаю.

Они зашли в Елисеевский, купили всё к ужину и по аллее Рождественского бульвара пошли домой.

Уже два года жил Володя в чудесном районе посольских особняков, где тихие переулки носят аппетитные названия: Столовый, Хлебный, Калашный, Скатертный. В коммуналке пять человек соседей.

Разговоры за ужином были о том, о сём, Лариса старалась свою образованность показать. Володя слушал рассеянно, он думал: что обещает эта совсем необыкновенная улыбка?

В постели он намеревался сразу себя перед новой женщиной утвердить, но услышал:

– А ты лежи, не трепыхайся, всё будет прекрасно.

Когда это закончилось, ему казалось, что всё внутри иссушено горячим ветром, что он из рая сброшен в пустыню Сахару, что уже никогда не в силах будет жить прежней жизнью.

А у Ларисы в глазах слёзы:

– Пойми ты, я нашла в тебе нечто такое, чего у меня там нет, я с тобой человеком себя чувствую, понимаешь?

И полился её тихий рассказ о военном городке под Бранденбургом, о муже, который пуще всего боится, чтобы не узнала жена командира части, о сплетнях, о развращённости офицерских жён – грязь, скука, низость.

Все десять вечеров её оставшегося отпуска они провели вместе. Расставаться было очень грустно. Её словам, что бросит всё и приедет, если он её позовет, Володя не придал особого значения. Последовали экзамены, рефераты, работа. Видеть знакомых женщин ему не хотелось, он ждал писем, а их было очень мало. На них следовали мягкие, ничего не значащие ответы.

Весной, когда он вернулся со стажировки в Бухаресте, Николай рассказал, что Лариса приезжала на неделю, бледная, болезненная. Володя написал, ответа не было.

Он вдруг содрогнулся от холода и очнулся от воспоминаний. Последние аккорды «Болеро», мощные синие и лиловые всплески струй, и фонтаны угасли.

«Да это вовсе и не она, что вдруг на меня нахлынуло?»

Три следующих дня были заняты текучкой: врачи, социальные учреждения и всё такое. Ночью, когда не спалось, Володя нет-нет да и вспомнит «сцену у фонтанов», но тут же сам себя утешит: «Наверняка, ошибся».

В субботу целый день лил унылый гамбургский дождь, сидеть бы дома, у телевизора. Но этажом выше, как раз над его квартирой, готовилась пирушка. Слушать весь вечер топот и визг подвыпивших женщин — перспектива не из приятных, напрашиваться к кому-то в гости тоже не хотелось, уйти надо. Осенило, вспомнил!

...Из станции метро он вышел прямо во двор. Другого такого «двора метро» в Гамбурге нет. Оттуда на длиннющую Гамбургерштрассе и в соседний двор по асфальту вниз. «Танцевальный этаж Мёллера. Для молодых людей, кому за сорок». Пешком на второй этаж. Гардеробщица, кассир и билетёр в одном лице получила деньги, выдала два цветных талончика; один входной, другой — на куртку и зонтик.

Абсолютно квадратный зал, в центре — приличных размеров танцевальный прямоугольник из надраенной до блеска паркетной доски, за ним стойка, над которой зажигаются и тут же гаснут разноцветные лампочки. Над стойкой слишком много кое-как развешанных расписных тарелок, по бокам такое обилие чеканки, что отдельно ничего не увидеть, не запомнить. Справа — звуковая аппаратура, слева — вход на кухню. За стойкой три бармена, один из них одновременно диск-жокей. В подробные объяснения он не вдаётся, объявляет: «Приглашают дамы» или «Приглашают господа» и ставит попарно — два танго, два фокстрота или два вальс-бостона, который здесь называется английским вальсом. Напитки заказывают все, еду — немногие. «Нетанцевальное» пространство занято прямоугольными столиками на двоих или на четверых. Над каждым столиком висит лампа в простом прозрачном абажуре. Букетик искусственных цветов, белых с жёлтыми тычинками — на каждом столе, точно такие же цветы, но размером побольше, свисают с потолка. Висит также несколько вертящихся зеркальных шаров и два не очень мощных вентилятора.

Сидят молодые люди, сказать кому за сорок можно лишь в шутку. За шестьдесят, за семьдесят — это вернее. В Москве таких молодящихся стариков даже в Доме литераторов раз-два и обчёлся. Здесь все такие; обнимаются, иногда даже целуются во время танца.

Когда приглашали мужчины, Володя оставался на месте, рассматривал публику. Хуже, когда дамские танцы: отказывать здесь не принято, приходится хитрить. Приглашает тебя бабушка — танцуй медленно, береги силы; пригласит приятная женщина помоложе — показывай класс, но таких женщин немного, поэтому часто смотришь на входящих.

Высокая немка лет шестидесяти, одетая модно, но неброско, грациозно шла впереди. За ней — стройная невысокая женщина: лёгкие белые брюки и чёрная блузка с вышитыми необыкновенно красивыми цветами. Волосы сзади перехвачены в «конский хвост», спереди опущены чёлкой. Пока они у стойки что-то себе заказывали, он гадал, куда они сядут, но когда повернулись и пошли лицом к залу, он увидел: с немкой пришла она, сомнения быть не могло. И вот они уже танцуют.

— Здравствуйте, Владимир Семёнович. Это сейчас я спокойно с тобой здороваюсь, а там, у фонтанов, онемела словно.

В её таком же, как и тогда, мелодичном голосе прозвучало всё: и радость внезапной встречи, и упрёк, и печаль.

– Здравствуйте, Лариса Михайловна.

– Я очень постарела?

– Если кто-то и постарел, так это я. Может, уйдём отсюда?

– Не получится. Это родственница моего мужа, я с ней пришла, с ней и должна уйти.

– Хорошо, я приведу тебя обратно.

Парк на берегу Альстера был немноголюден. Лишь по боковым дорожкам бегали трусцой мужчины и женщины. Кое-где на скамейках сидели парочки, пили пиво, целовались. Лебеди подплывали к берегу, им бросали хлеб.

Володя сказал:

– Сядем и рассказывай, я буду внимательно слушать.

– Когда я возвратилась из Москвы в Германию, я мечтала только об одном: быть всё время с тобой, иметь от тебя ребёнка. Увы! Жизнь пошла по старой колее, только я к мужу стала холоднее и нетерпимее, чем раньше. Он, конечно, понял, что в Москве что-то произошло, стал больше пить, больше меня мучить. Удалось ненадолго вырваться в Москву, ты был в отъезде. По возвращении застала упакованные вещи: его переводили в Казахстан, за пьянку, наверное. Он был подавлен, но ко мне стал относиться лучше.

Очугиться в Казахстане после Германии – можешь себе представить. Климат, условия, настроение... Я тяжело заболела. Он пить перестал, пошёл в гору, дослужился до майора. Рядом в городке нашлась очень красивая женщина-парикмахер. Вскоре мне передали, что он к ней ездит гораздо чаще, чем ко мне в больницу. Я уехала к маме, в Подмосковье. Вылечилась. В Москву приехал из ГДР наш приятель – немец. Затем я гостила у них в Бранденбурге три недели. Приятель и его жена были одинаково внимательны и любезны ко мне. С мужем я развелась. Много раз порывалась тебя разыскать, но боялась ворошить прошлое, тем более, когда на мой звонок соседи сообщили, что ты переехал и женился. Шарлотта, супруга приятеля, умерла от рака. Уве стал мне писать и через некоторое время приехал и предложил стать его женой. Он был высокооплачиваемым почтовым служащим, теперь на хорошей пенсии. Здесь мы в гостях у его кузины. Знала бы, что встречу тебя, может, не поехала бы в Гамбург. Зачем вспоминать старое, думать, что могла быть любовь, счастье, дети? Зачем? Кого винить? Себя, что не была с тобой достаточно откровенной? Тебя, что ты так легко и просто со мной расстался? Судьбу, что она так нами распорядилась?

Она не плакала, но какая печаль была в её глазах!

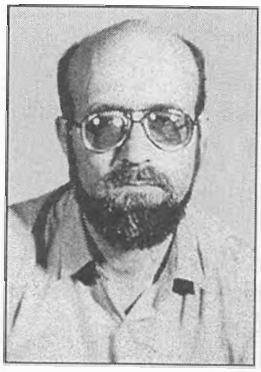
На обратном пути они почти всё время молчали.

Володя овдовел шесть лет назад. Семейных перспектив он не видел. О чём он мог думать в эти минуты? Что невольно, эдак левой ногой, испортил жизнь этой неглупой, красивой женщине? Что был к ней чёрств и невнимателен? Что жизнь чаще всего – не поющие фонтаны, а этот танцевальный зал с его бумажными цветами?

– Поцелуемся на прощанье, – сказала Лариса,– в последний раз.

Наверху слышны были звуки музыки. Она поднялась по лестнице, а он отправился домой, в свои четыре стены одиночества.

Танцевальный этаж продолжал веселиться.



Дмитрий ДАДАШИДЗЕ
Ганновер

А я весенним временем живу...

НОВОЕ ВРЕМЯ

Отдам я предпочтенье этой теме,
знать, тучи прослезились в небесах.
На новое все переходят время,
подрагивают стрелки на часах.

Сегодня их на час назад отводят.
Идут часы и слышен сердца стук.
Идет круговорот воды в природе,
земля опять на свой вернулась круг.

А я хочу, чтоб продолжалось лето,
чтоб ты бросалась в море и плыла.
Чтоб света, очень много было света,
людского и душевного тепла.

Мечтаю я, чтоб затянулась осень.
Художник говорит, дарован час,
как рану, мы на холст его наносим,
и нанести успеем в этот раз.

Что ты сегодня поднялся так рано?
Пиши стихи, все ныне впереди.
Но хлещет кровь из нанесенной раны,
и не стучит, а тикает в груди.

Природа, ты ни в чем не виновата.
Живущий меж Арагвой и Курой,
я вглядываюсь в корпус циферблата,
скрестились стрелки. Час не пробил мой.

Они на циферблате, словно шпаги,
скрестились, на устах моих печать.
Перо не в силах вынести бумаги,
нет! Он не пробил долгожданный час.

Сквозь утреннюю дождевую темень
гляжу я на багряную листву.
На зимнее все переходят время,
а я весенним временем живу.

ГРАФИКА

Санану

Запечатлен в его эскизе
ночей бессонных цикл земной.
Он знал, что за блаженство кисти
нередко платят сединой.
Пол земляной полуподвала...
Как знать, быть может, оттого,
что чернозема здесь хватало,
искусство принялось его.
И, оказавшись в самой гуще
дворцовых красок и цветов,
сквозь землю он, дикорастущий,
вновь провалиться был готов.

Но в ожидании провала,
в удачу верил до конца.
Шпиль мастерской-полуподвала
встал на развалинах дворца.
Красивой сказкою иль ложью
он был? Да только все холсты
сложили у его подножья
свои соцветья, как цветы.
Изгиб фиалки утонченный,
левкоя отблеск, роз коралл...
О, горе! Он об этом черным,
увы, по белому сказал.

ДАЛЬТОНИК

Побыть на цветовом режиме
полезно даже иногда.
Мне часто говорят, что в жизни
я вечно путаю цвета.

Люблю я осенью и летом,
на перекрестке с давних лет
зеленым любоваться светом,
перебегать на красный свет.

Сгущаю краски то и дело,
доказывая битый год,
что черное зовется белым,
а белое — наоборот.

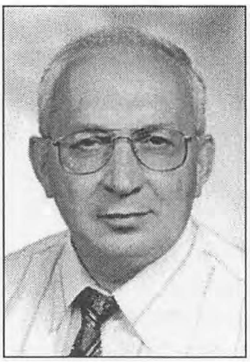
Смешались все цвета, недаром
я в море Черное нырну
и, шоколадным от загара,
опять уйду на глубину.

Но с каждым разом все сильнее
зов ощущаю белизны,
когда, от холода синея,
вершины вижу с вышины.

Я краски узнаю любые,
их приближенье, голоса.
И называю голубыми,
как тучи, серые глаза...

ИМЯ

Уж не помню, чего ради
появился этот зуд.
Мальчуган сказал мне: «Дядя,
здравствуй! Как тебя зовут?»
И в порыве откровенья,
мысленно себя браня,
я сказал, что, к сожаленью,
имени нет у меня.
Мальчуган слегка опешил,
бросило мальчишку в дрожь.
Нету имени? А где же
имя? Как же ты живешь?
Как живу? Да терпеливо,
с жизнью все согласовал.
Будит инициативу
по утрам инициал.
Руководствуюсь своими
позументами души.
Есть фамилия, а имя —
это надо заслужить.
Имя доброе! Не скрою,
высока его цена.
Как оружье именное,
носят люди имена.



Владимир ШТЕЛЕ

Кассель

Станция Анжерка

НЕОКОНЧЕННОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

1

Листья, уже давно засохшие, всегда первые чувствовали надвигающиеся перемены. Они густились ещё на заметно поредевших кронах, но жили уже отдельной жизнью, готовые навсегда оторваться, улететь, стать тленом. И это случалось, как правило, в октябре, когда накуражившись вдосталь в сибирском заполярье, прилетал на Западно-Сибирскую низменность колкий и злобный ветер, чтобы сорвать последние, уже гремящие на морозе, жёлтые, красные, полосчато-серые листья, бросить их наземь и, забыв о них, всю ночь гнуть то влево, то вправо голые ветви деревьев, наказывая их за короткое летнее счастье.

Тысячелетия гулял здесь этот ветер без помех, но в последние десятилетия, преимущественно после войны, рукотворные горы, геометрически правильные конусы-терриконы стали мешать свободному, лишённому определённого направления, перемещению потоков воздуха, насыщенного мелкими острыми кристаллами осенью и зимой и сдобренного таёжной прелью и свежестью – летом. Эти гигантские, рукотворные горы всегда тревожили моё воображение и, прожив много лет в непосредственной близости от террикона, я не смог научиться не замечать его присутствия. Он был главным элементом ландшафта нашего невыразительного во всём остальном посёлка. Несколько таких посёлков с непременной серо-чёрной горой, не претендуя на первенство, дружественно протянули друг другу руки – кривые, местами даже асфальтированные дороги и назвали себя громко городом. Подъезжая к этому городу-городку с востока или с запада по транссибирской магистрали, зевающий москвич или юркий студент-пекинец наблюдали, как медленно увеличиваясь в размерах, появлялись из-за старых тяжёлых елей, повторяя очертания их вершин, массивные миллионнотонные знаки трудовой доблести местного населения, которое ютилось в основном в частных низких домиках или бараках, не отличавшихся цветом от этих каменьев, изъятых из глубин земли и уложенных на всеобщее обозрение. Так как эти домики явно проигрывали в геометрии и объёмах перед гигантами терриконами, проезжающая публика и не замечала этого жалкого приложения к результатам деятельности тяжёлой индустрии, хотя то и другое было сотворено одними и теми же руками. Жители, занятые, по совместительству с угледобычей, картофелеводством летом, а зимой – борьбой с вечными снегозаносами, спокойно воспринимали такое отношение проезжающих, продолжая заниматься своими делами во дворе или в огороде, не обращая внимания на гордые свистки проходящих экспрессов.

Почему-то вокзал, выросший в хрущёвские времена строительного бума, все коренные жители города называли станцией, хотя, учитывая солидность здания, наличие пристанционной столовки и даже газетного киоска, эта станция-вокзал играла роль культурного центра и по своему значению соперничала с поселковым кинотеатром. Это уже потом, в дурные горбачёвские времена, которые осуждались всеми жителями шахтёрского городка, исчезла сначала газировка на вокзале, так что прощальный стакан водки и запить нечем стало, затем вкусное мороженое в поедаемых стаканчиках, а затем – многое другое. Сильно снизилась поэтому посещаемость сырого здания вокзала с высокими потолками, под которыми сибирские воробьи, познавшие, наконец, комфортабельную жизнь и очарованные своей недосягаемостью, любились и плодились. Презрение к законам природы, когда они вылупляли своих потомков в январе месяце, можно было понять – сытая беззаботная жизнь стимулирует проявления разного рода дурости, но отдельные представители стаи ушли слишком далеко. Уверовав в тотальное изменение климатических условий на всей территории Сибири, они, подобно африканским сородичам, стали частично сбрасывать перо, щеголяя по карнизу с голыми пупырчатыми попками. Перестроечные процессы, которые первое время волнительно действовали на малочисленную местную партийно-комсомольскую интеллигенцию, вынужденную как и все жители городка в поте лица добывать свой хлеб, но дополнительно к этому ещё и отсиживать разного рода нудные собрания, ударили непосредственно по жизни вокзальной привилегированной воробьиной стаи. «Куда делись поджаристые пирожки с ливером?» – поднимал вопрос старый воробей, качаясь под потолком на краю карниза, имитируя попытку самоубийства в присутствии начальника станции, проходящего далеко внизу. «А крошки тёплых венских булочек?» – вторила ему сильно декольтированная дама, решившая сохранить перья только на кончиках крыльев, так как родилась, выросла и вышла замуж она здесь, на этом карнизе, не ведая заоконных перепадов температуры. Шумное общее собрание стаи, после сравнительного анализа брежневского и горбачёвского периодов правления, всё же решило не покидать тёплой обители, дождаться перестройки того, что было перестроено, и не психовать по поводу временных экономических трудностей. Однако чирикание на политические темы продолжалось недолго, так как всеобщее увлечение приватизацией недвижимости достигло и этих, грех сказать, пернатых. Делёжка каменного карниза надолго отвлекла стаю от проблемы питания, вероятно для этого вся эта приватизация и была придумана. Настойчивая попытка начальника станции приватизировать два километра транссибирской магистрали и взымать за въезд на них с каждого проходящего вагона хотя бы 10 центов потерпела неудачу. Он громко жаловался, что перестройка пошла не по тем рельсам, и предсказывал крушения тяжеловесных составов, которые, несмотря на смертные судороги промышленности на территории всей страны, продолжали деловито стучать колёсами, транспортируя на своих горбах в основном яркие заморские контейнеры. С приватизацией местного гвоздильного завода всё обошлось благополучно. Дружный небольшой коллектив в составе директора, трёх замов, главного бухгалтера и двух рабочих решил работать по-старому, а прибыль, которой не было раньше и которая не ожидалась в будущем, перечислять по доброй старой советской традиции в расположенный рядом дом психически больных, крики которых, после снижения рациона питания до уровня военного времени, стали раздражать руководство предприятия.

Хуже всего было с шахтой. Она-то и кормила, и поила местный народ, и держала на плаву, как сейчас говорят, всю инфраструктуру посёлка. Романтические времена первых шахтёрских забастовок прошли. Получив приказ от своих

баб прекратить это баловство и уразумев, что толка от этих пролетарских мероприятий нет, стали работяги исправно спускаться в забои, если и выдача зарплаты задерживалась на месяц другой. Вспыхнувший было интерес населения посёлка к политике и самоуправлению быстро прошёл и даже вопрос, как всё же отстаивают свои права трудящиеся Запада, используя мощный инструмент – забастовку, который хотел изложить залётный демократ из областной столицы, отклика в душах забойщиков и проходчиков не нашёл. Тихо матерясь, разошлись они по своим домикам и баракам. Непременные активисты, которые раньше считали себя обязанными присутствовать на разного рода собраниях-лекциях и даже задавать вопросы, подтверждающие их вдумчивое чтение газеты «Правда», временно потеряв политические ориентиры, стали демонстрировать свою независимость. Их попытки приблизиться к городской демократическо-анархистской группке, лидер которой после недельной голодовки на бетонных ступенях городской управы окончательно потерял возможность логически мыслить, встречались шумными обвинениями в приспособленчестве. Но особо разлагающе действовал на массы, конечно же, телевизор. После того как, отмеченный многими наградами, известный советский режиссёр, который, оказывается, не согласен был с партийной линией все долгие годы своего членства в КПСС, сжёг перед телекамерой собственный партбилет, в жестах показывая, как он ненавидит эту партию, общественная работа на шахте заглохла полностью. В местном клубе стали крутить исключительно порно-эротические фильмы и возбуждённые кавалеры торопливо выводили вспотевших подруг на ослабевших ногах в рядом расположенный сад для практического закрепления приобретённых знаний. Дул стойкий ветер обновления.

Начальство шахты, лишённое привычной руководящей установки, проявило сначала неуверенность и даже стало публично произносить слово «демократия» вместо ясного, хорошо знакомого слова «дисциплина». Но, поскольку, если это знакомое слово не произносить на шахте трижды в день, и, тем более, не следовать ему, то опасное и сложное подземное производство становится угрожающим для жизни всех участников производственного процесса, пришлось быстро вернуться к старым тоталитарным методам управления. На этом вся перестройка в посёлке и закончилась бы, если бы на смену этому полупонятному – «демократизация» не пришло совсем непонятное – «приватизация». После того, как отдельные, вечно жаждущие быть впереди личности осадили местный Дом советов, отчаянно пытаясь приватизировать построенные собственными руками дома, было дано в местной газете пространное объяснение ошибочности желаний этих граждан с просьбой «частников» не беспокоить напряжённо работающий аппарат городского управления. Умное или хитрое шахтовое руководство ещё до того, как стал Михаил Сергеевич энергично махать руками на кремлёвских трибунах, искажая ударения в словах от возбуждения перед открывающимися горизонтами революционных преобразований, приватизировало, а именно, передало в частные руки весь жилой фонд (старые бараки), что резко снизило расходы шахты на ремонт этих развалюх. Учитывая, что приватизация, как и коллективизация, должна иметь непременно массовый характер, оставалось одно – приватизировать и саму кормилицу-шахту. Старики пенсионеры – шахтёры, сидя на лавочках, стали прикидывать, кому можно отдать клетьевой подъём (здесь-то нужен верный, непьющий человек), а кому насосную станцию шахтного водоотлива. Но, при здравых расчётах, принимая во внимание, что работало на шахте более четырёх тысяч человек, пришли к тому, что при справедливой делёжке каждому может достаться по паре брезентовых рукавиц

да по пластиковой защитной каске. Пыл и жажда обзавестись собственными средствами производства в народе угасли.

Однако владельцы московских кабинетов отступать и ретироваться не привыкли. Бацилла новаторства, занесённая под низкие модные в застойное время черепа, плодилась и щекотала уже безоблачное усохшее серое вещество, провоцируя творческие процессы. Принимать решения чиновники всех уровней уже давно стали с помощью науки. Это современно и придаёт вес не руководяшей персоне, но и указаниям, имеющим уже научное обоснование, а стало быть, вдвойне правильным. Поэтому и было выдано Аналитическому Отделу Ориентировочных Прогнозов Института Всеобщей Оптимизации Трудовых Процессов Воспроизводства Минеральных Ресурсов Западно-Сибирского Филиала Академии Неприкладных Наук выполнить экономико-математический анализ упомянутой выше шахты. И, о боже, то, о чём знали все, стало достоянием науки. А это всегда опасно. Младший научный сотрудник предпенсионного возраста Самуил Иванович Фридмашкин, известный своей неискренностью, так как громко заявлял, что снег Сибири ему милее песка Израиля, во что ни один нормальный, не располагающий возможностью покинуть свою родину человек поверить, конечно, не мог, выполнил в соавторстве с академиком Бесполезных все необходимые расчёты. Открытие гласило, что данная шахта с момента её строительства была убыточной, а стало быть, весь этот «трудовой» народ, кормившийся возле неё, висел все эти годы на шее у Государства. А это давно предполагали отдельные светлые умы, когда правильно заявляли, что «экономика должна быть экономной». Нет, были и будут провидцы в нашем руководстве. Короче говоря, шахту закрыли, следуя известной, хорошо показавшей себя на практике идее: «есть шахта – есть проблема, нет шахты – нет проблемы». Но это всё произошло уже в 90-ые годы, а в годы моего детства всё было иначе.

Как хорошо стоял наш дом. Восходящее солнце должно было не только пересечь край, сотворённой Богом земли, называемый горизонтом, но и контур рукотворной горы, называемой терриконом. Мы, жители короткой улицы, расположенной в утренней тени этой горы, позже всех встречали восход, зато мы видели подсвеченный сзади, торжественный, осиянный, как божество, становившийся абсолютно чёрным, конус, указующий своим остриём в высокое небо. И лишь затем, медленно пересекая одну из сторон конуса, выплывало красное солнце, как подарок, как порождение этой чёрной горы, великой и вечной, как солнце, как наш городок, как наша шахта. Чтобы различить желтизну подсолнечниковой пыльцы и мягкую зелень морковной ботвы, надо было утром увидеть этого чёрного великана, эту плотную, непроницаемую груду влажных от росы камней, которые вцепившись друг в друга, пытались воссоздать тот подземный монолит, ту сближенность, которой лишили их люди. Внутренности прекрасной земли, покрытой огородными грядками и таёжными зарослями, обнажённо складировались здесь из года в год. И увеличивался в размерах наш террикон, вырастая вместе с нами, поселковыми пацанами. Природа, чувствуя неестественность расположения под солнцем и под ветром этих каменьев, поднятых с полукилометровой глубины, пыталась каждое лето робкими побегами и пучками трав прикрыть по окраинам камни, которые упорно не поддавались никакой эрозии и блестели вечно свежими сколами. Эта гора жила подобно знаменитым вулканам. Но вулканы ждали своего часа годы и столетия, террикон же извергал груды камней регулярно. На самую его верхушку затягивалась вагонетка, гружённая новой порцией добытой породы, опрокидывалась там, и освобождённые от вечного подземного плена и обречённые на неминуемые стра-

дания, подобно всем живым существам, появившимся на поверхности этой земли, громко охая и гремя, летели булыжники вниз по гладким бокам божественной горы. И слышно было это аж там, на станции, если в это время какой-нибудь очумевший от очередных грандиозных пятилетних планов паровозишко, лопаясь от натуги, не начинал шумно выпускать пары или нервно лязгать колёсами, дёргая громоздкие вагоны, загруженные углем, подтверждая свою готовность коммунистическим трудом поддержать совместное решение ЦК и Совмина по дальнейшему ускорению и развитию.

Жизнь станции, как и жизнь террикона, выходных не знала. Поэтому перекликались они паровозными свистками да грохотом каменьев, поддерживая и приветствуя ударный труд друг друга. А вокзальное здание давало приют не только птицам, но и людям, попавшим временно в беду, влюблённым парочкам и бездомным инвалидам. Муж, изгнанный супругой, или сам решивший её навек покинуть, мог здесь раздумчиво посидеть до утра, чтобы явиться домой с повинной или с намёками на сладко проведённую им ночь. Или, если погодные условия не давали возможности под открытым небом полностью раскрыть любовную страсть молодым жителям посёлка, то это можно было сделать на станции в любое время суток. Девка, замеченная в вечернее время на вокзале, автоматически относилась к числу потенциальных невест и в её спелости сомнений уже ни у кого не было, а учителя в школе предоставляли ей всяческие поблажки, так как были уверены, что школу она так и так раньше времени покинет.

Удобное это было место – станция. Отсюда, если незаметно влезть на площадку вагона-углярки, можно было добраться и до самого террикона. Добраться-то можно было, да наблюдать за жизнью этой растущей горы рекомендовалось только на расстоянии. Не все, но многие, летящие с крутой верхушки камни, достигали самого подножия террикона. Траектория движения этих многокилограммовых валунов не поддавалась расчёту, после резкого скачка влево мог последовать скачок вправо или вверх. Обладая огромной запасённой энергией, этот скачущий вниз камень мог прибить быка или лошадь, не то что зазевавшегося пацана. Однако, несмотря на действительно смертельную опасность, стал одно время террикон привлекателен для многих ребят, как объект, дарующий возможность заработать деньги. Вместе с пустой породой попадали в вагонетку и куски угля. Он-то и был предметом добычи пацанов, которые целыми днями лазали по бокам террикона с мешками и складировали в сторонке кучки коксового высококачественного угля. Потом эти кучки продавались желающим сидеть зимой в тепле.

Там, где обширное основание террикона придавило площадку земли, когда-то покрытую тайгой, срослся он накрепко с плодородным слоем-опорой, питаясь, как дерево, его соками и солями, подминая всё больше и больше лёгкую торфяную землю. Рассказы приезжей впечатлительной учительницы о величии египетских пирамид и муках его создателей нас интересовали мало. Многие, сидевшие перед ней ученики, уже тогда знали, что им предстоит продолжить «подвиг отцов», и наш террикон непременно превзойдёт по размерам все эти нарисованные в учебнике жёлтые призмы.

Ещё в счастливое дошкольное время, когда детская фантазия не была ограничена муштрой, а сознание не было придавлено необходимостью выполнения отупляющих домашних заданий, я любил в воображении опускать этот конус под землю, представляя полость соответствующих размеров. От этого становилось жутко. А когда я ещё добавлял объёмы тех, расположенных в стороне искусственных гор, да ещё объёмы извлечённого и бесследно исчезнувшего в топ-

ках угля, то приходил к заключению, что наши дома, огороды, дороги и тропки расположены над опасной многометровой пустотой, и ходить по земле становилось страшно. Всё это могло рухнуть туда, в тёмную пропасть, если топнуть ногой или заорать дурным голосом.

Работа, требовавшая миллионы человеко-смен, выполнялась тихо и незаметно, глубоко под землёй, почти без привычных сейчас средств механизации. Кайло да лопата, да много пота – так и извлекались эти камни из сибирских недр. Поэтому и блестят они вечно влажными гранями от невысыхающего пота тысяч безымянных работяг. Интернациональные подземные бригады, состоящие из русских и немцев, татар и украинцев, латышей и чувашей, упорно продвигались всё глубже и глубже в недра, чтобы верхушка террикона всё больше погружалась в низкое осеннее небо, притягивая к себе холодные, наполненные моросящим дождём облака. Зарастут болезненной травой и эти горы, или растащут их постепенно на подсыпку дорог, чтобы новое поколение могло на «Ладах» и «Ниссанах» без тряски свободно передвигаться по жизни в любом избранном направлении, а заполярный ветер мог без преград лететь над покорной землёй, уже приготовившей себя к долгой зиме.

2

Я не знаю, почему простой сибирский мужик, который не по воле своей трудился на нашей шахте и, имея странную профессию – «посадчик», так любил сук гончей породы. Нелогичность этой сердечной склонности проявлялась ещё и в том, что охотиться он пытался исключительно на водоплавающую птицу, которой ещё много было по сибирским лесам и болотам в 50-е годы. Возвратясь с охоты, длинноногие друзья охотника задумчиво лежали во дворе, в очередной раз потрясённые таким беспардонным нарушением заветов предков. Мелкая дрожь пробегала по их костистым спинам, было видно, что перепрофилирование отрицательно влияет на состояние их здоровья и духа. Стойкая депрессия делала этих псов совершенно безобидными. Возможно, тревожили Павла Максимыча детские воспоминания о жизни помещиков в среднерусской полосе, откуда он был выслан, но его осуществлённое желание устроить в стайке псарню с почти десятком собак, поддержать соседи не могли. Вот недельный запой какого-либо мужика с перманентными драками с супругой или скромная попытка сжечь свой собственный дом, после того, как с диким матом уже изрублен единственный комод, воспринимались уличным сообществом как нормальное проявление чувств. Но – псарня? Особенно благородными считались подобные выходки на почве ревности. Жертве, избитой бабе, чуть не лишившейся дома, который, к счастью, обгорел лишь с одного угла, тихо завидовали менее удачливые соседки, выспрашивая все детали происшествия. А крикливая подруга, неожиданно попавшая в центр внимания, перечисляла материальный и телесный урон нанесённый мужем, лишь по инерции матерясь в его адрес. Так как объём этих потерь по всеобщему убеждению прямо коррелировал с глубиной чувств супруга, то в её рассказ добавлялись элементы, повышавшие героичность мужа, которому наказано было – «в шахте сдохнуть, но комод новый купить».

В то бедное, затянувшееся послевоенное время полуиностранное слово «комод» и уж совсем иностранное слово «трельяж» доводили баб шахтёрского посёлка до стойкого головокружения. Уже значительно позже пришла другая

болезнь – хрусталь в «стенку» и золото на пальцы. Обладательница трельяжа чувствовала тогда такое же внутреннее обмирание, как невеста в первую брачную ночь, или, как обладатель вызова на свою историческую родину сейчас. Но, псарня!? Все добропорядочные люди пытались по мере возможности вырастить в стайке какое-нибудь полезное хрюкающее или мычащее существо, так как без шмата сала и мясных шей местный мужик, преимущественно подземный горнорабочий, слабел сильно и был непригоден не только для шахтёрского соцсоревнования, но и для регулярного ночного домашнего употребления, о чём простодушно сообщали некоторые бабы всей улице, сидя рядами на лавочках и лузгая семечки. За что и биты бывали.

Эти псины, числом от шести до девяти (в зависимости от видов на предстоящую охоту), особых хлопот соседям не приносили, но своим несуразным видом оскверняли рабоче-крестьянский ландшафт нашего посёлка. Проходящие мимо старухи осеняли себя крестом и плевали через забор, а добропорядочные шарики и бобики, навеки освобождённые от рабских цепей, напряжённо наблюдали за высокими тощими горбатыми особями, не решаясь лаем выдать своей родственной принадлежности к этим, срам сказать, собакам. Однако, не только порода придавала гончим малоэстетичный вид. Своё влияние имело и скромное, преимущественно диетическое питание, состоящее из варёной, иногда сдобренной отрубями, картошки. Этой пищей поддерживалось существование всех домашних животных, независимо от их расовой принадлежности.

Владельца этих собак, несмотря на его крестьянское прошлое и рабочее настоящее, почему-то все жильцы нашей улицы звали по имени и отчеству – Павел Максимыч. Главной чертой его характера до тех пор, пока он не был пьян, было спокойствие, а скорее, равнодушие к окружавшему его миру. Он не грозил пацанам, помявшим картофельные кусты на его небольшом поле рядом с домом, не рвал глотку, коря жену за деньги, потраченные на голубые настенные коврики с белыми лебедями, которые жеманными изгибами своих тел очень напоминали худых сук, бродивших вокруг дома. Ну, а с мужиками спорить по разным дурацким политическим вопросам и тем более не любил – покуривал да поддакивал, может от малограмотности, но, скорее, от общественной пассивности. Однако членом профсоюза он состоял, хотя то, что они являются школой коммунизма, конечно же, и не предполагал. Поддакивал да покуривал, заворачивая махру в аккуратно нарезанные листы из местной бодрящейся газетки «Борьба за уголь», которую никогда не читал, но выписывал из-за высокого качества бумаги, густо покрытой вонючей типографской краской, что делало её водо- и маслоотталкивающей, а поэтому особо пригодной для заворачивания селёдки, которой в те экологически чистые времена ещё пахли все местные магазины. Так, ограниченность кругозора, вероятно, и привела Павла Максимыча к этому собаководству.

Жена его своим характером была, как сестра, похожа на мужа. Выходя во двор, она просто не замечала слоняющихся бесполезных тварей, как, собственно, и своего мужа, который всегда прямо держал спину и был выше своей супруги на три головы. Эта тотальная индифферентность всего сообщества устраивала всех, и собаки, занимаясь своими собачьими делами, даже в состоянии особого голода не донимали своих хозяев воем или просьбами, выраженными в других экстремальных формах, а равнодушно ожидали положенного пайка, покачиваясь на своих длинных ногах от надвигающихся голодных галлюцинаций.

В те прекрасные далёкие времена демонстративное проявление любви к домашним животным было признаком плохого тона. Всё живое в доме и во

дворе имело чёткую функциональную принадлежность. Котам полагалось изловливать крыс в округе и огуливать своих истеричных подруг, а не сниматься в рекламных телеклипах, глупо морщась перед банкой консервированного «кискаса», убеждая всё кошачье население страны в преимуществах капиталистического направления развития. Хозяйка, ласкающая свою кошку, вытянувшуюся беззаботно на диване, воспринималась, как человек с явно помутненным рассудком. Издевательства над этими полосатыми, чёрными, пёстрыми животными были со стороны воинствующих подростков явлением нормальным и не вызывали, как это происходит сейчас, у родителей и учителей судорожных припадков и подозрений в том, что подрастающее поколение состоит сплошь из извергов, которые, повзрослев, потопят страну в море бандитизма. Реалистически воспринимая окружающую обстановку, коты и кошки были по-звериному осторожны и вели преимущественно ночной образ жизни, жалуясь нудными голосами друг другу на существование, полное опасности, высоко поднимая хвосты к чёрному небу, обращаясь к своим кошачьим богам или чертям. С собаками было несколько иначе, однако, водить их на тесёмках по улице никому, конечно, в голову не приходило. И лишь Павел Максимыч в редкие, как правило, осенние дни торжественного выхода на охоту, вёл свою достаточно дисциплинированную, лишённую особого энтузиазма, узкомордую ораву на прочных брезентовых лентах через весь посёлок. От гордости за своего хозяина псы выпрямляли спины и выглядели уже не так экстравагантно-гадко. А он шествовал в огромных резиновых сапогах с длинными голенищами, которые, несмотря на дальнюю дорогу и даже при полном отсутствии природных осадков, надевались ещё дома. Голенища, затянутые до паха охотника и закрепленные ремешками, перекинутыми через плечи, издавали хлопающие, похожие на глухие выстрелы звуки, предвещая богатые трофеи.

О дне и часе красочного отбытия Павла Максимыча заранее сообщалось всей улице и, человек, пропустивший этот миг, долго об этом сожалел, так как такое событие могло повториться только через год, в редких случаях – через полгода. А всё развлечение в то дотелевизионное время сводилось к шумным гулянкам-пьянкам, да ещё похороны с непременным шахтовым духовым оркестром, игравшим такие трагически-надрывные мелодии, что почти всё население посёлка, как по команде, выстраивалось в длинную пёструю процессию, вносили разнообразие в эту периферийную жизнь. После того, как шахткомом было принято эпохальное решение, что каждый нуждающийся житель посёлка достоин почётно-музыкального сопровождения до недалёкого кладбища, смерть стала восприниматься зажившимися бабками, как истинный подарок судьбы, и лежали они в просто убранных гробах с горделивыми улыбками. Конечно, был в центре нашего городка и довольно приличный кинотеатр. Однако, кино – это было развлечение для детей и холостякующей молодёжи, хотя баб тоже очень тянуло в этот гулкий тёмный зал, особенно, когда завозились «жизненные» индийские фильмы. Любой шахтёр, глава семейства, конечно же, считал недостойным посещать с женой клуб, тем более что после первых кадров, где героиня с выпученными глазами и с явно не девичьей утяжелённой фигурой начинала выразительно страдать от неожиданно свалившейся на неё первой любви, размокало лицо любимой супружницы, и пудра, изготовленная путём перетирания мела, растворённая горючей слезой, с цементной тяжестью падала на заплёванный пол. Но самое неприятное начиналось потом. В течение двух, трёх дней после просмотра фильма наблюдалась явная неестественность в поведении жены. Лёгкая романтическая возбуждённость туманила её взгляд, а к прямым

обязанностям по готовке пищи и уходу за хозяйством проявлялась открытая небрежность. Однако, учитывая душевный настрой, корить и материть её в эти дни за промахи в хозяйстве не рекомендовалось, так как ответная реакция могла быть очень бурной. На неосторожного супруга обрушивался поток самых различных упрёков, а в заключение выкрикивалось самое страшное: что он никогда её по-настоящему не любил. И бросалась жена в закуток-спаленку, падала на неубранную постель, и искреннее, глубокое горе и жалость к себе долго сотрясали её крепкое, готовое к труду и к обороне тело.

Слово это – «любовь» нормальной семейной жизни только мешало, пользы практической от него не было. Типовые, общепринятые супружеские взаимоотношения исключали какое-либо проявление этого чувства на людях. Мужней жене пройтись под ручку с хозяином по улице и в голову не могло прийти. Муж в присутствии жены и заглянувших соседей мог без опасений назвать её коброй, однако, это не исключало, что сразу после того, как соседи покинут дом, зажмёт на новой скрипучей панцирной кровати супруг свою, быстро таящую супругу, и только не вовремя заскочивший младший сынишка спугнёт запыхавшихся родителей, блажным голосом сообщая о шествующем мимо в резиново-брезентовом одеянии Павле Максимыче. И, смахивая кудельку шестимесячной химической завивки, бросится мамка к окну, широко распахивая несуразный куцый халатик с непременным отсутствием, как минимум, одной нижней пуговки, прижмётся к стеклу влажным лбом и горячими грудями, подтверждающими, что заскочивший сынишка наверняка ещё не последний в этом семействе, и будет, сдерживая дыхание, провожать глазами спокойное движение собак и охотника.

К стыду Павла Максимыча, случались между этими редкими, но регулярными выходами на охоту и другие события, прямо связанные с его хобби. Эти события, входившие в развлекательную программу нашей улицы и посёлка, несли непосредственную угрозу для жизни всех близких и дальних соседей охотника, живущих в радиусе досягаемости выстрела его, всем известной, двустволки. Учитывая убойную мощь и калибр этого, действительно, отличного ружья, в зону потенциальной опасности попадали практически все жители пришахтового посёлка. Благоприятное расположение дома любителя-охотника (почти в центре посёлка) сильно повышало вероятность поражения зазевавшихся прохожих, когда он с диким криком – «Поубиваю, гады!» выскакивал на крыльцо своего дома с заряженным крупной дробью ружьем. Случалось это обычно в воскресные дни, когда всем мужикам, считавшим себя полноценными членами поселкового сообщества, полагалось пить водку, или, на худой конец, – «пиво» домашнего производства. Это «пиво», имевшее простейшую технологию производства и самую обычную рецептуру, обладало уникальной способностью доводить мужика до полного сумасшествия, не отнимая у него физических сил и стойкости. Поэтому после трёх стаканов браги, потеряв разум, но, сохранив бойцовские качества, участник попойки на ещё крепких ногах отправлялся на разборку с обидчиками или со своей бабой, но чаще всего находил утеху своим кулакам здесь же, в компании. Это «пиво» и попивал Павел Максимыч. Постоянные прорехи в семейном бюджете исключали возможность закупки более интеллигентного продукта-водки, обилие которой в те трудные годы, способствовало неуклонному повышению производительности труда и позитивному восприятию социалистической действительности. Особенно отчётливо положительное влияние хмельных напитков наблюдалось на праздничных демонстраци-

ях трудящихся, когда наиболее впечатлительная часть из них бездыханно проносилась или протаскивалась в едином революционном порыве мимо трибуны коллегами, которые сразу после торжественного прохождения удовлетворённо падали в кюветы, согласно законам боевого братства. Редкие женщины, принимавшие участие в этом массовом спектакле, захмелев и почувствовав в себе особую грациозность, пытались перед трибуной изобразить лебёдушек в русском хороводе, одновременно с этим громко крича: «Ура» и кокетливо моргая такому близкому и добродушному городскому начальству.

Ударное влияние «пива» было испытано на себе населением всего посёлка старше двенадцати лет, поэтому особая опасность Павла Максимыча, когда он наводил мушку на зазевавшегося прохожего или на окна соседнего дома, ни у кого сомнения не вызывала. Самое страшное, что это: «Поубиваю, гады!» – всегда было безадресным. Тебя или меня он имел в виду, было неизвестно, а неопределённость пугает ешё больше. Но, учитывая, что «Гады!» имело всегда множественное число, допускалась попытка массового убийства жителей нашего посёлка.

Сцены действительно часто были ужасными. Когда единственная интеллигентствующая, из-за слабости характера мужа, баба нашей улицы, в широкополой соломенной шляпе с бантом и в новом крепдешиновом платье, делая показательный воскресный выход, оглянувшись на душераздирающий возглас-угрозу и, заглянув, как в глаза смерти, в две бесконечно глубокие дырки стволов ружья, выполнила молча в сторону картофельного поля прыжок, достойный олимпийского чемпиона, всем показалось, что попадание было стопроцентным. Медленно развеялся пороховой дым. Наша модница лежала в неприличной позе между картофельными кустами, и самые обычные трикотажные трусы на резинках, недостойные дамы тонкого поведения, синели рядом с васильками, плохо прополотой картошки. Её супруг, наблюдавший сцену выстрела на поражение, неожиданно явил пример мужества и спокойствия: не кинулся он, как псих, вытягивать тело из картошки, не заорал с перепугу, а сидя в сторонке, дал жене время прийти в себя, самостоятельно подняться и только в последний момент, когда она с дурными глазами выбрела, качаясь, на дорогу, он спасовал и протянул ей руку.

К достоинству Павла Максимыча относилось то, что он, как правило, удовольствовался одним спаренным выстрелом. После этого его ярость быстро исчезала, и он, не интересуясь итогами прицельного огня, покидал своё высокое, с хорошим обзором крыльцо.

Попытки отдельных, панически настроенных личностей осуществить захват Павла Максимыча в момент его буйного выступления силами местной милиции, состоящей из трёх бойцов, заканчивались одним: из-за отсутствия бронежилетов и желания рисковать своими телами, вызванные на помощь защитники залегали в близлежащей, заросшей мягкой травой канаве, не подавая и малейших признаков своего присутствия. Минут через пять после заключительного выстрела выходила на крыльцо низкорослая жена Павла Максимыча и буднично, но громко сообщала, что Павел Максимыч заснул. Поддёргивая хромовые сапоги, заходили милиционеры с достоинством в дом писать протокол. Отбой.

Когда и с каким трофеем возвращался Павел Максимович с охоты не знал никто. Но, учитывая, что многолетние попытки оружейной расправы с окружавшим его населением не имели результатов, все склонялись к выводу, что и с охоты возвращался он ни с чем, а поджарые твари содержались на дворе зазря.

3

Этот день приближался так же неминуемо, как природные катастрофы на маленьких, смятых подземными силами японских островах. Конечно, жить на этих островах было страшно, но день и час очередной встряски земли под ногами юрких людей был заранее неизвестен, что сильно облегчало текущую жизнь населения. День локальной встряски нашего посёлка: классное родительское собрание, или день глобальной катастрофы: общешкольное родительское собрание, планировались заранее. За две недели до этого события начиналась по всем законам боевых действий тщательная подготовка к воспитательному мероприятию, которое заканчивалось массовой экзекуцией учащихся нашего, богом забытого, сибирского посёлка. Те культурные времена, когда перед учителем, шедшим по деревенской или поселковой улице, малограмотные сограждане замирали и, наклонив голову, дурными, восторженными глазами провожали его неспешное движение в сторону всеобщего просвещения, прошли безвозвратно. Страх, а стало быть, и уважение к педагогу, прежде всего, стало терять молодое динамичное население посёлка, несколько отставая в этом прогрессивном процессе от своих городских сверстников. Отцы и матери учеников, пуганые в жизни многими страхами, но от этого не ставшие мужественней – в основном выселенные в разное время русские, украинцы и немцы, которые до конца жизни сохранили боязнь перед любой исписанной бумажкой, конечно же, были в этом вопросе гораздо консервативней. Вероятно, только для повышения авторитета ответственного звания советского учителя и задумывались эти сходки, где затурканные и уставшие после тяжёлого дня поселковые мамки доводились до состояния абсолютной взвинченности. В них просыпалась неестественная агрессивность, которая находила выход уже дома, где с волнением их ждали непутёвые ученики.

Школьный день после родительского собрания воспринимался как праздник, как облегчение от грехов, которые копились долгие три-четыре месяца. После того, как шумная, справедливо возмущённая мамка, добивалась очередного твёрдого обещания непутёвого сына посещать уроки труда, где уже третье поколение школьников точили одни и те же куски металла, из которых должны были, по уверению преподавателя, в конце концов получиться молотки, всё возвращалось на старый круг. Родители, выполнив свои родительские обязанности, надолго забывали своих свободолюбивых детей, а те, в свою очередь, быстро забывали выбитые из них обещания.

Удовлетворённо оглядывая утром после собрания лица плохо выспавшихся учеников со следами побоев, покачивая бедрами, проходила наша классная руководительница между рядами с лицом победителя. Мы, оглядывая её со спины, видели, как два тяжёлых полушария, живших, казалось, отдельно друг от друга, угрожающе поочерёдно поднимались и опускались под широким платьем. Смельчаки, дух которых ещё не был до конца сломлен, делали ей вслед различные неприличные жесты.

От страха перед неминуемым публичным позором отдельные мамки, подобно плохим ученикам, пропускали важнейшее воспитательное мероприятие. Дети этих малодушных родителей и были объектом первого удара на следующий день. Гнусавое мычание учеников в ответ на четко поставленный вопрос, удовлетворить работника просвещения не мог. Если родители пацана, вольно ведущего себя в школе, игнорировали собрание, то это воспринималось уже как заговор всего семейства, а по советским законам за коллективное престу-

пление полагалась двойная кара. Наиболее бесцеремонным было обращение с плохо одетыми женщинами-работягами из нижнего социального слоя нашего посёлка, а таких было большинство. Эти бабы, волнуясь даже от наличия в классе школьной чёрной доски и плакатиков с формулами по стенам, мокрыми глазами смотрели на строгую учительницу в новом платье, понимая из всего, что она говорила, лишь то, что воспитательное воздействие на колек и танек надо резко усилить. Женщины, униженные тяжёлой мужской работой и примитивными бытовыми условиями, унижаемые мужьями-пьяницами, унижались ещё и здесь, в школе, когда их на людях называли плохими матерями.

Уже тогда начинались плестись прозрачные сети блата. Наши учительницы, имея непосредственное влияние через своих учеников на родителей, быстро завоевали прямой доступ во все торговые точки. Чувство привилегированности и абсолютное отсутствие критики снизу провоцировало несдержанность эмоций этих дам в классе. Но особо изощрённо конструировался аппарат подавления учеников, которые, к большому сожалению воспитателей, были живыми, шкодливыми, часто упрямыми детьми, а не бледными полутрупиками. Интенсивно практиковался экстренный, по ещё горячим следам содеянного, вызов родителей негодяя. В присутствии всего класса настороженно входила мамка в пятнистой робе штукатурщицы, повинно опускала голову и несколько минут отрешенно слушала голос учителя. Затем повторялась одна и та же с незначительными вариациями сцена. С тяжким криком и слезами кидалась мать на своего непутёвого сына и начинала его колотить куда попадя, часто промахиваясь и до синяков отбивая руки об острые грани парты. Крик матери и истошный визг дитяти сливались, проносились по длинному коридору, добегали до двери директорского кабинета, сообщая руководству, что воспитательная работа во вверенном ему заведении поддерживается на должном уровне.

Наиболее тяжёлой формой воздействия на окончательно обнаглевшего ученика было письменное обращение педагога к руководству предприятия, где работал отец виноватого. Понурого мужика вызывали в кабинет начальника, где он с трудом высчитывал, в какой же класс ходит его Колька. Если по результатам расчётов он приходил к выводу, что сын ещё образования не закончил, то молча выслушивал красочные описания преступных склонностей своего потомка.

Наши мужики, принципиально отказываясь от участия в воспитании своих детей, конечно же, были правы, так как их кулаки были значительно тяжелее женских кулаков, а нервная система при редких контактах с учителем или со своим начальством сразу давала сбои. Поэтому в опасные дни, когда общественность всё же пыталась подключить отца к тонкому процессу воспитания сына, отсылала его мать к родственникам переночевать или прятала у соседей. От греха подальше.

В педагогическом коллективе школы, состоящем исключительно из пышнотелых женщин, глубоко убеждённых, что они достойны лучшей доли, и воспринимавших свою жизнь в посёлке, как ссылку, происходило после родительского собрания временное улучшение климата. Все гадости, которые хотелось сказать, были высказаны бедным беззащитным родителям, а на бесконечные внутренние склоки надо было ещё накопить растраченные силы.

К педагогической работе большинство этих дам призвания не имело, в учительские институты они попали случайно, но, учитывая, что эта работа «чистая» и даже в какой-то степени интеллектуальная, принималось решение на семейных советах сделать девочку, лишённую каких-либо признаков одарённости, педагогом. После первой практики в школе, девушки-студентки

начинали понимать, что твёрдый взгляд и громкий голос – мощное оружие в борьбе не только за повышение успеваемости, но и в борьбе за собственное существование в паучьих учительских коллективах. Так формировались эти властные женщины, делавшие иногда попытки после гневной вспышки, сотрясавшей стены класса, вкрадчиво рассказывать о внутренних переживаниях Татьяны Лариной.

Редкий ученик школы получал удовольствие от приобщения к знаниям. К восьмому классу благодаря практикуемым методам обучения и воспитания большинство подростков уже открывали книгу с таким же внутренним напряжением, как и их малообразованные родители. Школа воспринималась как неизбежная кабала, а те слёзы, которые проливались девицами на выпускных балах, были скорее данью дурным традициям, которые мы бережно сохраняем и продолжаем.

То, что для меня времяпрепровождение в этом здании будет не очень приятным, я понял ещё в первый школьный день, когда «учительница первая моя» стала заполнять графу «национальность» в новеньком журнале. Согласно списку вставали девочки и мальчики и громко говорили: «русская», «русский», менее гордо прозвучало: «чуваш», глухо и стыдливо: «татарин», я совсем беззвучно прошептал: «немец».

«Засорение» этнически чистого сибирского посёлка произошло в 1941 году, когда несколько товарных вагонов, набитых преимущественно молодыми немцами, которым о прародине не могли ничего рассказать даже их дедушки и бабушки, подогнали к новой шахте. Привыкшие к тяжёлому труду, бывшие крестьяне и крестьянки быстро освоились в подземных забоях. Учитывая рассеянность немецких семей в посёлке, скоро перешли они почти полностью на русский язык, а дети немцев на уроках немецкого языка почти не отличались по знаниям от своих русских соклассников. И только неискоренимый акцент до конца дней выдавал наших родителей, намекая на их чужеродность здесь, в центре сибирской тайги.

Это тихое «немец», слетевшее с детских губ, которое я впервые открыто на людях произнёс в свой адрес, это слово, которое для всех послевоенных детей, а, вероятно, и для учительницы могло обозначать только что-то очень плохое, было как признание в неизвестном, но страшном преступлении. Это слово незримо дистанцировало меня от нормального окружающего мира. Это «немец» звучало как самовольное признание в ущербности или в порочности, что ещё более утяжеляло неисправимый грех национальной принадлежности.

Политизация воспитательного процесса была в те годы нормальным явлением. Но, как мало интересовали наших родителей решения очередного съезда или постановление политбюро, так же мало интересовали нас пионерские сборы или комсомольские собрания. Проходилась и начисто забывалась химия, писались казённые сочинения, прокрикивались пустые, насильно заученные фразы кодекса строителя коммунизма. Показушность советской жизни, интуитивно отвергаемая детским сознанием, существовала рядом, не очень мешая нашему эмпирическому познанию окружающей среды. И только к девятому-десятому классу наметилось явное расслоение нашей ученической среды, когда появились малочисленные активисты, вернее активистки, которые своим редким табунком и подались изучать сложную педагогическую науку в областном вузе. Смена нашим утомлённым дамам готовилась хорошая. Эти девицы безбоязненно драли горло на всех собраниях и заседаниях и с горящими глазами организовывали для пассивной массы школьные

вечера, где ребятам предоставлялась возможность пройти ускоренный курс приобщения к горячительным напиткам. Тиская активисток по углам тёмных коридоров и чувствуя в себе пробуждение мужской силы, они даже давали им слово завтра же подать заявление на поступление в комсомол в обмен на возможность пощупать определённые части тел общественниц, которые уже ставили политические интересы выше личных. Эти энергичные девчонки быстро перерастали в решительных женщин, для которых школа часто не давала возможности полностью раскрыть руководящий дар, поэтому оседали они в разного рода отделах райкомов и горкомов.

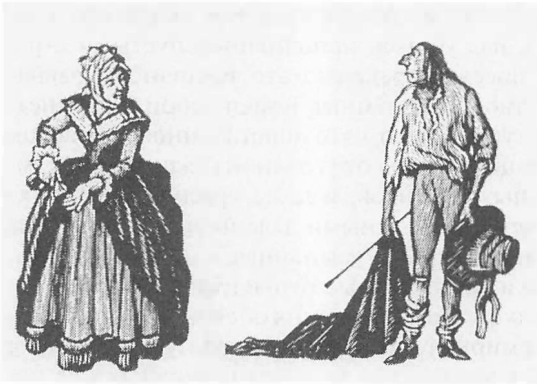
А жизнь за пределами школы, свободная до головокружения, учила и воспитывала нас своими, испокон веков испытанными, методами. С марксистско-ленинской концепцией о ценности личной свободы, так бесцеремонно перехваченной враждебным капиталистическим миром, мы были полностью согласны, поэтому страстно ждали первого дня летних каникул.

Тайга, пышным, мягким, бесконечно-широким кольцом обхватила наш маленький посёлок-городок, смеясь над убогой, наполненной пустыми страстями жизнью. Как только жители посёлка прекратят это челночно-муравьиное перемещение из своих норок-домов в подземные норки-забои, надвинется мощная таёжная стена и покроет густым лесом это испоганенное человеком место. Помойки и замусоренные улицы, чёрные от угольной грязи ручьи, камни, коварно отделённые от подземных массивов, и даже красивая звёздочка на шахтовом копре, – всё это сгинет под влажными зелёными мхами. Сюда вернутся истинные хозяева этого места: грибы, усыпанные еловыми иголками, бесшумные, медленные слизняки, хлопотливые бурундуки. Все эти неразумные элементы, призванные великой силой выполнять свой труд, объединённые в единый комплекс, и формируют гигантскую разумную систему – природу. Всё, что выпадает из этой системы, что не хочет становиться её полезной и органической частью, обречено на поглощение, переработку и уничтожение.

Плотный таёжный полог будет три коротких месяца защищать нас от дурного, несправедливого мира, показывая другую жизнь, которой и назначено было жить всем двуногим существам, избравшим, однако, для своего обитания шахты и длинные бараки. Здесь, в тайге, созданные Богом законы познаются естественно, без натуги и зубрёжки. Здесь нет нужды, как это было на экскурсии, насильно под взглядом учительницы удивляться перед экспонатами нашего маленького краеведческого музея, где пропылённые зайцы безотрывно глядят в мутные окна, пытаясь за крышами домов рассмотреть верхушки ёлок. Здесь освободится, наконец, душа от обид и страхов, свободно проплывая над поверхностью тихой речки и растворясь в сине-зелёном тепле, станет незаметной частью этого вечного, как его Создатель, леса.



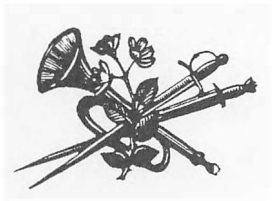
Художник
Евгений
БУРГУНКЕР
Москва



Иллюстрации к книге

«Немецкие народные баллады»

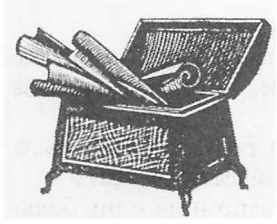




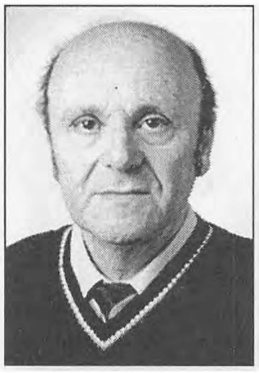












Моисей ШЕН
Ратинген

Месть лесбиянки

ИЗ ЗАПИСОК ПСИХИАТРА

«О! Это коварное существо – женщина!»
Н.В.Гоголь

Эх, раз! Еще раз!
Слезы капали из глаз.
Семиструнная гитара
О любви всю ночь играла.
(Слова из песни в исп.
Вики Цыгановой)

– Как ты смотришь на поездки по странам Европы? – спросила меня жена Юля, протягивая мне программу с броским названием: «Европа открывает вам свои объятия» .

– И кто нас желает видеть и какова цена этих «объятий»? – поинтересовался я, просматривая список предложенных мест.

– Амстердам, 1-го августа, – прочел я, – открытие Всемирного форума лесбиянок и «голубых».

– Это довольно любопытно. В Амстердаме вполне можно надеяться на объятия в полном смысле этого слова, – проговорил я.

– Вероятно, в этот красивый город съедутся со всего мира не менее прекрасные «гомосексуалы» или: люди с патологией полового влечения с извращенным либидо.

В последние годы сексуальные нарушения стали оцениваться не как болезнь, а как синдром различных психо-неврологичесних расстройств. К тому же, в Германии были либерализованы законы по отношению к гомосексуалистам.

Я бы провел этот форум под девизом: делай, как я. Будет всем «безумно интересно» – слова рекламы.

Если раньше лица с подобными влечениями старались быть незаметными, скрывали свои перверзии (извращения), то сейчас они становятся героями дня, кинозвездами, почетными членами всемирных форумов.

Я даже могу догадаться, о чем будут вести разговор двое «голубых»: один обращается к другому:

– Ты читал, моя радость, журнал «Радуга» за этот год?

– Нет, любовь моя. Когда голова занята пенисом, руки не доходят до журнала.

– Прочти шестой номер! Там говорится о Клеопатре, которая сумела за одну ночь орально удовлетворить сто солдат.

– О! – восхищенно тянет второй, – я представляю себе, как она была счастлива! Но где нам найти хотя бы половину такого количества солдат?

Находясь под впечатлением «рекламного сервиса», я вспомнил одну боль-

ную, которая проходила курс лечения в психиатрической больнице города Костромы, где я работал. У нее наблюдались нарушения полового влечения – или другими словами, она была лесбиянкой.

Главным героем этой детективной истории стал следователь городской прокуратуры капитан Сизый Владимир Петрович.

Часть первая: СЛЕДОВАТЕЛЬ

Он быстро прошел мимо меня по коридору психиатрической больницы и, налонив голову, исчез за дверью.

– Что за тип? – спросил я у дежурной медсестры, которая за небольшим столиком просматривала «журнал назначений».

– Из милиции. Приходил к одной из наших больных, – равнодушно проговорила она. Через несколько дней он появился у меня в ординаторской.

– Разрешите? – Я капитан Сизый – из городской прокуратуры. Следователь.

На вид ему было лет тридцать пять, выше среднего роста, темноволосый, скуластый с неизменной сигаретой в зубах. Говорил медленно, отчетливо произносил слова, не мигая смотрел собеседнику в переносицу своими темно-зелеными круглыми глазами, перекатывая сигарету из одного угла рта в другой, и гримаса недоверия часто появлялась на его лице. Он начал разговор без ненужных пустых фраз:

– Меня интересует ваша... – он замолчал, подыскивая слово.

– ...больная, – подсказал я.

– Совершенно верно. – И кривая улыбка проявилась в уголках его рта.

– Я Вас слушаю, – проговорил я, с интересом и небольшим волнением всматриваясь в неожиданного посетителя.

– Речь пойдет о Людмиле Доско, тридцати лет, которая неделю назад поступила сюда на лечение. Я бы хотел выяснить: с каким диагнозом она направлена, не появились ли у Вас сомнения в отношении ее состояния и Ваше мнение об этой больной.

– Мы расследуем одно убийство, а Людмила Доско была то ли подругой, то ли близкой знакомой убитой. Больше, как Вы должны понимать, я пока сказать не могу и комментировать это дело не имею права. Я и так сказал много.

– У нас от следователя не должно быть тайн. При поступлении в больницу данной больной диагноз не вызывал сомнения. Ее психическое расстройство было вызвано приемом большого количества алкоголя. Вся клиника, описанная врачом приемного покоя, только подтверждает это заключение. У нее наблюдались элементы патологического опьянения с явлениями страха, нарушением ориентировки и частичной потерей памяти. Без сомнения, это алкогольное опьянение было сознательным и добровольным.

– Сознательным... – повторил следователь, крепко сжимая зубами потухшую сигарету. И поднялся с места.

– Я Вам оставлю свой рабочий телефон. Если Вас что-то насторожит...

Но он не закончил фразу. В глазах его замелькали огоньки, как у гончих псов, которые пытаются разобраться в запутанных звериных следах. Молча и энергично протянул мне свою широкую ладонь с тонкими и крепкими пальцами и быстро покинул кабинет.

Часть вторая: ЛЮДМИЛА ДОСКО

Через день после встречи со следователем на мой рабочий стол легла докладная записка дежурной сестры о том, что Доско Людмила в ночное время перебралась в постель своей

соседки по палате и «при сексуальном сближении» укусила ее в левую грудь и в плечо.

Я вспомнил, что о подобном случае у меня был разговор с Антониной Павловной, по прозвищу «Графиня», которая тоже лечилась в этом отделении.

Я пригласил Доско на беседу.

Она вошла в кабинет, не поднимая глаз. Высокая, плоская, рыжеватая, веснушчатая, с крупным прямым носом, узкими губами, невысоким морщинистым лбом и каким-то надменно-брезгливым выражением лица.

– Людмила Трофимовна, – начал я разговор, – Вы здесь на лечении по поводу острой алкогольной интоксикации в связи с проявлением неразумной любви к вино-водочным напиткам. Правильно я говорю?

Женщина опускает голову еще ниже. Я, не рассчитывая на ее ответ, продолжаю:

– Но на Вас уже дважды поступают жалобы, которые гласят, что Вы проявляете «любовь» не только к водке. Я бы не хотел здесь такой проблемой заниматься, да и сложно мне по этому поводу вести беседу. Считаю, что Вы демонстрируете выраженный гомосексуализм. Вы причинили своей соседке физическую и даже психическую травму. Если это еще раз повторится, я обещаю Вам, что Вы очень раскаетесь в своем поступке. У Вас нет возражений? Вы не хотите мне что-нибудь сказать? – Тогда свободны.

Доско встала. На секунду я поймал тяжелый, полный ненависти и злобы, взгляд. И она поспешно исчезла за дверью.

Вечером я долго прокручивал в голове свою беседу с больной и решил позвонить следователю. На следующий день мы с ним встретились в моей комнате при больнице, где я жил.

Сизый подошел к окну, выходившему на хозяйственный двор, приоткрыл его и закурил сигарету.

На электрической плитке уже пыхтел чайник и на столе лежали бутерброды с сыром и колбасой.

– Людмила Доско... – решительно проговорил я, но он рукой остановил мое красноречие:

– Не надо! Я попытаюсь сам догадаться.

– Она... – пристально глядя мне в глаза, проговорил он, – поссорилась с соседкой и выболтала ей какую-то тайну...

– Нет! – вступил я в игру, – была ссора без тайны.

Сизый дотронулся указательным пальцем до своего лба и продолжил:

– Во время сна она сболтнула лишнее...

– Никто ничего не слышал, хотя спят очень беспокойно и часто кричат во сне.

– Ее навестил таинственный друг или была перехвачена важная записка.

– Она всеми забыта. Навещают ее редко и не пишут записок, – стараясь сдержать улыбку, произнес я.

– Сдаюсь!– Вы меня заинтриговали, – проговорил он, подвигая к себе горячую чашку чая.

– Я только произнесу два слова, но эта информация, возможно, будет для вас интересной: она – лесбиянка!

Следователь поставил недопитую чашку на стол, дожевал бутерброд и, посмотрев на часы, проговорил:

– По коням!

Он стиснул пальцы моей руки до боли.

– Я тебя попрошу (впервые обратился он ко мне на «ты»), Доско не выписывай, никуда не переводи, лучше не тревожь!

Долго был потом слышен стук его затихающих шагов из темного коридора. Через несколько дней, в очень раннее утро, к приемному покою психиатрической больни-

цы подкатила милицейская машина. Из нее вышли трое и, предъявив документы, с дежурным врачом отправились в корпус, в котором находилась Доско Людмила. Пока врач составлял выписку из ее истории болезни, Доско вывели в наручниках.

В отделении снова наступила утренняя тишина.

Часть третья: ПЕТР КЛЮЧИН

В один из субботних дней был обнаружен труп Галины Мороз, тридцатишестилетней актрисы провинциального театра. Первая убитую увидела соседка по этажу, забежавшая к ней поболтать Удивившись, что квартира открыта, зашла в комнату – и от ужаса чуть не лишилась рассудка.

Вскоре на пороге квартиры появился следователь городской прокуратуры капитан Сизый.

Убитая лежала на диване в легком шелковом халате, с залитым кровью лицом. На теле были обнаружены колото-резаные раны. Рядом с телом находилось и орудие убийства: электрический утюг и большой самодельный нож с деревянной ручкой, с длиной лезвия тридцать сантиметров. Утюгом был нанесен сильный удар в голову, а ножом с садистской жестокостью оставлены семь глубоких ран в районе шеи, груди и живота.

На столе стояли два стакана с остатками вина, а на тарелочке – нарезанная колбаса и соленые огурцы. А самих винных бутылок обнаружено не было. Вероятно, как представил себе следователь, к актрисе зашел ее хороший знакомый. Посидели, поговорили, выпили. Возникла непредвиденная ссора. «Гость» ударил женщину утюгом по голове, возможно, изнасиловал, со звериной жестокостью добил истекающую кровью женщину и, прихватив с собой самое ценное, скрылся.

Смерть, по заключению медэкспертизы, наступила между двенадцатью и часом ночи. Смерть наступила в результате глубоких ран в области шеи и сердечной сумки.

Нож и утюг принадлежали убитой.

Тщательный осмотр квартиры показал, со слов знакомых, что исчезло массивное золотое обручальное кольцо, золотые серьги с бриллиантами и тяжелая золотая цепочка.

На полу у стола валялась поношенная серая фетровая шляпа пятьдесят девятого размера.

Со слов соседей, Галина Мороз, разведенная, жила в двухкомнатной малогабаритной квартире с восьмилетней дочкой, которая сейчас гостит у родственников в связи со школьными каникулами.

Убитая была спокойной, приветливой, но гостей принимала редко. Работая в театре актрисой, часто домой приходила поздно. А дочку забирала ее престарелая тетка.

Одна из соседок вспомнила, что у Мороз несколько дней работал плотник, который ремонтировал ей гараж.

– Я даже с ним договорилась, чтоб поменял мне балконную дверь, – вздыхая, говорила она.

Накануне этой трагической ночи плотника видели у гаража. Его звали Петр Ключин.

Вскоре следователь и два милиционера входили в его квартиру. Квартира была служебной и находилась в подвальном помещении. У дома с мячом возился мальчик лет 3-4. Дверь им открыла молодая полная женщина с сине-багровым пятном вокруг левого глаза.

– Хозяин дома? – гаркнул милиционер, подходя к женщине вплотную. Он был выше ее почти вдвое и своим свирепым видом смертельно напугал ее.

– Спит.., – прошептала она, заикаясь от страха. Он отстранил ее рукой. Миновав темный коридор, все вошли в небольшую комнату.

У окна, на узком диване, лежал мужчина, уткнувшись лицом в подушку. Тот

же милиционер подошел к спящему и грубо стащил его на пол, быстро ощупав его карманы. Второй перетряхнул подушку и одеяло.

Следователь ногой выдвинул табуретку на середину комнаты, и мужчина с силой был усажен на нее. Один из милиционеров взял со стола графин с водой, понюхал его содержимое и плеснул добрую порцию в лицо задержанного. Тот окончательно очнулся, поморщился и, тараща испуганные глаза, с недоумением уставился на непрошенных гостей. Он был среднего роста, плотного сложения, широкоплечий, с темно-русыми густыми волосами, которые закрывали его невысокий лоб и доходили почти ло широких бровей. Короткий нос, толстые губы, большие темно-серые глаза с красноватыми прожилками и длинные руки с широкими кистями и короткими крепкими пальцами, с черными обломанными ноггями делали его похожим на боксера после нескольких раундов изнурительной борьбы.

Следователь зажег сигарету, выдержал определенную паузу и, решив про себя, что этот «буйвол» — твердый орешек, начал допрос:

— Я — следователь городской прокуратуры капитан Сизый. Прошу Вас ответить на мои вопросы правдиво, коротко и по существу.

— Фамилия, возраст, образование, профессия, состав семьи, была ли судимость, здоровье...

— Петр Иванович Ключин, двадцать пять лет, окончил восемь классов, плотник РСУ, женат, судимости не было, в сумасшедшем доме не был.

— Где Вы были в пятницу, начиная с семи часов вечера и... по минутам.

Петр бросил взгляд на жену, стоящую у двери, скользнул глазами по ее разбитому лицу и глубоко вздохнул.

— Сучка! Уже в милицию успела сбегать, — подумал он, — теперь упекут на пятнадцать суток и оштрафуют в придачу.

— Виноват, выпил чуток, — проговорил Ключин, раскаиваюсь в своем необдуманном поступке,— больше этого не повторится. Я могу и прощение у нее попросить. Ну, скажи им, Клавка, что ты не держишь зла на меня, — и повторно бросил уже умоляющий взгляд на жену.

Женщина тихо проговорила:

— Он — хороший, я на него не сержусь, сама налетела на дверной косяк, когда торопилась во двор. Не люблю, когда он выпивши, и боюсь скандала. Поэтому всегда ухожу, когда он приходит пьяный.

Ключин непонимаюше посмотрел на милиционеров.

— Повторите, в чем Вы раскаиваетесь? — задал вопрос следователь, и кривая усмешка пробежала по его лицу.

— В том, — пояснил Петр, запуская ладонь в свои густые волосы, — что с женой повздорил.

— Минуточку... — проговорил Сизый, приглашая хозяйку на кухню и плотно прикрыв за собой дверь.

— Клавдия Николаевна, — мягко произнес он, — к Вам у меня несколько вопросов:

— В котором часу муж пришел домой?

— Около двенадцати, — быстро проговорила женщина.

— Вы не могли ошибиться?

— Ей-богу, говорю чистую правду, в половине первого ночи он уже спал. Я возвратилась домой и легла на кушетку на кухне. Эти часы были у меня перед глазами.

— В каком состоянии пришел он? — задал еще один вопрос следователь.

— Был в сильном подпитии. Меня еще мать учила: с пьяным не спорь. Уходи от беды. И я так спешила, что сама налетела в темноте на дверь. Он

обычно страшно ругается, грозится, размахивает ручищами, но не дерется. На следующий день обычно молчит, прячет глаза и как будто совестно ему.

– Он из дома потом не отлучался?

– Я долго не спала, даже всплакнула, а он храпел до утра, как святой. Утром сбегал к пивному ларьку, побродил по квартире и уснул до вашего прихода.

– Как выглядела его одежда? Были ли на ней следы крови?

– Вот она, посмотрите, в полном порядке. Он, обычно, крепко держится на ногах, не кувыркается по грязи, не разбивается до крови.

Сизый внимательно осмотрел одежду, брошенную на стул в углу кухни, вытащил из кармана пятьдесят рублей и маленькое узкое золотое колечко. Женщина безразлично взглянула на деньги, но заинтересовалась колечком. Петр сидел на том же месте и допивал воду из графина.

– Ваши? – проговорил капитан и положил деньги с колечком на стол.

Ключин бросил равнодушный взгляд на находки.

– Мои. Я их получил за работу по ремонту гаража от Галины Мороз. Работы было предостаточно. Мы сговорились на эту сумму, а хозяйка еще поставила бутылку водки.

– А кольцо тоже получил за добросовестный труд?

– Кольцо нашел в гараже и носил его больше недели в кармане. Я даже сомневался, что оно принадлежит ей, так как очень маленькое, почти детское. Но я просто забыл о нем и при случае верну.

– Пожалел волк кобылу... – усмехнулся следователь, глядя своими немигающими глазами в лицо Ключина.

– Не понимаю, что Вы хотите от меня, – пролепетал плотник, стиснув зубы.

– Вечером, в пятницу, Вы закончили ремонт гаража и получили деньги за работу. Так я понимаю? А дальше что произошло? ...Ну! – Ключин вытер проступивший пот на лице.

– Галина Мороз угостила меня водкой, но не разрешила напиваться, дала остаток с собой. Я по дороге к дому допил бутылку. И все!

– Дальше, что еще можете рассказать, – не скрывая неприязни, проговорил следователь.

– Вы, товарищ капитан, спросите у самой Мороз. Она женщина строгая и ничего лишнего между нами не было.

– Будешь говорить? Или тебе напомнить? – с силой в голосе проговорил следователь и от волнения встал со стула.

Петр замотал головой, как бык на привязи, раздул от напряжения ноздри, и красные пятна выступили на его лице.

– Выпил, пришел домой, никого не тронул, а у жены я еще раз могу попросить прощения. Колечко обязательно верну. Цена ему – ломаный грош.

– Ты его уже не вернешь, – взяв себя в руки, пробасил Сизый, – и прекрасно знаешь, почему. Ты, – он сделал паузу... – изнасиловал, убил и ограбил Галину Сергеевну Мороз. Скажи, где еще кольцо, цепочка, серьги?

У Петра Ключина отвисла губа, он вытаращил глаза и вскочил на ноги – табуретка с грохотом отлетела в сторону. Стоящий рядом с ним милиционер нанес ему удар кулаком по затылку и сбил его с ног. Второй подскочил, заломил ему руки за спину и одел наручники. Женщина в ужасе подняла руки к лицу и что-то крикнула.

– Мы все уже знаем, – продолжал говорить следователь, глядя на лежащего на полу Ключина. – Ты, я еще раз повторяю: изнасиловал и убил несчастную женщину. Твое признание – только формальность.

Плотник закатил глаза, на губах выступила желтоватая пена.

– Гады! Что вы делаете? Вы сломали мою руку!

— Руки тебе больше не понадобятся. Говори! Все расскажи, сволочь! Как убивал, надругался, со звериной жестокостью разрывал ее тело ножом.

— Я ничего не знаю, пальцем ее не тронул. После моего ухода она была жива и весела. Я ее не убивал! Меня видели все соседи. Я не сумасшедший, чтобы у всех на глазах стать убийцей.

— Где твоя шляпа?

— Шляп никогда не носил, только соломенную — на рыбалку.

Милиционеры подняли Ключина с пола и повели к машине.

Обыск в его квартире ничего не прояснил. Семья жила очень скромно. Денег всегда катастрофически не хватало, жена его не работала, сидела дома с ребенком.

Часть четвертая: ГАЛИНА МОРОЗ

Вечером, находясь в камере предварительного заключения, он сидел на железной табуретке, прочно закрепленной в бетонный пол. Петр Ключин со страхом и недоумением прокручивал в своей голове все то, что с ним произошло: арест, ужасное обвинение и полнейшее недоверие к его словам. С Галиной Мороз он познакомился случайно. Она сама подошла к нему после репетиции в театре, когда он врезал новый замок в ее театральную уборную. Она внимательно посмотрела на него и очень мелодичным голосом пояснила, что ей необходим плотник для ремонта гаража. Он тогда просто обалдел — раньше никогда не видел вблизи таких удивительных женщин: высокая, в меру полноватая, с высокой грудью в темнобархатном платье, которое выгодно подчеркивало ее прекрасные формы тела. Изящные туфельки на высоком каблуке под цвет платья, длинные ресницы, ярко-пунцовце полные губы, фиолетовый маникюр длинных и тонких пальцев, нежный аромат духов — сразили его наповал.

Через несколько дней он уже был у нее в квартире. Встретила его совсем другая женщина. Без того яркого мишурного блеска, с уставшим бледным лицом и в домашнем платье.

— Я Вас уже жду, — сказала она спокойным голосом. — Я хочу привести гараж в порядок, чтобы затем его продать. Как Вы понимаете, ему надо придать товарный вид.

Показала гараж.

— Двери, крышу и кое-что по мелочам необходимо обновить, — проговорил он, — если купить краску, запорное устройство для двери, то необходимо израсходовать не менее пятидесяти рублей. Я согласен привести Ваш гараж в приличный вид за названную сумму, но при расчете с Вас... — он замолчал, пристально глядя на золотой медальон, висевший на тонкой цепочке, почти выдохнул слова, — вино, закуска и любовь. Первые два условия необязательны.

Женщина вздрогнула, высоко подняла брови и легкий румянец коснулся ее щек.

— Но я для Вас уже стара и чаще вспоминаю про любовь по сюжетам спектаклей.

Ей как-то называли общую сумму ремонта гаража в пределах двухсот рублей. Она быстро оглядела крепкую и достаточно сильную его фигуру. Он перед встречей с ней тщательно выбрил щеки, надушился «шипром» и надел светлую сорочку. От него веяло энергией и молодостью.

— При расчете, — повторила она, — я Вас накормлю, куплю бутылку, но пьяных не терплю.

— Кстати, — в заключение сказала она, — надеюсь, что Вы будете приходить трезвым, иначе я буду вынуждена подыскать другого специалиста.

В последнюю пятницу он пришел к восьми часам вечера, только через час появилась она.

— Вы меня простите, задержалась на работе, хорошо еще, что знакомый подбросил на машине, — запыхавшись от быстрой ходьбы, проговорила она. Подошла к гаражу, потрогала замок, провела пальчиком по окрашенной стенке и с улыбкой пригласила в свою квартиру.

— Вы пока займитесь бутылками. Мне чуть-чуть вина. На водку не налегайте, допьете у себя, — и протянула пятьдесят рублей за «стройматериалы».

Он разлил вино, себе налил только одну треть стакана «Московской» и откинулся на спинку кресла.

Женщина успела переодеться в соседней комнате и, когда она появилась перед ним, ему показалось, что это королева из сказочной страны. Густые шелковистые волосы свободно лежали на плечах, на красивой шее желтым пламенем светились янтарные бусы, тонкое шелковое платье, перехваченное в талии широким поясом, делали ее мистически привлекательной.

— Вы очень красивы! — Только и мог сказать он и залпом проглотил горьковатую жидкость.

Женщина подошла к окну и прислушалась. Квартира находилась на первом этаже и ей почудился какой-то скрип за окном. Он ничего не услышал: было тихо и только где-то звучало фортепьяно.

— Это стучит мое сердце, и звуки распространяются по натянутым нервам, — проговорил он, стараясь вспомнить поэтические строчки своего любимого поэта Лермонтова.

— Я не всю жизнь работал плотником. Когда-то учился в школе, пытался поступить в техникум, мечтал о профессии лесовода.

— Служба в армии, ранняя женитьба, да и вино выстроило передо иной непробиваемую стену. Живу так, как писал Лермонтов:

Живу без цели, беззаботно,
Для счастья глух, для горя нем,
И людям руки жму охотно,
Хоть презираю их меж тем!...

Галина зажгла настольную лампу и отключила верхний свет. Присела на край дивана. Он приблизился к ней и сел рядом. Глаза их встретились. Он увидел в ее глазах волнение и тревогу.

— Может быть, не надо? — тихо проговорила она. — Я тебя совсем не знаю, старше тебя, отвыкла от мужчин, холодна, даже моя фамилия Мороз говорит об этом.

Он положил руку на ее плечо, провел ладонью по спине и с силой привлек к себе. Она почти не сопротивлялась его объятиям. Нашел ее влажные полные губы и прижался к ним.

— Не так сильно и энергично, — прошептала она, — кожа у меня тонкая и нежная и я не хочу, чтобы на ней остались следы...

Он почувствовал ее мягкие теплые руки на своей шее и жаркий шепот почти неподвижных губ.

— Милый, дорогой, не спеши, так хорошо! — Она откинула голову, вся выгнулась и прислонилась податливым телом к его пылающей груди.

Что-то она ему говорила и часто повторяла:

— Не спеши... мне хорошо!

Взяла его руку, дотронулась до нее губами, поднесла к своей груди, провела по своему животу и с силой прижала к внутренней поверхности бедра. Тихо засмеялась.

Они долго сидели в полутемной комнате, молчали, и с лица женщины не сходила улыбка. Почувствовав его взгляд, проговорила:

– Блеск твоих глаз сводит меня почти с ума. Закрой их, не говори ничего.

Часы пробили одинадцать. Галина встала, зажгла верхний свет, на минуту забежала в ванную комнату. Затем подошла к нему, внимательно его оглядела и краем влажной салфетки сняла с его шеи, губ, щеки следы помады. Завернула в газету почти полную бутылку водки, отрезала добрую половину палки «полтавской» колбасы.

– До свидания, мой рыцарь, – с серьезным выражением лица проговорила она и мягкой ладонью коснулась его губ.

– Ты не «мороз», а «пламя», – думал он вслух, шагая в сторону своего дома. По дороге присел на скамейку и допил бутылку водки. Долго смотрел в темное, беззвездное небо и ему казалось, что он видит гигантскую лестницу со ступеньками и перилами, ведущую в космическую даль.

Внезапно вспомнил жену, мать, которые часто между собой ссорились по пустякам. Появилось раздражение и злоба к жене:

– Я очень люблю и уважаю маму и не дам ее в обиду. Мамочка, дорогая, я тебя защищу! – Все громче звучали такие мысли в его затуманенной голове. На глаза навернулись слезы.

– Кто здесь хозяин? – спросил он внезапно себя, – и не найдя ответа на поставленный ребром вопрос, неверными шагами направился к дому, забыв на скамейке пакет с колбасой.

Часть пятая: ЖОКИН

Капитан Сизый в воскресный день навестил всех соседей убитой и обошел близстоящие дома.

В ту ночь никто особенного ничего не заметил. Только одна – соседка по этажу, слышала быстрые шаги по лестнице и громкий стук наружной двери.

– Время было далеко за полночь, – говорила она, – и меня шум возмутил – поэтому и запомнила.

Пожилой господин, куривший на балконе этажом выше, утверждал, что из квартиры около часу ночи струился свет. Но, когда узнал, что там было совершено убийство, у него появились сомнения.

– Я боюсь ошибиться и кто-то незаслуженно понесет наказание, – шамкал он беззубым ртом, щуря свои старческие глаза.

Вечером следователь направился в театр на встречу с коллегами убитой.

Когда-то в этом здании, построенном на фундаменте разрушенной церкви, размещался райком партии. В дальнейшем для райкома было построено более современное здание с просторными апартаментами, а старое передали театру.

Сизый переговорил с режиссером, артистами и выяснил, что в пятницу последний видел Галину Мороз звукорежиссер Жокин Альберт Степанович. Это был выше среднего роста, краснокожий, с мясистым носом и двойным подбородком мужчина. Небольшую плешь на макушке он умело прикрывал зачесанными на сторону реденькими светло-рыжими волосами. Любил выпить, поволочиться за женщинами, сыграть в карты на деньги и пустить в ход кулаки, если чувствовал, что соперники слабее. Немного побаивался жены – заведующей заводской столовой. За глаза его называли «Жопа», то ли потому, что его фамилия легко переделывалась в «Жопин», то ли за его крупные габариты.

– Галина спешила домой, – говорил Жокин, подмигивая красноватыми глазами, я ее добросил до рыночной площади. По дороге почти ни о чем не говорили. Так... – обычный разговор. Я ей тогда сказал, что она с каждым днем все

хорошеет и расцветает. В коллекции моей нет, к сожалению, подобного цветка.

Она смеялась и возражала, что от женатых комплименты ее не волнуют. А в коллекции любой цветок обычно вянет...

Она вышла из машины, помахала мне ручкой и, не оглядываясь, исчезла в переулке.

Альберт Степанович вытер вспотевшее лицо и откланялся.

В своем кабинете капитан Сизый проанализировал свои записи и набросал план дальнейших действий. Во-первых, — подумал он, — кто-то был в квартире убитой после полуночи. Может быть, оставшаяся шляпа принадлежит ему. Во-вторых, убитая находилась в легком халате, надетом на голое тело. Только близкому человеку она могла бы показаться в таком виде. В-третьих, с Петром Ключиным я немного погорячился. Необходимо ему показать фотографию трупа, выяснить, во что она была одета в момент их встречи, видел ли он утюг и нож — орудия убийства. И что он думает сам о трагедии? В-четвертых, в театральную уборную несколько раз забегала к Галине Мороз некая Галина — на правах подруги. Необходимо ее найти и поговорить. В-пятых, переговорить повторно с Альбертом Степановичем и выяснить: в какое время он пришел домой. Это — мое упущение, — с сожалением констатировал следователь и вызвал машину.

В квартире Жокина его встретила мощного вида женщина и, скользнув глазами по удостоверению, уверенно заявила:

— В пятницу он пришел в половине первого ночи. Он часто задерживается у приятелей за бутылкой вина и картами. Я даже начинаю иногда подумывать: нужен ли мне такой муженек? В тот вечер он явился слегка под мухой и был не в духе.

В эту минуту щелкнул замок и в комнату протиснулся сам Жокин. Увидев следователя, забеспокоился, с лица сползла улыбка, а глаза забегали по сторонам.

— Альберт Сергеевич, добрый вечер! Извините, что пришел без приглашения. Но, если бы я надеялся, что со мной кто-то захочет встретиться, то был бы без работы. У меня к Вам один вопрос: с кем и где провели Вы тот вечер, когда расстались с Галиной Мороз на рыночной площади. Я хочу получить от Вас адрес и телефон.

— Все несчастья сваливаются на несчастную голову от доброты, — глядя на жену недобрым взглядом, — проговорил Жокин. — Сделал хорошее дело, довез женщину почти до дома, а потом доказывай всем, что ты не осел. Но я, длинноухий, не совсем уловил смысл вашего вопроса.

— Поясняю, — повторил Сизый невозмутимо: — Я хочу знать, где Вы были в тот вечер, когда произошло зверское убийство Галины Мороз?

Альберт Степанович перевел глаза с побледневшего лица жены на следователя и, выдержав его взгляд, почти взревел:

— Это — сверхвозмутительно! Вы врываетесь в мою квартиру и разговариваете со мной, как с преступником. Я уже разъяснил, что с Мороз расстался около девяти вечера и больше ее не видел. Где я был и с кем — это мое личное дело!

Следователь, не ожидавший такого поворота, подошел к окну.

В комнату вошел милиционер, и на его огромном фоне Жокин сник и обмяк, даже стал казаться меньше ростом.

— Я вынужден Вас задержать по подозрению в убийстве гражданки Мороз и Вам придется в другом месте доказывать, что Вы не принадлежите к классу длинноухих, по Вашему выражению.

Жокин дернулся в сторону, милиционер дотронулся пальцами до кобуры и арестованный покорно вышел из комнаты. Обыск его квартиры ничего не дал, если только не считать, что по количеству сервизов, хрусталя и серебряных приборов он опередил даже накопления некоторых членов партийной элиты.

В камере предварительного заключения Жокин сразу постарел, осунулся.

Под глазами ярче выступили темные круги, лицо еще больше побагровело.

С трудом переступая ватными ногами, подошел к нарам и прислонился спиной к холодной и влажной стене и задумался:

– Это оскорбление и произвол, я – заслуженный работник культуры, член КПСС, а со мной, как с преступником.

Он сжал виски руками и закрыл глаза.

Часть шестая: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

С Людмилой Доско, подругой Галины Мороз, следователь встретился в психиатрической больнице. Она была госпитализирована с диагнозом острой алкогольной интоксикации. День поступления ее на лечение совпал со временем убийства актрисы.

Доско уже знала о гибели подруги. На лице ее отражались страдание, боль и даже стыд, что она здесь, а не рядом с Галиной. Она плакала, размазывая слезы по лицу и причитала:

– Она была хорошая, добрая, врагов не имела, с бывшим мужем рассталась почти спокойно, и он сейчас где-то за сотни верст. Мужчин как будто даже избегала, очень не любила выпивших. С ней я последнюю неделю не виделась, так как сама много пила. Она меня часто поругивала за это, но я с собой ничего поделать не могла, да и не хотела, если говорить правду. У нее последние дни работал плотник – неприятный тип с глазами жулика и пройдохи.

К концу беседы Доско вспомнила, что однажды на улице она ее встретила с очень высоким стройным мужчиной. Он был в шляпе и сером плаще. Лица его почти не запомнила, но рост, как у баскетбольных звезд.

– Мне Галина потом пояснила, что это ее большой старинный друг, работник мебельного комбината по фамилии Чулков.

Капитан Сизый, прихватив найденную шляпу, поехал на комбинат.

В отделе кадров, к своему удивлению, он легко вышел на Андрея Васильевича Чулкова, снабженца, который в данный момент находился в командировке. И командировка начиналась с того дня, когда произошло убийство.

Он предъявил работникам комбината шляпу, найденную на месте преступления. Одна сотрудница взяла ее в руки, повертела перед своими глазами и уверенно произнесла:

– Шляпа товарища Чулкова, он часто забывает ее на работе и размер ее большой – пятьдесят девятый. Кто у нас еще имеет такую крупную голову? – Только Андрей Васильевич.

В тот же самый день в квартире Чулкова был произведен обыск. В ванной комнате была обнаружена белая сорочка со следами крови на манжете. В прихожей – серый пиджак, на лицевой стороне которого пятно крови.

Следователь обошел всех соседей по дому и выяснил, что Чулков въехал в квартиру – по обмену, три года назад. Спокойный, малообщительный, трезвенник, холостяк, владелец легковой машины «Победа».

– В тихом омуте черти водятся, – подытожил Сизый. Его несколько насторожила легкость, с которой он напал на след убийцы.

Чулкова арестовали на перроне вокзала при возвращении из командировки. Он сопротивления не оказал, был спокоен и невозмутим.

В кабинете следователя с него сняли наручники, и один из милиционеров остался с ним в комнате.

Арестованный был очень высок, несколько сутуловат и узкоплеч.

Волосы коротко подстрижены, редкие усы и страдальческий взгляд маленьких светло-серых глаз сквозь большие металлические очки.

– Я – следователь городской прокуратуры капитан Сизый Владимир Петрович. – С этих слов начался допрос:

– Назовите себя...

– Чулков Андрей Васильевич, сорок четыре года, образование высшее, вдовец, под судом не был, в психиатрической экспертизе не нуждаюсь, – тихо проговорил арестованный, подбирая более точные слова для ответа. Следователь кивнул в сторону небольшого столика, на котором лежали: шляпа, пиджак и сорочка.

– Вам принадлежат эти вещи?

Чулков, скосив глаза в сторону вещей, спокойно, почти равнодушно, ответил:

– Пиджак и шляпа – мои, а сорочка – не вполне уверен.

– Шляпа была обнаружена рядом с телом убитой Галины Мороз, а на ваших вещах кровь и экспертиза подтвердила, что эта... – следователь замолчал и с силой сжал руку в кулак до побеления.

– Вы, гражданин Чулков, подозреваетесь в убийстве с особой жестокостью Галины Мороз, и чистосердечное прзнание вины смягчит наказание.

– Гражданин следователь, Вы меня обвиняете в преступлении, которое я, с Ваших слов, совершил неделю назад. Вы от меня требуете чистосердечного признания, хотя сами не уверены в правоте своих слов.

– Я Галину Мороз не убивал. И, следовательно, виновным себя не признаю. Во время командировки я много передумал, а, главное, успокоился. У меня появилось свое мнение об этой трагедии. Я зашел в квартиру Галины Мороз в половине первого ночи. Она была уже мертва. Дверь полуоткрыта. Я зажег свет, снял шляпу и положил ее рядом с гитарой на стоящий у двери стул и подошел к дивану. «Галочка заснула, не дождавшись меня», – промелькнула в голове мысль. Рука коснулась чего-то мягкого, влажного, темноватого. Я отшатнулся, увидев, что она с залитым кровью лицом и огромной раной в области шеи, лежит на диване, а кровь ручейком стекает на пол. Это нельзя описать! Я дотронулся до безжизненно свисающей руки. Она была сжата в кулак, пульс отсутствовал. Я прикрыл ее лицо простыней и быстро покинул это ужасное место. Я убежал, как заяц, как трус, и ноги сами несли меня к дому. Я боялся вас: милицию, прокуратуру, суд... Я не имел алиби. С Ваших слов – чистосердечное признание – это казнь более гуманными мягкими пулями, чтобы я не сразу умер, а чуть-чуть помучился. Хорошо помню, как был осужден мой отец – и уничтожен! Его реабилитировали, но...только через двадцать лет. Я не хотел повторить его путь и превратиться в тюремную пыль. Но Вы меня нашли, и я почти успокоился. Это – не парадокс: меня ночью никто не видел, я никому не говорил о нашей встрече. Она произошла в такое позднее время чисто случайно. Но меня, очевидно, видел убийца и узнал. И я делаю заключение: только преступник мог вывести на мой след.

Сизый молча слушал, не перебивая Чулкова, и делал пометки в своем необъятном блокноте.

– Галину Мороз, – продолжал Андрей Васильевич, – я знал очень хорошо. Мы когда-то дружили семьями. Моя жена работала с ней в одном театре. Но я стал вдовцом, Галина развелась, и наши встречи стали очень редкими. В молодости я любил выпить. Уже после смерти жены перенес тяжелую операцию желудка и пищевода. После этого стал трезвенником, уменьшилось половое влечение к прекрасному полу и теперь живу один.

Накануне того трагического вечера позвонила мне Галина на работу и попросила помощи в продаже гаража. Я раньше ей советовал привести его в

божеский вид и продать. У них раньше была машина, а теперь гараж ей ни к чему. Я дал согласие и попросил сто пятьдесят рублей взаймы на командировочные расходы. Договорились встретиться после одиннадцати. Я замотался со сборами и на час позднее, по старой дружбе, отправился к ней.

Чулков умолк и повернул лицо в сторону окна.

– Больше ничего не знаю. К убийству не имею никакого отношения. Только маньяк, бандит-гастролер способен на это чудовищное преступление. Врагов она не имела. Голос по телефону был бодрый и жизнерадостный.

Капитан Сизый уточнил:

В котором часу Вы вошли в квартиру Мороз? Сколько времени там находились?

– В половине первого ночи и не более пяти минут.

– Что за гитара находилась в комнате?

– Гитара семиструнная. Раньше у Галины гитары не видел. Она хорошо играла на рояле и прилично пела.

– Что стояло на столе?

– Что-то лежало из закусок... стояли рюмки, но винных бутылок я не приметил.

– После ухода из квартиры свет выключили?

– Я очень спешил покинуть это страшное место и забыл шляпу и свет, помню, не выключил. По дороге никого не встретил, сам был в шоке. И я еще раз повторяю: настоящий убийца знал меня в лицо или был нашим общим знакомым.

Следователь протянул протокол допроса, Чулков, почти не читая, подписал. И добавил: «Я не убивал!».

Часть седьмая: ЛЕСБИЯНКА

Через несколько дней в камеру предварительного заключения из психиатрической больницы была доставлена Доско Людмила Трофимовна, тридцати лет, завхоз детского сада – по подозрению в убийстве Галины Мороз.

При обыске в ее квартире были обнаружены: широкое обручальное кольцо, которое, по предположению, принадлежало Галине Мороз, и семиструнная гитара с надписью на металлической пластинке: «Людмиле Доско в день рождения от сотрудников детского сада».

Во время допроса у Доско наблюдалось пониженное, тоскливое настроение. Она высказывала суицидные мысли о самоубийстве и полностью признала себя виновной в убийстве Мороз.

– Я была, как во сне. Помню, что схватила утюг и очнулась только по дороге к дому. Вину признаю полностью.

Людмила Доско была направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

Они познакомились в детском саду, куда Галина водила свою дочь. Обе жили без мужей: одна развелась, у другой разбился на мотоцикле, когда они возвращались от друзей. Муж скончался в больнице, а Людмила долго лечилась по поводу сотрясения мозга.

Однажды при разговоре Мороз пожаловалась на боль в спине. Доско пригласила ее в свой небольшой кабинетик, уложила на кушетку и своими сильными руками с помощью массажа, которым она владела, сняла болевые симптомы. Галина была в восторге и пригласила ее к себе домой. С этого дня они стали встречаться.

Она умело проводила сеанс массажа – быстро снимала боль, показывала приемы самомассажа и между ними вскоре возникли отношения лесбийского

характера. Доско неплохо играла на гитаре и знала много народных песен.

Она, часто обнимая Галину, яростно прижимая к своему сильному и горячему телу, умело воздействовала на эрогенные зоны, чем приводила ее в сильное сексуальное возбуждение.

— Зачем нам мужчины? — обычно говорила она, — они все такие неопрятные и дурно пахнущие, волосатые, как животные и ничего не смыслят в любви: сексуально малоактивны, обладают малой потенцией. Грубы и среди них много пьяниц. А мы, женщины, хотим чуткости и нежности, любви. Только мы способны на возвышенные чувства!

Вначале от такой ласки, объятий, слов любви Галина Мороз приходила в восторг и чувствовала себя легко и свободно и ей казалось, что она молодеет от таких встреч. Но со временем эти любовные игры стали ее утомлять, раздражать, приедаться, как постная еда без соли и перца.

Вечером, перед сном, подходя к трельяжу и всматриваясь в свое отражение в зеркале, выискивая новые морщинки и едва заметные серебряные нити в волосах, думала:

— Неужели я только и способна на суррогатную любовь? — Печаль и грусть разъедали ее сердце, и на красивом лице появлялась горькая улыбка.

Доско это почувствовала, и между ними как бы пробежала черная кошка. Стало возникать недопонимание, переходящее в ссоры. Людмила Доско стала приходить на свидания выпившей. Требовала послушания, любви и взаимности. Появилась ревность, недоверие, подозрительность, которые с каждым разом все усиливались под влиянием алкоголя.

Несколько дней они не встречались. В ту пятницу, прихватив с собой бутылку вина и гитару, она отправилась к Галине, чтобы покаяться и даже попросить прощения за свое поведение.

Но Галина была не одна. Увидев сквозь оконное стекло ее лицо, ярко горящие глаза, своего мерзкого соперника, стол с бутылками вина, которые раньше Мороз так ненавидела, а затем комнату, погрузившуюся в полумрак!..

Доско восприняла это, как плевок в душу, как оскорбление ее чувства.

Прислонила гитару к выгнутой спине и зубами отковырнула пробку на принесенной с собой бутылке. Пила прямо из горлышка, не чувствуя вкуса вина. Опьянение не наступало. Около нее вертелся какой-то тип, она с трудом различала тщедушную фигуру и слышала его булькающий голос. Доско зло замахнулась недопитой бутылкой — и он растворился в темноте.

Вскоре Людмила уже входила в квартиру Мороз. Та, увидев ее в состоянии опьянения, согнав с лица улыбку, проговорила:

— Мы с тобой договорились, чтобы ты приходила ко мне трезвой и только после предварительного звонка. Но ты просто неисправима! Сейчас ко мне должен прийти знакомый по делу и я не хочу, чтобы он застал тебя здесь в таком виде.

Доско молча, плечом, отстранила ее, вошла в комнату, прислонила гитару к стулу, стоящему у двери, и уселась на него.

— Уже двенадцать часов ночи! Неисправима — это ты! — зло проговорила она. — Я всегда была права. Не успев выпроводить одного любовника, уже ожидаешь другого! А халат надела на голое тело, чтоб не церемониться с раздеванием... Ты — самая последняя тварь! Я останусь посмотреть, кто еще встал на моем пути?

— Немедленно уходи, — испуганно прошептала Галина и положила руку ей на плечо. Она очень боялась скандала и не хотела, чтоб он просочился за порог квартиры.

Людмила с побледневшим лицом поднялась со стула, схватила стоящий на подставке недалеко от нее утюг и ударила им свою бывшую подругу по голове.

Часть восьмая: КАПИТАН СИЗЫЙ

Следователь любил приходить в свой кабинет пораньше. В эти часы можно было без спешки подойти к окну, покурить и, положив перед собой очередное дело, спокойно поразмышлять.

В одиннадцать утра назначена встреча с прокурором и необходимо еще раз проанализировать все то, что накопилось за последние дни.

Он взял чистый лист бумаги и четким почерком написал: «Месть лесбиянки. Ниже приписал: последние дни актрисы Галины Мороз». И поставил цифру один:

1) Жокин: звукорежиссер, последний раз видел Мороз в девять часов вечера. На него поступил запрос из Областной прокуратуры и заведено дело по поводу организации притона с девочками и наркотиками. В тот вечер был занят своим преступным бизнесом. К убийству Галины Мороз отношения не имеет.

Поставил цифру два:

2) Ключин – плотник. Находился в квартире Мороз с девяти до одиннадцати вечера. К убийству непричастен. Будет проходить по делу как свидетель.

Поставил цифру три:

3) Чулков – снабженец. Находился в квартире убитой в половине первого ночи. Его алиби пока под вопросом.

Поставил цифру четыре:

4) Доско – завхоз детского сада. Подследственная взяла полностью вину в убийстве на себя. Она посещала квартиру Галины Мороз дважды: в одиннадцать тридцать вечера и в час ночи. Первый раз – после распития спиртного, в результате взаимной ссоры, ударила подругу утюгом по голове (около двенадцати ночи). Дальше, по ее словам, наступил как бы провал памяти: очнулась я около своего дома и вспомнила, что оставила гитару в квартире Галины... как замахнулась утюгом... и меня охватил панический страх:

– Может быть, она сейчас истекает кровью и нуждается в медицинской помощи... а рядом с ней находится гитара с моими инициалами. И я повернула назад. Недалеко от ее дома мимо меня пробежал долговязый мужчина и чуть не сшиб меня с ног. Второй раз вошла в комнату в час ночи. Дверь была полуоткрыта, горел свет. Она лежала на диване, укрытая простыней, пропитанной кровью, голова ее была запрокинута и тоже вся в крови. Рука, зажатая в кулак, безвольно свисала вниз. Я дотронулась до нее: холодная..!

– Я ничего не могла понять, помнила только, что схватила утюг и замахнулась. И все! Но я не отрицаю, что убила Галину Мороз, у меня нет сомнений, я – убийца. Рядом с диваном лежало ее обручальное кольцо, я машинально подобрала его и положила в карман. Но я – не грабитель! Я знала, где хранила Галина деньги и драгоценности: в плюшевом медвежонке, висевшем над кроватью дочери. Перед тем, как покинуть квартиру, я огляделась: на столе уже не было бутылки вина, а рядом с моей гитарой лежала мужская шляпа. Я взяла гитару, выключила свет и с тяжелым чувством отправилась домой. Дома вымылась и переоделась. Мне казалось, что руки у меня в крови, а из душа течет не вода, а кровь...

После ванны меня стал бить озноб и зубы стучали, как в лихорадке. К утру не выдержала, выпила сто грамм разведенного спирта и вышла на улицу. Очнулась – в психиатрической больнице.

Капитан Сизый еще раз внимательно перечитал показания Доско. Следствие как будто завершено. На предъявленном обвинительном заключении Доско написала: вину признаю полностью. Дело на Л.Т.Доско можно передавать прокурору, но... если бы было все так просто... Сизый задумался:

Во-первых, судебно-медицинская экспертиза сделала ретроспективное заклю-

чение, что у Доско Л.Т. в момент ссоры с Мороз Г.С. наблюдалось патологическое опьянение на фоне тяжелой, в прошлом, черепно-мозговой травмы с аффектами злобы и агрессии, с частичной амнезией или – потерей памяти. Такое опьянение приравнивается к временному психическому расстройству, при котором человек не отдает отчета в своих действиях. Он не в состоянии руководить ими.

Во-вторых, и это существенно: биологическая экспертиза показала, что в кулаке убитой был зажат клок волос, не идентичный никому из подозреваемых. И, главное, на что нужно обратить внимание: Галина Мороз за несколько минут до убийства была изнасилована. У Доско имеются явные признаки патологического полового влечения, но изнасиловать, в полном смысле этого слова, она не в состоянии.

Капитан начертил на бумаге цифры: 12–0,30 и обвел их овалом. В этот промежуток времени, можно предположить, что в квартире побывал еще кто-то. Неизвестный, увидев на полу в бессознательном состоянии женщину, перенес ее на диван. При изнасиловании она пришла в себя и вцепилась ему в волосы. Тот, с садистской жестокостью, ножом, который был на столе, прикончил несчастную жертву. Сорвал с нее золотые сережки, прихватил тяжелую цепочку. Но его в тот момент, возможно, вспугнул Чулков, и неизвестный, успев только выключить свет, поспешно покинул квартиру.

Следователь еще раз перечитал показания Доско: «...около меня вертелся какой-то тщедушный тип. Я на него замахнулась бутылкой, и он исчез в темноте...» Этот «тип» мог проследить, куда пошла Людмила после распития бутылки. Но это всего лишь предположение!

Сизый подвинул к себе чистую папку и написал на ней: Дело №21, затем набрал номер телефона районного отделения милиции, которое обслуживало привокзальную и рыночную территории города.

ЭПИЛОГ

Сизого я встретил через месяц после описанных событий на территории больницы, у небольшого фонтана. Он сидел на каменной ступеньке и держал во рту неизменную сигарету.

– Опять кто-то пытается спрятаться за больничными стенами от правосудия? – проговорил я и присел рядом. Он неопределенно пожал плечами:

– В этой больнице лечится подросток, отец которого находится в следственном изоляторе по подозрению в убийстве. Я понимающе покачал головой.

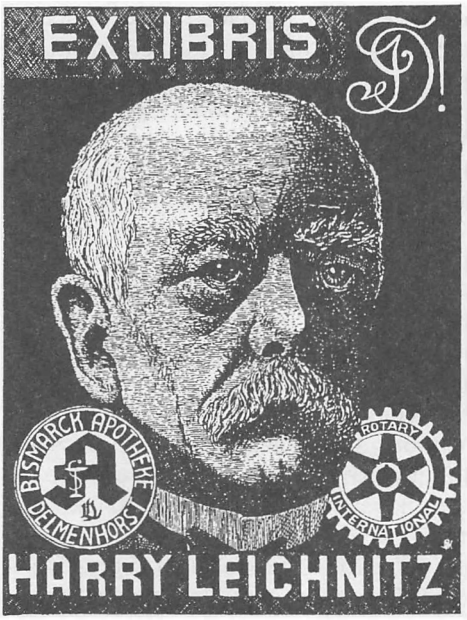
– А чем закончилось дело Доско, если не секрет?

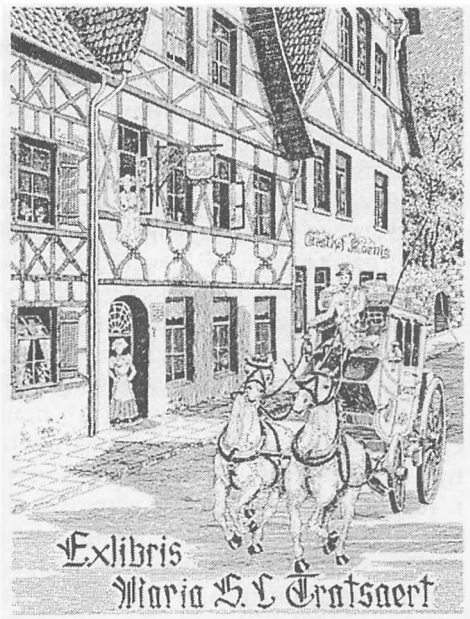
– Суд пока не состоялся, Доско проходит еще одну судебно-медицинскую экспертизу. Но сейчас у нас находится маньяк-гастролер по подозрению в изнасиловании, убийстве и ограблении Галины Мороз. Он увидел Доско у привокзальной площади и последовал за ней. Она и привела его в квартиру очередной жертвы.

Капитан вытащил из своей кожаной папки потрепанную тонкую книжечку.

– Это – не Уголовный кодекс, а «Петербургские повести» Гоголя. Гоголь – необыкновенный писатель! Он помогает лучше понять человека. Лучше разобраться в его внутреннем мире, а также полюбить людей, даже, если они этого не заслуживают. Послушай, как он пишет: «Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена. Я первым открыл это...»

Следователь захлопнул книгу и поднялся с места. Кивнув на прощание, пошел навстречу подъезжавшей милицейской машине.





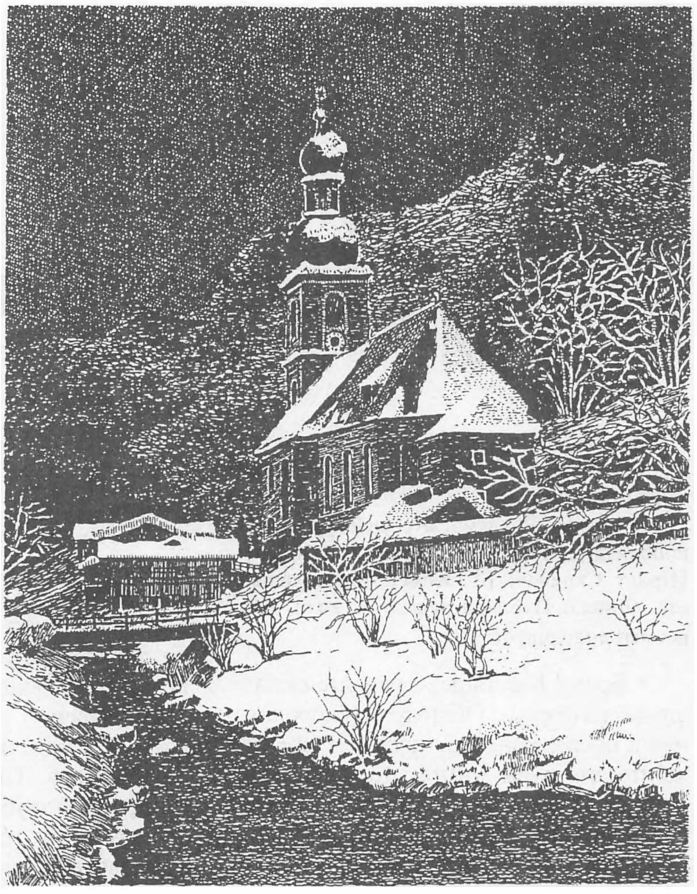
Экслибрисы и рисунки Бернхарда КУЛЬМАНА

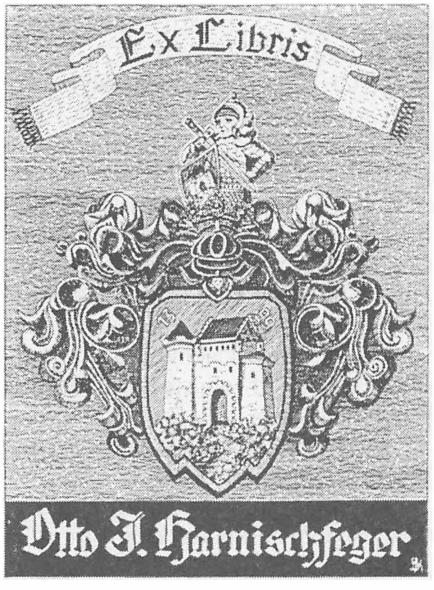
Дельменхорст

Gutshof, 1949, Federzeichnung



Ramsau
bei Berchtesgaden.
1977, Federzeichnung









Яков ЛАНДА
Ганновер

Постояльцы

ВОДЕВИЛЬ

Декорации – квартира на последнем этаже. Крыша – в начале и конце спектакля – задворки вокзала.

Увертюра. Реклама, мусорные урны, разнообразные личности: наркоманы и проч. Играет Скрипач. Бизнесмен «прослушивает». Финал. Публика реагирует вяло. Бизнесмен аплодирует:

– Браво! Блестяще! Слушайте сюда – это высший класс! Ойстрах!.. Ну хорошо, у нас в опере, конечно, трудно – все уже забито, что ж вы хотите, это же все-таки Цигорн... Но рядом: Бомберг, Аммельн, на худой конец, – без вопросов...

– Вы думаете? Мне говорили, теперь тут такая конкуренция... Даже японцы, я читал...

– Слушайте сюда... Вы же еврей. Аккордеон, скрипка – это же наши инструменты, какие тут могут быть японцы... Кто был Ойстрах – японец? Нет, я не вижу больших проблем... Так мы будем что-то решать?

– Ну, если вы считаете...

– Все. Утром я вас отвезу в оперу. Заметьте, не «к оперу», а в оперу... Если даже вы им не подойдете, они скажут там, куда дальше. Найдете общий язык... Поймите, вы – не совсем мой профиль, но я же понимаю: надо человеку помочь зацепиться в Германии. Все. Давайте деньги, я выписываю квитанцию... Видите: «встреча, прослушивание» – было «ночлег» – едем. А завтра – в оперу. Все без обмана. Подпись, штамп, «экспорт-импорт-раппопорт». Кстати, машину купить не хотите? Мы помогаем...

– Какая там машина... Если не возьмут, я не знаю, хватит ли денег на обратную дорогу...

– Это мы тоже обеспечиваем. Автобусом. Но после того, что я тут слышал... Я еще буду у вас контрамарку просить, в оперу... Все, а то сглазим, поехали. Только я тут еще клиента подберу, ладно? Накладка небольшая... **(убегает).**

Скрипач:

– Господи, помоги... **(звучит орган).**

Квартира. Старик – старухе: (он с телефонной трубкой в руках):

– А я тебе говорю, что это Бах! Все, переключай на русское телевидение, сейчас программа «Время»!

– Леня, зачем тебе это «Время», ты же уехал оттуда... Учи язык, может быть, тебя еще возьмут на работу...

– Да, ОНИ возьмут... **(в трубку).** Гриша, ты слышишь, ОНИ нас возьмут... Ладно, слава Богу, что тебя взяли... Мы уже так... Не надо было ехать... Гриша, что значит «одни»? Теперь не те времена, можно ездить... Ну все, не буду... Так ты говоришь, на одну ночь? И приличные люди? **(жене).** Ну что ты на меня смотришь, ты же слышишь – приличные люди, на одну ночь... Я тебя прошу – переключи на русское телевидение... **(звучит музыкальная заставка к программе «Время»).**

Снова вокзал. Появляются Бизнесмен и Проститутка. Бизнесмен:

– Вот, знакомьтесь. Почти коллега, – тоже свободная профессия. Вот он – музыкант.

– А я – проститутка. Что вы так смотрите? Испугались? Или гусь свинье не товарищ?

– Да нет, просто смотрю... Как-то не похоже...

– Спасибо за комплимент. **(Бизнесмену).** Так куда мы едем?

– Все, как обещано, квартира – чинчинарем. Маленькая накладка, только, но есть вариант... Может, вас вместе поселить? Выйдет значительно дешевле...

Скрипач:

– м-м-м...

Проститутка:

– Да вы не бойтесь, я к вам приставать не буду. Я вас тоже не боюсь, вы ведь человек интеллигентный... Если дешевле... У меня, кстати, денег пока не густо. А у вас?

– У меня тоже. А вы это – правда? Насчет профессии...

– Ну вы даете... Я же сказала: проститутка. Вон у него спросите.

Бизнесмен:

– А что, мы всем помогаем. Импорт-экспорт, встретим, отвезем... Все – едем. Скорее, а то мне еще клиентов встречать. Опять накладка... Кстати, там две комнаты, так что невинность ваша не пострадает...

Квартира. Старик жене:

– Ну что ты на меня смотришь? Да, тоже очень приличные люди... Да, Раппопорт этот самый, у него теперь фирма... Там у них какая-то накладка... Ну так что? Он им сказал, что квартира пустая – так мы закроемся в той комнате, ну, в Гришиной бывшей, и заснем, это же только до утра... Ну что ты на меня смотришь...

Бизнесмен – Проститутке:

– Вот, знакомьтесь, ваша соседка на эту ночь... Между прочим, член делегации... Я побежал, у нас тут накладка, а вы располагайтесь... **(убегает).**

Госдама – Проститутке:

– А вы тоже с ярмарки? Тоже задержаться решили?

– Задержусь, если получится... А вы, правда, большое начальство?

– Ну какое там начальство... Раньше была, на советской работе... Просто ярмарка промышленная, а я когда-то МИЭТ окончила. Наши уже уехали, и мужа отправила, а сама решила на денек остаться... А вы кем работаете?

– А я проститутка. Правда, МИЭТ? А какой факультет?

– Что за шутка глупая, милочка? Вы это что – серьезно?

– Ну вы даете... Я же вам сказала: проститутка. И тоже МИЭТ окончила. Три года назад... Где-то я вас уже видела... Не вы нас в комсомол принимали, в райкоме?

– Ну, может быть.. Я когда-то работала в горкоме комсомола. После института. Так вы, значит, теперь это... «интердевочка»?

– Ага. После института. Райкома-то уже нет. И работы нет. Вы, я вижу, в шоке?

– Ну почему же... Просто как-то неожиданно... Слушайте, расскажите, как это все? Ну это... вообще... Вы уже бывали в Германии?

– Была. В прошлом году, по приглашению. Помогла одна, она у нас когда-то училась, из ГДР еще. Она, оказывается, давно уже этим занимается. Предложила поработать с ней, попробовать... Ну я и попробовала...

– Ну так расскажите, как это вообще...

– Хотите попробовать?

– Ну что вы, просто интересно...

Бизнесмен – Новому русскому:

– Ну вы меня извините, бывают же накладки... Вам ведь только до утра – там прекрасная квартира, все удобства... Только насчет баб – так ночь уже почти, где я их вам возьму? Ну ей-богу... Притом двух сразу... Ну вы меня напрягли... Вам обязательно нужно двух сразу?

– Ну.

– А одной вам, значит... никак?

– Ну. Сибиряк я, понял? Двух давай...

– Слушайте, есть вариант, но одна. Зато русская... Я с ней поговорю. Но двух – ну, никак...

– Я сказал – двух!...

– Ну что с вами делать... Вот накладка... Да, я вас прошу, вы только оттуда, пожалуйста, не звоните, им же потом платить... Не будете?...

– Ну. Гляди... **(Достает handy-телефон, набирает номер).** Але... Саня, ты? Спишь, что ли? А, у вас уже ночь... Ладно, спи дальше, проверка связи... Да, насчет меня – дал команду? И никуда его завтра не посылай, пусть с утра в аэропорт едет. Там несколько рейсов, я еще позвоню. Э-э, подожди. Учти, Лена думает, что я уже улетел. Да, осталась на день...Так что ты меня еще сегодня встретил, понял? **(Бизнесмену).** Видал? **(Прячет телефон).** Так. Где бабы? Выпить там есть? Давай организовывай, ты мне что обещал...

Старик – жене (он с газетой в руках):

– Правильно... А я тебе говорю, что нам нужны свои представители в Бундестаге... Да-да! Чтобы лоббировать наши интересы...

– Леня, какой Бундестаг, ты же уехал оттуда, теперь тебе тут скучно...

Старик (машет на нее рукой): Потому что им плевать на наши интересы! Да, нам нужна своя собственная организация! Все, спи, спи...

Проститутка – Госдаме:

– Слушайте, тут такое дело... Хотите попробовать?

– Что попробовать?

– Ну это самое... Поработать... Со мной. Знаете, зачем Раппопорт этот прибегал – есть клиент. Причем с деньгами – двоечка ему нужна...

– «Двоечка»?

– Ну две сразу. Так вы хотите попробовать?

– Да вы что... Мне просто было интересно...

– Ну вы даете... Просто интересно... Бросьте вы ломаться, я же вижу, что вы хотите попробовать... Вам деньги не нужны? Ах, да, – у вас это не проблема: у мужа бизнес, у вас работа...

– Да не в этом дело... А это не опасно? Ну – спид же кругом...

– Так с резинками же... Надеваете, только быстро, а то упадет... Хотя, если заплачено...

– Кто упадет?

– Ну вы даете... Раздевайтесь, я белье посмотрю... Скорее...

– А как это все... Притом вдвоем... Это же разврат... И с чего начинать?..

– Ну вы даете... Там разберетесь... Так... В общем, сойдет..

– А кто он?

– Понятия не имею... Раппопорт сказал, богатенький Буратино, а вам зачем?

– Так я же по-немецки не говорю...

– Ну вы даете... Какие тут разговоры... Ну я зайду к нему, а вы ждите, позову...

Старик – жене:

– Правильно... **(читает в газете).** Учитывая права каждого человека на получение информации, мы хотели бы включения российских телевизионных программ в кабельное телевидение Германии... **(старуха пытается что-то сказать, он машет на нее рукой).** Все, спи, спи...

Проститутка возвращается. Госдама:

– Ну что?

– Да ну его... Спит, как суслик, не добудиться... Выпил, конечно... что-то он на здешнего не похож...

– А... Что же теперь?

– Ну проснется же... Знаете что: вы идите туда к нему, рядом ложитесь, проснется – позовете, ладно?

– Я что я ему скажу?

– Ну вы даете... Опять... Да что там говорить... Я тут немножко посплю, ладно? А то у меня глаза слипаются: этот поезд проклятый – четыре границы и все ночью, то паспорта, то таможня... **(ложится).**

– А если он, ну это... сразу?...

– Сразу – деньги вперед... Триста минимум – за «двоечку»... И меня позовете... Умираю – спать хочу... А может, вы сами – у него же в глазах двоиться будет... Ну все – сплю...

Госдама у зеркала. Сомненья. Попытка войти в роль. Перекрестилась. Тяжело вздохнула. Уходя:

– А если он всю ночь спать будет?

Пробирается в комнату, где спит Новый русский. Забирается под одеяло рядом с ним. Под окном – звук подъехавшей машины. Щелк захлопнувшейся двери, шаги по лестнице. Григорий входит в комнату, где спит Проститутка. В руках – пицца в

картонной коробке, еще горячая. Уронил что-то. Грохот. Проститутка просыпается:

– О, Господи... Вы кто? Что вы тут делаете? Ой, это, sprechen Sie deutsch?

– Ein bißchen. Вы не волнуйтесь...

– А как вы сюда попали?

– Вообще-то я тут живу, раньше, то есть, жил... А вы от Раппопорта?

– От него... **(успокоилась).**

– Мне – отвернуться?

– А вы как сами, находите нужным?

– Ну, конечно... А мои где? В смысле – мои родители?

– Н-не знаю... Тут еще и ваши родители... Ничего себе... А где этот, со скрипкой?

Григорий, заглянув на кухню, возвращается на цыпочках:

– Там, в кухне. Спит, как убитый...

– С поезда потому что. Я тоже отключилась совсем – спать хочу... Но есть, кажется, еще больше... Пахнет...

– Это пицца. Понимаете, я пиццу развожу. А когда последний рейс, одна пицца для развозчика, там такая традиция. Прошу к столу...

– Хорошая традиция. **(Пока Григорий пробирается в кухню, она драпируется в плед. Помогает ему накрыть на стол).**

– Ну, за знакомство. Меня зовут Григорий. А вас?

– Таня. Татьяна. Ой, только не надо «итак, она звалась Татьяна»...

– Почему?

– Терпеть ненавижу все это...

– Я и не собирался...

– Ну да... Вы же филолог. Доктор филологии.

– А вы откуда знаете?

– А Раппопорт по дороге разболтал. Говорит, прекрасная квартира, хозяева – интеллигентные люди, сын – филолог, доктор наук...

– Ну, во-первых, не доктор, а кандидат... Ну да, здесь – доктор... Только знаете, кто у нас пиццу развозит? Из восьми пять – доктора. Два историка, химик, я и еще один, из Ирана, кажется... Так что я здесь – пиццеразвозчик со степенью. Родители думают – я лекции читаю... А вы что делаете?

– Я? Ну так... Психотерапевт... Сексолог... Частная практика.

– Это как?

– Ну, приходят люди – со стрессом, с комплексами всякими. Надо помочь. Помогаю...

– И хорошо платят?

– О, да... Хорошо... Только, знаете, дорого все это – ну, там – помещение... Расходы всякие... А вы женаты?

– Да. То есть. нет. Уже нет. Развелся. Еще?

– Наливайте. Пьяная буду... А вы еще там развелись?

– Нет, здесь уже.

– А почему? Ничего, что я спрашиваю? Профессиональный интерес...

– А... Трудно объяснить... В общем, приехали... стрессы тут всякие... не сложилось... У вас такие случаи бывают?

– Конечно... И у меня, и коллеги рассказывали... А дети? Нет? У меня тоже нет... Знаете, я ведь тоже развелась, уже давно. А что ваша бывшая жена сейчас делает? Одна?

– Не знаю. Вроде бы уже не одна. А ваш муж?

– Да у меня история такая, знаете, банальная, как в кино. Бывший спортсмен. Все в прошлом... В общем, спился. Мать его рассказывает, вижу ее иногда... Но пациент-то у нас – вы... Так что там у вас не сложилось? Это дело? **(кивает на постель).**

– Ага...

– А вы еще с кем-то пробовали?

– Нет.

– Почему?

– А с кем? Наши тут все семейные... Немки... С кем?

– Да вон в газете объявлений полно. Там и русские есть...

– Да я так не могу... Не могу и все. Да что я вам все рассказываю... Вы о себе расскажите. Вы почему развелись? Из-за этого? **(пьют).**

– Да нет... Он в этих делах был крупный специалист... Весь город перетрахал... Мы с ним идем – каждая вторая баба навстречу – старая знакомая... **(пьянеет).**

Я у него третья жена была, ему тридцать, мне семнадцать... Я из школы приходила, у нас квартира до вечера пустая. А он – сосед... Ну мы с ним и схлестнулись.. А потом он развелся и на мне женился... А потом ему все это... скучно стало. Он мне стал наконец предлагать – втроем... Да я уж и согласилась, только третьего все не могли подыскать – то ему не нравился, то мне... А потом... Мне не то, чтобы скучно, как-то тошно стало... Не могу... Я уже даже собиралась – с женщиной... только собиралась, но уже всерьез подумывала... Потом уехала... Вернулась – он пьет почерному... Ну ладно... Ой, вы же спите...

– Извините... устал – с утра самого езжу... заболел у нас один доктор... попросили заменить... Сейчас...

– А вы прилягте... Вам же ехать – за рулем заснете... Ну не спать, отдохните, расслабьтесь... Я уже поспала.. Вот так...

– Спасибо... Я чуть-чуть... А то, правда, за рулем засну...сейчас... **(засыпает).**

Татьяна безуспешно пытается прикорнуть за столом:

– А если он всю ночь спать будет... **(ложится рядом).**

Старик в халате и шлепанцах. Подходит к спящим, хочет накрыть Григория пледом. Обнаружив, что Григорий не один, накрывает обоих.

– Соня, иди сюда... Только тихо... Гриша спит с женщиной... Ну, слава Богу...

– Леня, люди лежат в постели, что ты на них уставился... Иди спать...

– Соня это надо отметить... Встанут, накроем стол. А квартиранты – там, наверное... **(заглядывает на кухню).** И тут один – спит... Это надо отметить...

Старик на кухне. Открывает холодильник. Скрипач проснулся:

– Добрый вечер. Извините, я вас разбудил...

– Ничего... Извините, а вы кто?

– Мы здесь живем... А вы – от Раппопорта?

– Да. Я только до утра, мы утром едем с ним в оперу...

– С Раппопортом? В оперу? Очень интересно... Так он уже и по этой части?

– Да... Он меня вечером прослушивал... Сказал, все в порядке...

– Ну, если он сказал... А вы давно его знаете?

– Нет, но его все знают... Фирма у него... «работа в Германии», «покупка автомобиля», «брак в Германии»... А что?

– Да нет, ничего... И многие замужем?

– Н-не знаю... А вы как думаете? Есть у меня шанс? Ну не в опере, так хоть где-нибудь?

– Шанс всегда есть... Спите, спите...

Татьяна выскальзывает из комнаты и скрывается в ванной. Старик, выйдя в коридор, видит полуоткрытую дверь. Входит. Григорий проснулся:

– Что случилось? Где... Таня?

– Там она... Ты нас с ней познакомишь? Сядем за стол...

– Папа, какой стол – ночь на дворе... Иди спать...

Старуха:

– Леня, иди спать, не морочь им голову... Гриша, вы ужинали?

– Ужинали... Все, спокойной ночи... Завтра познакомлю...

Входит Таня. Григорий:

– Вот – Таня...

– Очень приятно... А я – Леонид Израилевич... Соня! – Соня Львовна... Вы давно в Цигорне?

Григорий:

– Таня сегодня приехала... Она – врач, этот, терапевт... Психо...

– Будете жить в Цигорне?

– Будет, будет...

Таня:

– Извините, я сейчас... **(уходит).**

– Пап, ну что ты сразу с расспросами... А кто там в кухне?

– Скрипач. Раппопорт его вчера «прослушивал»... Он думает, что будет здесь играть, чуть ли не в опере...

– Ну ты ему объяснил?

– А он бы мне все равно не поверил... И потом: вдруг он – гений, и его тут везде ждут...

– Папа, Виктор – тоже гений... Пианист европейского уровня... В Питере в консерватории преподавал...

– Так он и здесь преподает...

– Два часа в неделю...

– А концерты. Лондон, Афины...

– Ну да, в прошлом году – раз в Лондоне, в этом – раз в Афинах... А жить на что? Ему пособие доплачивают к гонорарам – до минимума... Знаешь, что он мне рассказывал, какой-то профессор из Франкфурта пригласил его приехать. Ну он бросился туда, скорый поезд... А тот ему два часа объяснял, что ничего ему тут не светит... Для этого, значит, и пригласил, козел.

– А ученики?

– Ты знаешь, какие тут ученики... Он вечером преподавал в музыкальной школе, так директор вызвал: жалуется тут один, что вы его всеми пальцами играть заставляете, а он хочет двумя... Он же платит за обучение, он не хочет мучиться, он хочет удовольствие получать...

– А этот, ну который в опере?

– Так он когда еще приехал... Потом, кто это завтра станет с ним говорить? На каком языке? Папа, ему надо сказать... Ну, Раппопорт...

Соня Львовна:

– Леня, что ты завел разговор среди ночи... Иди спать...

– Ну все-все... Мы вас разбудили... Соня, я иду...

– Папа, ты не понял...

– Все, все... Соня, я иду... **(Уходит).**

Таня возвращается:

– Ну вот, наделала я тут вам делов... А почему вы им не объяснили?

– Что я должен был объяснять?... Как мы с вами в постели оказались?...

– Ой, вы меня извините... Я только прилегла ненадолго и заснула... Там еще место было...

– При чем тут вы... Вы же тут сегодня ночуете... Это я виноват, поставил вас в дурацкое положение... Вы ложитесь... А я поеду...

– Да я уже не засну...

– Ложитесь... **(оказываются рядом).**

– Ну вы даете... Пациент!... Что это с вами?... О, Господи... Пустите...

– Извините, пожалуйста... Сам не знаю, что со мной... извините...

– А Раппопорт говорил, интеллигентные люди... Ну ладно, это я виновата... Да не стойте с таким несчастным видом... Успокойтесь, пациент... Все хорошо... Все будет хорошо... Ну... Ну не надо опять... Подожди... Ну, что ты... Вот глупый... Ну не надо...

Ответственность за дальнейшее – на режиссуре. Здесь – лишь диалоги.

Соня Львовна:

– Леня, сколько они знакомы?... Если она только приехала...

– Там еще, наверное, познакомились... Красивая...

– Красивая... И чем это кончится?

– Ты же знаешь Гришу... Женится. И слава Богу... Все, спи...

Григорий:

– Да не хочу я спать... Ты спи... Мне с тобой очень хорошо... А тебе?

– Мне тоже... Ты такой нежный... И что-то я никаких таких проблем не заметила...

– Вы, мадам... С тобой – нет проблем...

– А вот у меня есть проблема... Знаешь, зачем я сюда приехала? Ну, ладно... Ты можешь меня отвезти на вокзал?

– Зачем?

– Уеду. Домой.

– А практика...?

– Передумала... Не получится... Практика... Зачем только я тебя встретила...

– Никуда я тебя не повезу. То есть, повезу... но не на вокзал, а ко мне... Только утром. Перед стариками неудобно – они думают, мы посидим вместе завтра...

– Что значит «посидим»? Что ты им скажешь?

Госдама. Открывает дверь:

– О, Господи... **(захлопывает дверь).**

– Подожди, я сейчас... **(Таня выбегает в коридор):**

– Что случилось?...

– А вы это с кем там?

– Потом... Ну, что там у вас?

– Ну я же говорила... Этот... Такой медведь... Точно как мой... Я и сказать ничего не успела... А теперь он опять спит...

– Ну и хорошо. Так вы уж сами – ладно? Справитесь?

– Справлюсь... Ну... все. Пошла...

Входит в комнату. Новый русский просыпается. Включает свет:

– А... Ты???... Ты что тут делаешь?

– О, Господи... А... А ты что тут делаешь? Ты же улетел...

– Я... Я не улетел... Это... Рейс отменили... А ты? Ты что тут...

– Я тут – на квартире... А ты?

– И я... Я – тут... а... ты...

– А я... там... ага... а... ты...

– А я... тут...

– С кем?

– Это... Один...

– Смотри у меня... **(ложится рядом).**

– Ну мне и сон снился!...

Распахивается входная дверь. На пороге – мужчина; в руке нож. Умелец ласково трогает язычок замка и удовлетворенно поглаживает лезвие. Осторожно приоткрывает и снова закрывает дверь кухни (Скрипач сладко спит). Приоткрыл дверь в комнату, и, убедившись, что Новый русский там (супруги спят после всех передряг, как убитые), осторожно выпел и позвал напарника. Тот выдергивает телефонный шнур и остается в коридоре. Первый входит в комнату и, разбудив Нового русского, показывает ему на губы – «тихо»... Выводит в коридор. Бьет «под ложечку», потом – в челюсть. Новый русский окончательно просыпается уже на полу. Гость над ним, на корточках.

– Ну что, мужик, что ж ты охрану дома оставил... Сэкономить решил? Или думал, мы тебя тут не достанем? . Ну, чего делать будем? Телефон у тебя с собой?

Новый русский угрюмо кивает:

– Звони, сука. Весь должок пусть переведут... плюс – за все хлопоты – тридцать процентов. Юра, справедливо? За все хлопоты? **(Напарник кивает).**

– Никуда я звонить не буду... Нет у меня сейчас денег...

– Не будешь? Ну хорошо. Юра, давай сюда его жену... Она у него беременная, так мы ей сейчас аборт будем делать... Я там на кухне шампуры видел... Юра, пойди включи плиту...

– Не надо... **(Госдама стоит, растрепанная, в дверях; она проснулась и все слышала).** Никакая я ему не жена...

Первый:

– А кто ж ты, чучело?

– Ну так... Мы тут работаем... с подружкой... Там она, еще с одним... у нее спросите... Вы меня в свои дела не впутывайте... Да я его первый раз в жизни вижу! И не беременная же я...

– Ну это недолго... Я еще погляжу, что там за подружка... А ну-ка, присмотри... осторожно, понял?

Достав пистолет, входит в комнату и выводит заспанного Григория; разглядев Таню, напарнику:

– О, эта , правда, получше... **(в комнату).** Ну-ка иди сюда, только тихо, а то ноги вырву...

Григорий прыгает на него сзади. Тот уворачивается. Удар по голове рукояткой пистолета. Григорий на полу, лежит, прислонившись спиной к стене. Таня бросается к нему, прижимает его голову к себе... Потом медленно оборачивается. Таня и Напарник, не отрываясь, смотрят в глаза друг другу. Пауза. Первый:

– Ну так жена или не жена?

Госдама – Тане:

– Ну скажи ему... Скажи, что мы с тобой работаем... «Двоечка»... А она еще этого вот где-то нарыла... Ну, скажи ему... А то они мне – шампуром... **(плачет).** Ну скажи ему... Правда?

Первый:

– Правда?

Таня:

– Правда. **(Григорий, обхватив голову руками, смотрит на Таню, по-прежнему не сводящую глаз с Напарника).**

Первый:

– Ага. «Двоечка», значит?

Таня:

– «Двоечка».

– И сколько ж за «двоечку»?

– Триста... И деньги вперед... **(Госдама спешит продемонстрировать профессиональную осведомленность).**

Первый:

– Смотри, Юра, цены те же... У нас – двести баксов... даже дороже... Вот это да... В Ростове бабы дороже, чем в Германии!...

Новый русский:

– В Ростове?... Ребята, я из Пензы... Какой Ростов?... Вы чего? Вы кого ищете? Я вам сейчас паспорт покажу... И жена у меня не беременная...

Первый:

– Ладно... Понял уже без тебя... Твою мать...– ошиблись... Что ж ты про долг не сказал, козел?...

– Так и я должен... С тобой поговоришь...

Первый – Госдаме:

– Так ты жена ему, или не жена?

– Жена...

– А эта кто?

– Да проститутка, я же говорю...

– Тебя поймешь... Так. Ладно. Все, ничего не было... Идите себе и спите спокойно... Вы нас не видели, не слышали... А то и в Пензе найдут... Ну?

Новый русский:

– Понял... **(жене).** Пошли... **(уходят).**

Первый:

– Ну так что, красавица, нас-то обслужишь?... Юра, как ты насчет «двоечки», только наоборот... Нас двое... И все – уходим тихо-мирно... Идет?

Пауза.

Таня:

– Что ж ты молчишь, Юра? ...Как ты насчет «двоечки»?

Напарник – Первому:

– Пошли... **(угрожающе).** Пошли, говорю...

Первый:

– Ты чего? Ладно, пошли... День потеряли... **(уходит).**

Таня:

– Так вот оно что... Мать говорила, ты пить перестал, работаешь... Я не поверила... А это вот такая работа... Лучше б ты пил...

Напарник:

– У тебя что ли лучше... Или врет эта?

Григорий:

– Врет.

Напарник:

– Ну, ладно, я пошел... Ты матери не говори... Ну нет другой работы... Дверь-то запирайте, как следует... **(уходит).**

Таня:

– Отвезешь меня на вокзал?

Светает. В кухне проснулся Скрипач. Растрепанный, сидит на диванчике. Потянулся за скрипкой. Скрипач играет. Играя, поднимается все выше – на стул, на стол, сквозь косое открытое окно – на крышу. Над крышей – рекламы и т. д. (задворки вокзала).. Звучит радио. В звуки немецкой речи вплетается речь русская. Новости на обоих языках. Медленно гаснет свет. Громче звуки русского радио. Голос старухи:

– Леня, зачем тебе эти новости, ты же уехал оттуда...

Музыка все звучит. Появляется Раппопорт. Аплодирует:

– Блестяще!.. Какие там японцы... Ой-страх!.. Японцы... Нет, я не вижу больших проблем... Японцы... Какие могут быть японцы...

Свет в зале. Еще звучит музыка.

Примечание:

Спектакль является одновременно концертом. Помимо увертюры вначале и финала (разумеется, скрипач на крыше – намеренная цитата) в спектакле действует небольшой оркестрик: несколько приехавших из России подзаработать игрой на улицах виртуозов. Состав инструментов должен быть несколько необычным, явно случайным, например, – виолончель, кларнет, ударник и труба. Задворки вокзала – это пространство у непарадного выхода (не на привокзальную площадь выходящего). Там и расположились приехавшие музыканты. Во время «прослушивания» они – просто зрители. Потом играют, заполняя паузы между переключениями действия из комнаты в комнату, там, когда между «переключениями», очевидно, проходит изрядное время. Играя, всегда начинают с «классики», но затем, свингуя, переводят это во что-то иное, например, в джаз или бывшие у всех на слуху мелодии советских лет.

ОЛЬГА ФЕФЕР
Майнц

* * *

В стакане
с недопитым чаем
я увидала
свет звезды,
волну,
ласкавшую причалы
и разведённые
мосты.

Я услыхала
шум прибоя
и крики чаек
вдалеке.
И кто-то рядом
был со мною
на неисхоженном
песке.

А пароходик,
что игрушка,
издал протяжный
зов-гудок.
Что ты мечтаешь всё,
старушка?
Давай же,
допивай глоток.

ТАТЬЯНА ПЛЮХОВА-ЯКОБ
Бамберг

ЖЕЛТОЕ ТАНГО

А. Вертинскому

В уютном зале ресторана
огни желтеют, как бананы,
дымятся черные кальяны
и плечи дам обнажены.

Милашка Серж – певец свободный –
поет пред публикой дородной,
и – беспардонный, беспородный –
он весь с рязанской стороны.

В уютном зале ресторана –
шашлык из нежного барана,
осколки острые стакана
покамест не унесены.

Ты ничего не ешь, не куришь,
ты почему-то губы дуешь,
напрасно ты меня ревнуешь –
ведь мы обручены.

МАРК ХАЙКИН
Вайден

ЗЕМЛЯКИ

В лесу покой.
Вне критики,
Сегодня денёк отличный...
Не ходят сюда политики,
Деревья аполитичны.

Деревья – космополиты,
Не ведают слёз и тоски...
...Единым небом укрыты,
Мы все на земле – земляки.

ВАЛЕНТИН ЛИВШИЦ
Штраубинг

ЖИЗНЬ - ОНА НЕПОВТОРИМА

Иерусалим!
Жара!
Во рту – как пепел.
Туристов бесконечный кросс.
По этой улице и одинок, и светел
Нёс тяжкий крест Иисус Христос.

Да!
Пепел!
Ощущенье дыма.
На небе туча собралась.
Жизнь – всё равно, неповторима,
Хоть, вроде, и не удалась.

По Де-ля-Роз иду я к Храму,
И ощущаю всем нутром
И боль его,
и стыд,
и драму,
И всё, что будет с ним потом.

В тот миг ещё он не был Богом,
Шёл человек, нёс плоть свою,
Желая счастья всем убогим
И утешения в раю.

...Загорск.
Менахем и Марина.
В вечерней церкви хор поёт.
Да!
Жизнь — она неповторима.
И — слава Богу —
что идёт...

БОРИС ЗАМЯТИН
Йена

Какая проза — в сорок лет
Быть начинающим поэтом,
Когда иных на свете нет,
И впереди, увы, не лето.

И ужасается рука
Безмерной тяжести задачи.
Поэты — баловни удачи —
Поглядывают свысока,
Но просто жить нельзя иначе.

А белый лист, как эшафот,
Когда вокруг столпились люди,
И жертва еще чуда ждет,
Но чуда не произойдет,
И казнь отменена не будет.

А будет белый лист манить,
Как тянет плаха в миг последний...
Но опоздавшему к обедне —
К вечерне можно не спешить.

КЛАРА КИЕВМАН
Франкфурт-на-Майне

РАЗДУМЬЕ

Вода уходит сквозь песок,
в небытие уходят люди.
Судьбой повелевает Бог,
и будь, что будет!
Будь, что будет?..

Что Боги могут сотворить —
не в силах объяснить наука.
Одна ль от прадеда до внука
идет связующая нить?

Из древних, призрачных времен
пришли и небыли и были,
чьи предречения затмили
безликость нынешних икон...

Мне мнятся чьи-то голоса
из подземелья подсознанья,
в затылок — близкое дыханье,
и неотступные глаза.

Иных Иисусов и Марий
все та же боль, все те же скорби,
все то ж — по духу и по форме:
«не лги, не злобствуй, не убий,

не возжелай жены чужой,
не сотвори себе кумира...»,
но после варварского пира
все пахнет водкой и бедой...

Бесстрастна Времени река.
И ей, порой, бывает туго.
Земля, как загнанная сука,
скулит от боли. А пока

ещё высокий правит слог,
но счёт идёт уже подушный:
за бытие, за хлеб насущный,
за тайну мысли между строк.

МИХАИЛ ИНГЕР
Любек

МОРСКОЙ ПАРОМ

Ты кузнецом изогнута, как будто
искусной и уверенной рукой,
лежишь подковой,
любекская бухта,
замкнув ворота Балтики собой.

Со мной рассвет в октябрьской
мгле встречает
продрогших пассажиров
шумный рой,
и сотни белых чаек-попрошаек
выклянчивают хлеб
насущный свой.

А на воде бесстрастно ожидает
громада, как многоэтажный дом,
белее снега и кричащих чаек,
новехонький еще морской паром.

Готовы пассажиры на причале
везти паромом
впечатлений смесь
в Санкт-Петербург,
а, может, в Ригу, в Таллинн.
А я и чайки остаемся здесь.

Любые пожеланья исполнимы,
но я, признаться,
вовсе не стремлюсь
туда, где умер
лживо-нерушимый,
кого и с кем — неведомо, союз.

Но в горле ком,
как камень, застревает,
и кулаки сжимаются опять,
и наши судьбы сердце не желает,
как у других,
завидными признать.

АЛЕКСАНДР КОПЕЛЕВИЧ
Дортмунд

РОССИЯ ПОГРУЖАЕТСЯ В ДРЕМОТУ

На смерть Галины Старовойтовой

Россия, Родина, ну что там снова?
Что там?!
Какая нечисть вздыбилась опять?
В угоду чьим обдуманным расчетам
Сама себя позволила распять?

Звучат сегодня выстрелы в подъезде,
Как двери хлопают.
Как колокольный звон
По чести, по свободе, по надежде...
Но где народ твой? Затаился он.

От ужаса не вскрикнула Россия,
Лишь вздрогнула на несколько минут,
Как будто молит: «Где же тот Мессия,
Что даст нам пряник и поднимет
кнут?!»

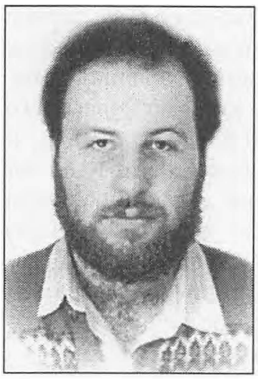
Уже не головы склонив, а выи,
Она торопится вернуться в хлев,
Забыв тридцатые, сороковые,
От предвкушенья крови охмелев.

Привычная подонкам бить поклоны
И на плацу печатать дружный шаг,
Россия снова строится в колонны
Готовая отправиться в ГУЛАГ.

Коней на переправе не меняют —
Их просто отправляют на убой...
Рабы рабов рабами погоняют,
Как звери передравшись меж собой.

Когда в народе воля убывает,
Как в скрипке натяжение струны,
Не женщину в подъезде убивают,
А убивают самый дух страны.

Как птица, неготовая к полету,
Теряет высоту, едва взлетев,
Россия погружается в дремоту,
Проснуться толком
Так и не сумев.



Виктор ШНЕЙДЕР
Гёттинген

Герхард Тэнцер

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

С одним знакомым агрономом мы сидели на кухне, пили вишневый шнапс-самогон, слушали записи классической музыки из его богатейшей коллекции и беседовали о поэзии...

Ну, в первом читатель не усомнится: с хорошим человеком отчего бы и не выпить? Насчет же музыки поверит только, если я объясню, что кухня, на которой происходило дело, располагается в Саар-Луи, почти у самой франко-германской границы и что агроном мой – немец. Немец же может слыть культурным и образованным, только если он разбирается в классической музыке не хорошо, а прекрасно. Невежество же и невосприимчивость литературные в Германии считаются чем-то простительным, а поэтому – распространенным (думаю, так, а не наоборот), и этим (в частности) немецкий «интеллигентский стандарт» диаметрально противоположен российскому.

Тем больше меня удивила разборчивая начитанность моего собеседника, так что я даже не постеснялся спросить, откуда это у него? «От школьного учителя, – объяснил агроном. – Оттуда же, откуда у меня и у всех моих одноклассников безупречная грамотность: такому человеку, как наш учитель, просто стыдно было бы сдать диктант или сочинение на троечку. Моим учителем был Герхард Тэнцер», – закончил монолог мой собеседник и страшно удивился, когда названное им имя не произвело на меня ни малейшего впечатления. Не вдаваясь в долгие объяснения, он сдернул с книжной полки (одним жестом! Без предварительных десятиминутных поисков! Что ни говори, немецкая организованность, точность и пристрастие к порядку – не пустой звук!) и вручил мне несколько поэтических книжек Тэнцера.

Один из сборников: «Цветущий луг – маленькая эротическая школа стихосложения» («Schönes Blumenfeld - kleine erotische Versschule»), изданный первый раз в 1985 году, включает в себя стихотворения, весьма фривольное содержание которых втиснуто поочередно во все мыслимые поэтические формы от античных образцов до новомодных изысков. Сочетание академического тона ежестраничных примечаний (и впрямь познавательных), толкующих о разновидностях ритма и рифмы, с самими комментируемыми текстами, часть которых могла бы принадлежать перу Баркова, часть – Олега Григорьева, нашло радостный отклик читателей.

Двумя годами позже увидевшая свет книжка «КРИКРИ» («CRICRI», 1987) вся выполнена в русле так называемой «конкретной поэзии» – видимо, самого животворного течения современной немецкой поэзии. Более всего определяемая этим термином стихографика напоминает в русской словесности, пожалуй, некоторые из опытов А. Вознесенского или вещи Д. Строцева.



Но доказав этими двумя сборниками свое безусловное техническое мастерство и изобретательность в вопросах формы, Тэнцер остался приверженцем «свободного стиха», которым написаны от начала до конца и первый его сборник «Здесь и где-то» («Hier und anderswo», 1979), и пока последний – «Земля перед глазами» («Das Land vor Augen», 1998). Стихи из этих двух книг, а также из цикла «Летнее путешествие» («Sommerreise»), опубликованного в 1993 году во французском и грузинском переводах, рекомендовал для русского перевода сам автор, когда, много позже литературного, произошло мое личное, не грозящее перейти в дружбу, знакомство с ним.

Знаток правил, Герхард Тэнцер с радостью пренебрегает ими, и не только в поэтике, но и в грамматике: едва ли можно встретить в его текстах иной знак препинания, кроме запятой и точки. (Если же читателю встретится все же где-то здесь тире или двоеточие, пусть он не верит глазам своим – просто переводчик счел в паре случаев прочтение некоторых фраз по-русски слишком двойственным без указки должного знака). Но даже и «закон беззаконности» – «свобода» «свободного стиха» – не ограничивает Тэнцера. То и дело в верлибры его пробивается ритм, вполне традиционый хорей или ямб (впрочем, в современной обезрифменной немецкой поэзии это скорее оригинальность, чем традиционность), и только форма записи, разбиение на строчки «вопреки» мелодии стиха сдерживает тогда его мерную поступь. Этот прием кажется мне новым и интересным, как и многое в стихах Тэнцера... Да что я об этом рассказываю? Читайте сами!

Виктор Шнейдер, 07.07.97

В МАГАЗИНЕ

Бабы передо мной
самозабвенно ругаются,
до закрытия
остаются считанные минуты,
одна из продавщиц
уже убирает колбасу
с прилавка,
другая
еле шевелится,
несмотря на очередь,
я думаю:
вот удобный случай
для социалистической
пропаганды
среди недовольных слоев
общества,
и говорю:
виноваты капиталисты,
владельцы магазинов,
заставляющие
мало народу
много трудиться,
женщины ошарашенно на меня
смотрят,
а мужик за мной говорит:
ну и езжайте в ГДР,
если Вам тут не нравится,
на что я возражаю,
что там я уже тоже
стоял в очереди,
и так
мы подходим к вопросу
о многообразии форм
эксплуатации
в американски-
и российски-
ориентированных государствах,
пока неожиданно
не подходит
моя очередь
взвешивать мясо
и идти выбивать чек в кассу,
где я пытаюсь
дождаться того мужика,

но он, кажется, нарочно
вышел через другую дверь,
и по пути домой
и еще за готовкой ужина
я так погружен в раздумья
о трудностях подготовки
предреволюционной фазы,
что едва не режу
пальцы
вместе с ветчиной.

ШОССЕ

Семь человек погибло,
пятеро тяжело ранены,
сообщает диктор,
и на экране появляются фотографии
груды обломков
на Франкфуртском шоссе,
а на краю кадра
лежит человек,
еще не накрытый, по обыкновению,
и даже видно
немножко красного,
а я думаю,
три часа тому назад
ты сам
там еще ехал,
а сейчас вот сидишь
в придорожной забегаловке
за своею сосиской с картошкой
и кислой капустой,
и тут как раз
подъезжает автобус с американцами,
первые
уже тут,
тянут из автоматов пиво,
и я вижу, еще три, четыре
цветные молодухи
вылезают из автобуса,
две окончательно
заплыли жиром,
а у одной все еще
легкая пружинистая походка,
по телевизору начался
прогноз погоды,
вот-вот
она войдет в дверь,
я,
пожалуй, еще чего-нибудь выпью,
прежде чем ехать дальше.

ОН ПИЛ ДОРТМУНДСКОЕ ПИВО

Он пил Дортмундское пиво,
когда я его навещал,
как-то раз
я подарил ему целый ящик,
и, похоже,
ему действительно понравилось,
во всяком случае, он говорил,
оно лучше
Баварского,
на Пасху
он приглашал меня
отведать Gigot
или Boeuf Bourguignon,
а его рецепт
миног в шоколадном соусе,
у меня при одной мысли
слюнки текут,
он унес с собой в могилу,
и только теперь
я представляю его себе
в его «Лавке Тетушки Эммы»,
и что он делал,
когда стал замечать,
что посетители
вот-вот переведутся вовсе,
и что в 65
он не мог
выйти на пенсию,
потому что слишком плохо
был застрахован,
изредка
я слыхал, как он ругается
из-за высоких налогов,
но за едой
мы никогда
об этом не говорили.

НАКАЗАНИЕ

Когда он умер (умер только он —
его недобросовестность в гешефтах
осталась жить) итак, когда он умер...
(Что значит «умер»? — лишь бы был здоров,
как говорится). Но когда он... (Впрочем
обычно «умер» говорят о тех,
кто распрощался с жизнью на постели —
больничной ли, домашней ли, а этот
сам бросился под поезд). И однако —
когда он умер,
в доме у него,
(точней, не у него, да и не дома,
а в огородном домике его
родителей) нашли пиджак, висящий
на спинке стула у стола, и там
в одном кармане — карточка отца,
в другом — часы, три пфеннига и паспорт.

ОТПУСК

Франция велика,
в машине жарко,
на улицах пусто,
большинство французов
обедает,
но мы едем дальше:
так запланировано,
дабы не потерять
ни дня
драгоценного отпуска,
мы экономим
ради Атлантики,
до которой черт его знает
сколько еще сот километров,
и, видимо,
там уже полно туристов,
которые, как и мы,
весь год ждали отпуска,
и на берегу будет
не протолкнуться
и грязно от смолы
и выброшенных
бутылок
из-под подсолнечного масла,
разве только
соленый ветер
доставлял бы нам
какое-то удовольствие
на этой жаре,
а деревня,
которую мы проезжаем,
называется Шанне,
я вижу девушку
в фиолетовом платье,
длинном,
как требует мода
этого лета,
я ее никогда
больше не увижу,
притом что, родись я тут,
может, мы были бы
счастливы друг с дружкой
в этом захолустье,
хотя жизни тут
я для себя тоже
не могу представить,
я, бегущий сейчас
от грязного
саарского воздуха,
я хотел бы,
чтобы была осень
и мы одни
на диком,
заброшенном море.

СТИХ НА РОЖДЕНИЕ МОЕГО СЫНА

Когда я родился,
у власти стояли
фашисты,
и мой отец
вступил
в партию.
К моменту рождения
моего брата
отец был
солдатом,
я разучивал песни
«Мы идем против страны ангелов»
и «Мамаша,
подари лошадку»,
торговцы продавали
бумажные флажки
со свастиками,
во дворе
мы играли в войну.

В первом своем
школьном диктанте
я писал глаголы с прописной,
а имена со строчной буквы,
на переменах
мы ходили в колонну по три
кругами
вокруг учителя
с палкой,
отец
приезжал в отпуск
со своим автоматом,
я выучил слово «Бордо»,
самолеты Черчилля
разрушили город,
и мать
со мной и братом
подались оттуда.

После войны
я в школе жутко боялся
побоев,
учил
«Go out of here»,
«Idi sjuda»
и шлягер
«Когда на Капри
тонет солнце в море»,
отец писал
из плена,
мать выменивала
картошку на шнапс,
в десятилетнем возрасте
я весил
на 30 фунтов
ниже нормы.

После основания ГДР
я стал пионером,
в старших классах –
комсомольцем,
носил, как положено,
синие штаны и рубашку,
когда умер Сталин,
мы маршировали
мимо его портрета,
несли почетный караул
у приспущенного
советского флага,
перед выпуском
я оказался ко всему ещё
членом клуба
немецко-советской дружбы,
а мои родители
получили письмо
от моего классного,
так как я
во время школьной экскурсии
умотал с одной девчонкой
в лес.

Меж тем прошла
Генеральная Забастовка
17-го июня,
Федеративная Республика Германия
вступила в НАТО,
ГДР –
в Варшавский договор,
я перешел границу,
западногерманские таможенники
перерыли мой чемодан,
все говорили –
«Русская зона»,
а я – «ГДР»,
мой аттестат
не признавали,
я работал
в продуктовом отделе

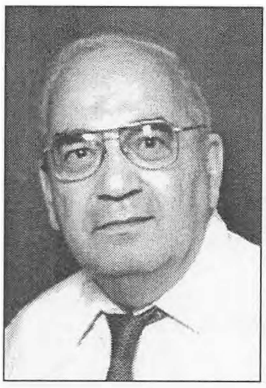
Карштадта
за 90 пфеннигов в час,
это было половиной
нормальной зарплаты,
но в ГДР
я на каникулах
зарабатывал по 80 пфеннигов,
так что ничего не замечал.

Потом я стал
подсобным рабочим в НИИ
и записывал
неделями напролет,
как зовут свиней
в Северной Саксонии,
и учил германистику
и историю, пока
Хрущев
подавил восстание в Венгрии
и велел Ульбрихту
возвести Берлинскую Стену,
а Кеннеди
начал вьетнамскую войну,
и поль-анковское
You are ту destiny
(в исполнении Элвиса Пресли)
сменило
It's been a hard day's night
Битлов.

В тот самый год,
когда судьба связала
меня на всю жизнь
с учительством, во время
одной демонстрации
в Западном Берлине
полицейский пристрелил
студента Оннезорга.

Тем временем
студенты вышли на улицы
и вернулись за письменные столы,
прошла Пражская весна
и марш Советских войск,
американцы
привели в Греции
военных к власти
и снова отстранили,
продули вьетнамскую войну
и позволили убить
в Чили
демократического социалиста Альенде,
а испанский фашист Франко
и португальский фашист Салазар
умерли сами,
а члены фракции Rote Armee
поплатились жизнью за ошибку,
сочтя, что в Западной Германии
назрела пора революции.
Классовая борьба всё длится,
а я
всё учительствую и живу
с женщиной, которая
меня любит,
на горé,
потому что я думал,
воздух в горах
не так зачумили заводы
Диллингена,
Фёльклингена
и Карлинга.

Теперь,
когда ты родился,
я не состою
ни в какой партии,
давным-давно не разучивал
песен,
я смогу тебе
рассказать чуть-чуть
об искусстве выживания,
и я знаю,
что этого мало.



Аркадий ПОЛОНСКИЙ

Мюнхен

«Друг мой, Яков Петрович...»

К 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ ПОЭТА Я. П. ПОЛОНСКОГО

Яков Петрович ПОЛОНСКИЙ (¤ 6 декабря 1819, Рязань – † 18 октября 1898, Петербург, похоронен в Рязани), русский поэт послепушкинской эпохи, в 1844 году окончил юридический факультет Московского государственного университета.

В биографии поэта встречи с А. И. Герценым, Н. В. Гоголем, Т. Н. Грановским, Ю. Ф. Самариным, П. Я. Чаадаевым, Т. Г. Шевченко, дружба с И. С. Аксаковым, А. А. Григорьевым, Ф. М. Достоевским, А. Н. Майковым, Л. А. Меем, М. Л. Михайловым, Н. А. Некрасовым, А. Ф. Писемским, И. С. Тургеневым, Н. Успенским, А. А. Фетом, А. С. Хомяковым, Н. Ф. Щербиной, А. П. Чеховым. Первые публичные стихи появились в 1837 году.

Печатался в журналах: «Современник», «Эпоха», «Отечественные записки», «Заря», «Вестник Европы», «Время». Редактировал недолго журнал «Русское слово» (издатель граф Г. А. Кушелев-Безбородко).

Большое участие в судьбе Я. Полонского принял Федор Иванович Тютчев.

Поэт влюблён. Это – нормально. Но его любимая – ...природная темень («Холодеющая ночь»): «*Я сказал подруге-ночи: // Ненаглядная, прости!*» *Подруга-ночь* – персонаж поэзии Полонского, к которому поэт часто обращается в прямой речи: «*Грузинская ночь – я твоим упиваюсь дыханьем!*» Восхищение тёмным временем суток – любимый стихотворный пассаж («Ночь»):

Отчего я люблю тебя, светлая ночь –
Так люблю, что страдая любуюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!
Ты не мне, ты другим посылаешь покой.

Природа одушевлена, эмоционально-созвучна настроению поэта: «*Ночь холодная мутно глядит...*» Ночь-стражник: «*Пришли и стали тени ночи // На страже у моих дверей!*» Таинственные звуки шествующей ночи: «*Слышу – ночь идёт...*» Из посвящения И. Тургеневу: «*В окно глядит и лезет в очи // Сырая мгла плаксивой ночи*».

Образное восприятие собственного существования в унисон душевному состоянию не является поэтическим открытием Полонского, но у него этот приём гиперболизирован, возведён на уровень ирреальных ощущений. Для поэта нет грани между фантазией и бытием: и то, и другое в равной мере вещественно, но активно присутствует в противопоставлении друг другу. Поэтическое воображение возвышает душу над прозой реальной жизни. В радости восхищения красотой природы 30-летний поэт сливается с ней. Земные ощущения низменны («Не жди»):

...Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сияньи месячном?! — Не жди меня, не жди!
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда душе простора нет в груди;
Когда сама душа — сама душа не знает,
Какой любви, каких еще чудес
Просить или желать — но просит, но желает —
Но молится пред образом небес,
И чувствует, что уголок твой душен,
Что не тебе моим моленьям отвечать, —
Не жди! — я в эту ночь к соблазнам равнодушен —
Я в эту ночь к тебе не буду ревновать.

Природа — удачливая соперница любимой. Душа поэта переполнена очарованием южной ночи. Ему не до любви!.. Возможно ли пренебрежение чувством к любящей женщине ради наслаждения красотой ночной природы? Восторг перед чудом ночи сильней соблазнов красавицы. Много ли таких примеров в мировой поэзии? (Софья Гулгаз, прототип красавицы *на кровле под чадрою,* после стихотворения «Не жди» поклялась поэтов больше не любить!) Правда, у более молодого Полонского ночь всё-таки подчинена любви («*Пришли и стали тени ночи...*»): «*Помедли, ночь! густою тьмою // Покрой волшебный мир любви!*»

Культ красоты природы — лейтмотив творчества Полонского. Природа персонифицирована, она имеет *свою улыбку и свои невзгоды* («*Не мои ли страсти...*»):

...Или у природы,
Как у сердца в жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды.

Та же тема у Тютчева: природа наделена *душой, свободой, любовью, языком*:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Удивительно сходство поэтических образов ночной природы у Тютчева и Полонского. В тютчевском стихотворении «*Песок сыпучий по колени...*» для описания необъятности и настороженности ночной темноты звучит метафора (кстати, гётевская!): «*Ночь хмурая, как зверь* ***стоокий*** *// Глядит из каждого куста!*» То же видение в восприятии Полонского («Колокольчик»): «*Улеглася метелица... путь озарен... // Ночь глядит* ***миллионами*** *тусклых* ***очей...***» Перевод Полонским из английского поэта Бурдильёна начинается строками: «*Ночь смотрит* ***тысячами глаз,*** *// А день глядит одним*».

В творчестве Тютчева цельность души поэта — нонсенс, душа — *жилица двух миров.* Раздвоенность внутреннего мира — повод для душевного конфликта и глубоких раздумий. Состояние души поэта — сомнения, тревога *двойного бытия...*

С резонансными вариациями звучит и поэзия Полонского. В ночной лесной глуши поэт встречает своего двойника («Двойник»):

Я думал — эхо, зверь, колышется тростник;
Я верить не хотел, дрожа и замирая,
Что по моим следам, на шаг не отставая,
Идёт не человек, не зверь, а мой двойник.

Далее фантастический диалог с двойником:

– Что ты пророчишь мне или зачем пугаешь?
Ты призрак иль обман фантазии больной?
– Ах! – отвечал двойник, – ты видеть мне мешаешь
И не даёшь внимать гармонии ночной;
Ты хочешь отравить меня своим сомненьем,
Меня – живой родник поэзии твоей!..
И, не сводя с меня испуганных очей,
Двойник мой на меня глядел с таким смятеньем,
Как будто я к нему среди ночных теней –
Я, а не он, ко мне явился привиденьем.

И на Тютчева, и на Полонского оказала большое влияние поэзия Гейне. Оба переводили стихи немецкого поэта, оба искали ответы на гейневские вопросы о тайнах бытия, мироздания, поэзии, красоты («Вопросы», пер. Ф. Тютчева): *«О, разрешите мне жизни загадку //..// В чём состоит существо человека? // Откуда приходит, куда он идёт».* Осознание бесконечности мира приходит через таинство любви («Они», пер. Я. Полонского):

Полночь им открыла
В трепете лобзанья,
В тайне поцелуев
Тайну мирозданья.

Духовные тайны жизни – отдельная тема творчества Якова Петровича. Поэт формулирует главные вехи своих открытий: понимание красоты мира приближает к истине; задача поэта – увидеть гармонию прекрасного; путь в царство красоты – в воспитании чувства любви; созидая стихи, поэт трудится над совершенствованием своей души.

Тютчев также не мыслит себя вне поэзии, считая её божественным даром: поэзия *«с небес слетает к нам – // Небесная к земным сынам, // С лазурной ясностью во взоре...»*

Родство натур предопределило дружбу поэтов Фёдора Тютчева и Якова Полонского.

Оба были дворяне, но на одной социальной ступени общества они не стояли. Ко времени их знакомства, которое, вероятнее всего, состоялось во второй половине 50-х гг., Тютчев был состоятельным светским человеком, часто принимаемым при дворе членами императорской семьи. По отцовской и по материнской линии Тютчев происходил из именитых дворянских родов (мать Тютчева, Екатерина Львовна, была графиней Толстой, близкой родственницей Остерманов, известных дипломатов ещё с петровских времён).

Яков Полонский имел незначительный чин, жил случайными литературными заработками, был домашним учителем многих состоятельных господ и недолго редактором небольшого журнала «Русское слово». О своей родовитости Полонский сообщал, что его бабушка, Александра Богдановна Умская, была незаконнорожденной дочерью графа Алексея Григорьевича Разумовского. С царями поэт не знался. Правда, в 1887 году Александр III изъявил желание познакомиться с Яковом Петровичем, 50-летие поэтической деятельности которого отмечала литературная Россия. Поэт явился тогда на августейший приём и на предложение императора оказать честь и позавтракать в кругу царской семьи невежливо монарху отказал: *«Нет, покорно благодарю, Ваше величество, я только что позавтракал, а дважды обременять свой желудок не имею привычки».* Из тютчевских уст такое никогда бы не прозвучало. Цензоры не числились в числе друзей Полонского. Более всего Яков Петрович ценил свою независимость.

Оба поэта и внешне были разными. Иван Аксаков о Тютчеве: *«Стройного, худоща-*

вого сложения, небольшого роста, с редкими рано поседевшими волосами, небрежно осенившими высокий, обнаженный, необыкновенной красоты лоб, всегда оттененный глубокою думою; с рассеянием во взоре, с легким намеком иронии на устах, – хилый, немощный и по наружному виду, он казался влачившим тяжкое бремя собственных дарований, страдавшим от нестерпимого блеска своей собственной неугомонной мысли».

Полонский – высокий бородатый крупный мужчина, *дядька*, как называла его хозяйка литературного салона, Елена Андреевна Штакеншнейдер, с которой многие годы был дружен Яков Петрович.

Но их несхожесть была только внешней. О доброжелательном и интеллигентном Тютчеве баварский журналист барон Карл Пфеффель, брат Эрнестины, жены Фёдора Ивановича, писал сестре, что её муж – единственный человек, *не имеющий врагов.* Те же слова повторил издатель князь Владимир Мещерский. Эта бесконфликтность имела и свои негативные последствия, доставлявшие подчас Тютчеву немало хлопот.

Яков Петрович – большое и любимое дитя Елены Андреевны Штакеншнейдер. Её записи в дневниках о Полонском всегда трогательно нежны: «*Он редкой души человек, второго такого доброго, чистого, честного нет*» или же: «*Он просто не от мира сего. ... Доброты он бесконечной и умён, но странен. ...Он как будто принимает за действительность не то, что видит, а то, что ему мерещится. Он любит всё необыкновенное и часто видит его там, где его нет*». С лёгкой руки поэта Николая Щербины, автора шутливого «Сонника современной русской литературы», доброта Полонского вошла в поговорку: «*Булгарина видеть во сне – предвещало быть битым, графа Соллогуба – дать взаймы и не получить... Видеть во сне Якова Полонского, значит быть на ёлке и с детьми беседовать*».

В 1858 году в Париже состоялось краткое знакомство Александра Дюма с Полонским. Французский писатель оценил Якова Петровича: «*Русский поэт оказался мечтателен, как Байрон, и рассеян, как Лафонтен*». О рассеянности Полонского и Тютчева сочиняли эпиграммы и анекдоты.

И Тютчев, и Полонский в браке были дважды. Поклонники красоты, Фёдор Иванович и Яков Петрович, женились на красавицах. Красавицы не были россиянками. К великой горести поэтов обоим довелось познать трагедию семейных утрат, писать стихи-эпитафии своим первым жёнам.

Уже в середине 50-х гг. Тютчев и Полонский имели много общих литературных друзей. В 1856 году Яков Петрович посвящает стихотворение литератору Ивану Аксакову, будущему зятю и сподвижнику Тютчева. В апреле 1857 года поэт-переводчик Николай Гербель упомянул в частном письме и Тютчева, и Полонского, как равные литературные авторитеты. Но сам Полонский всегда считал Фёдора Ивановича своим учителем.

В 1858 году Тютчев занял должность председателя Комитета иностранной цензуры, а через год на освободившееся место младшего цензора пригласил Полонского. Приглашение последовало по рекомендации Н. Щербины, которому вначале это место было предложено. Полонский растерялся: перейти в стан чиновников, профессию которых он всегда недолюбливал, было против его убеждений. Полонский обратился за советом к Н. Некрасову. Позже Яков Петрович рассказывал: «*Некрасов засмеялся. Он назвал меня Дон-Кихотом, чуть не дураком,* – и далее прямая речь Некрасова, – *Вам дают место в 2500 рублей жалования, а Вы, бедный человек, будете отказываться. Да это просто глупо!*» В Комитете цензорские должности занимали талантливые российские литераторы: Ап. Майков, А. В. Никитенко, И. А. Гончаров. Яков Петрович не пожалел о своём выборе и всю оставшуюся жизнь, 38 последующих лет, служил в Комитете. Младший цензор раз в неделю являлся на работу и забирал домой на просмотр иностранные книги и журналы, которые позже могли быть разрешены им для чтения гражданами России, владеющими иностранными языками.

Яков Петрович полиглотом не был. Его спрашивали, как при слабом знании языков он берётся определять, достойна ли чужестранная печатная продукция быть рекомендована к распространению в России. Полонской несерьёзно отвечал, что ищет в тексте слово *Царь* и переводит со словарём только сопутствующие эпитеты.

При таком способе поиска крамолы чрезвычайное происшествие не могло не произойти. Монархический либерал Яков Полонский разрешил к продаже на английском языке книгу Артура Бута «Роберт Оуэн, основатель социализма в Англии». Так как к книге был проявлен читательский интерес, то кто-то предложил перевести книгу на русский язык, но потребовалось в данном случае разрешение цензуры, которая ведала контролем над русскоязычными изданиями. Однако такого разрешения не последовало: петербургский цензор запретил книгу, разрешенную Комитетом иностранной цензуры. Скандал! Результатом неординарного инцидента было предписание Главного управления по делам печати о выговоре младшему цензору Комитета. Вмешательство Тютчева спасло Полонского от более строгих санкций.

8 июля 1860 года после неполных двух лет семейной жизни скончалась жена Якова Петровича, Елена Васильевна, урожденная Устюжская, дочь псаломщика, старосты парижской православной церкви. (Полонский познакомился с Еленой в 1858 году. Он квартировал в парижском Pension Mugniier, по соседству с церковью). Мать Елены была француженка, в семье говорили только по-французски. Елена русского языка почти не знала, Яков Петрович – французского. Языки они осваивали после свадьбы... Это был союз по страстной любви немолодого уже поэта и юной девушки. Их чувства сверкнули ярким, но, увы, печальным фейерверком (незадолго до смерти Елены не выжил их малыш). Хоронили Елену друзья семьи Полонских, Штакеншнейдеры, поэты Майков, Михайлов, Щербина. Несчастного и одинокого Якова Петровича на время приютили Штакеншнейдеры.

Как-то Яков Петрович серьёзно травмировал ногу (и до конца дней вынужден был пользоваться костылём) и Елена Васильевна с грустью сказала тогда больному мужу: «*Не везёт тебе, бедный Жак*». Это были пророческие слова: её Жак был невезучим человеком.

О своей нелёгкой доле Полонский грустно иронизировал: «*Моя судьба, старуха, нянька злая...*» В неравной борьбе с жизненными бедствиями спасала поэзия: «*Меня гармония учила по-человечески страдать*», но порою муза была бессильна и обращалась к поэту с безнадёжным отчаянием: «*Я петь не могу, – я устала, поэт!*» Тема страданий, одна из главных в мировоззрении поэта, прошла красной нитью через его творчество. Абстрактное изречение философа Декарта «*Мыслить – значит существовать*» у поэта Полонского звучало человечней: «*Страдать – значит существовать*». Его афоризм «*Нет конца стремленью, есть конец страданью*» отражал настроения русской интеллигенции, которой надлежало на своих плечах выносить мировую скорбь и одновременно сомневаться и страдать. Ещё в университете студент Аполлон Григорьев поинтересовался у однокашника, студента Якова: «*Ты сомневаешься?*» – «*Да*». «*И ты страдаешь?*» – «*Нет*». Григорьев возмутился. Жизнь не баловала Полонского удачами. Труд и страдания формировали личность поэта: «*О Боже, Боже!// Не Ты ль вещал, когда мне дал живую душу: // Любить – страдать, страдать и жить – одно и то же*».

Смерть Елены Васильевны сблизила Якова Петровича и Фёдора Ивановича, также тяжело пережившего кончину первой супруги (в 1838 году). С 1861 года имя Полонского часто упоминается в переписке и дневниках членов тютчевской семьи. Яков Петрович был нередким гостем у Тютчевых. О дружбе Тютчева и Полонского А. А. Фет упомянул в одном эпизоде записок «Мои воспоминания». Афанасий Афанасьевич как-то хотел встретиться с Тютчевым перед его отъездом за границу: «*...я сказал Як. Петр. Полонскому, бывшему* ***в самых интимных отношениях*** *с Тютчевым, о желании проститься с поэтом...*».

Лето 1863 года Полонский провёл в Овстуге, родовой усадьбе Тютчевых. Он почти не отдыхал, много здесь работал. Сохранились рисунки и акварели тютчевского имения, выполненные Яковом Петровичем (Полонский был неплохим художником и даже стажировался в Швейцарии).

Яков Петрович продолжал тосковать по Елене. И хотя постепенно жизнь восстанавливалась, душевное состояние ещё не обрело покоя. Кому адресовал 44-летний поэт столь необычную лирику того времени?

И рассудок, и сердце, и память губя,
Я не даром так жарко целую тебя —
Я целую тебя и за ту, перед кем
Я таил мои страсти — был робок и нем,
И за ту, что меня обожгла без огня,
И смеялась и долго терзала меня,
И за ту, чья любовь мне была бы щитом,
Да убитая спит под могильным крестом.
Всё, что в сердце моём загоралось для них,
Догорая, пусть гаснет в объятьях твоих.

Известно, что Яков Петрович увлёкся тогда Марией, 23-летней дочерью Тютчева. Через полгода он сделал ей официальное предложение. И хотя можно предполагать, что в 4-й строке, вероятно, имелась в виду дочь Фёдора Ивановича, стихи предназначались явно не ей. Она, возможно, и не знала об этом стихотворении, в её дневниках оно не упомянуто, но душевный настрой поэта, его незатихающая тоска по усопшей жене несомненно Марии были ведомы. Ей, молодой жизнерадостной девушке, связывать свою жизнь с пожилым тоскующим *дядькой* было ни к чему. Она безоглядно, как это бывает только в молодости, влюбилась в красавца-моряка, мужественного героя Севастопольской обороны, флигель-адъютанта Николая Бирелёва.

А зря...

Бирелёв тоже не был юношей (всего на 4 года младше Полонского). Его культурные запросы не шли ни в какое сравнение с предыдущим претендентом на руку и сердце дочери Тютчева. Родители Марии были против этого брака, но сердцу не прикажешь. Свадьба состоялась. Через несколько лет Бирелёв из-за полученной в бою сильной контузии начнет утрачивать умственные способности и будет пожизненно госпитализирован. Менее года проживёт родившийся ребёнок. Через 8 лет Мария скончается от чахотки. Но эти несчастья произойдут потом... По какому сценарию прошла бы жизнь Марии, не откажи она Полонскому?.. До свадьбы Марии и Бирелёва Яков Петрович перестал бывать у Тютчевых.

Внутреннее одиночество давило. В 1864 году появилось трогательное стихотворение «Последний вздох», посвящённое памяти Елены:

“Поцелуй меня...
Моя грудь в огне...
Я ещё люблю...
Наклонись ко мне».
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души догорающий.
Я дышать не смел —
Я в лицо твоё,
Как мертвец глядел —
Я склонил мой слух...
Но, увы! мой друг,
Твой последний вздох
Мне любви твоей
Досказать не мог.
И не знаю я,
Чем развяжется
Эта жизнь моя!
Где доскажется
Мне любовь твоя!

Это стихотворение очень любил А. Фет. Критик Н. Страхов восклицал: «*Какая музыка, какая невыразимая прелесть...*» Музицирующий граф Г.А. Кушелев-Безбородко написал романс «Последний вздох». (Одарённый граф был также автором романсов и на слова Тютчева).

Музыкальность поэзии Полонского ощущали многие композиторы, в числе которых П. И. Чайковский, М.М. Иванов, А.Г. Рубинштейн. Иваном Буниным особенно любима была «Затворница»:

В одной знакомой улице —
Я помню старый дом,
С высокой тёмной лестницей,
С завешенным окном.

Удивительно, «Затворница» стала народной песней в среде политкаторжан. Александр Блок был в восторге от стихов:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблён, мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

Особой популярностью пользовалась «Песня цыганки»:

Мой костёр в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.

На либретто Якова Полонского П. И. Чайковским написана опера «Черевички». Петром Ильичём была также написана кантата на слова Полонского к открытию выставки в честь 200-летия со дня рождения Петра I.

4 августа 1864 года скончалась Елена Александровна Денисьева, молодая женщина, с которой 61-летний Тютчев был близок в течение 14 лет, последняя любовь Фёдора Ивановича, воспетая им в стихотворных шедеврах, названных позже «Денисьевским циклом». Общее горе ещё более сплотило двух поэтов. Связь Тютчева с Денисьевой порицало общественное мнение. Единственный человек, к которому в тяжёлую минуту смог обратиться Тютчев, был больной Яков Петрович: «*Что с Вами, друг мой Яков Петрович, что Ваше здоровье? — О, как мне больно, и за Вас и за себя, что Вы нездоровы. Мне с каждым днём хуже. Надо уехать, бежать — и не могу решиться. — Воля убита, всё убито*». Эти строки были написаны через 11 дней после смерти Денисьевой. Вот декабрьское тютчевское письмо, полное воспоминаний об ужасных предчувствиях: « *Друг мой, Яков Петрович!<...>Человеку дан был крик для страдания, которых и крик вполне не выражает... <...>Ещё при её жизни, когда мне случалось при ней, на глазах у неё, живо вспомнить о чём-нибудь из нашего прошлого, нашего общего прошлого, — я помню, какою страшною тоскою отравлялась тогда вся душа моя — и я тогда же, помнится, говорил ей: «Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания — всё это, что и теперь уже так страшно, придётся одному из нас повторять одинокому, пережившим другого», но эта мысль пронизывала душу — и тотчас же исчезала. А теперь. ...О друг мой, Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело. Я знаю, часть этого Вы на себе самом испытали, часть, но не всё, — вы были молоды, вы не 14 лет...*»

Поэт Полонский выражал своё сочувствие поэту Тютчеву, сравнивая его с ночным костром в зимнем лесу, а себя с одиноким путником, спешащему к этому костру:

Ночной костёр у перелеска,
Бог весть кем запалён, пылает на бугре,
Вокруг него, полны таинственного блеска,
Деревья в хрусталях и белом серебре;
<...> Так и к тебе, задумчивый поэт,
К огню, что ты сберёг на склоне бурных лет,
Счастливец не придёт.
<...>
Но я — я бедный пешеход,
Один шагаю я, никто меня не ждёт...
Глухая ночь меня застигла,
Морозной мглы сверкающая и́гла
Открытое лицо моё язвят;
Где б ни горел огонь, иду к нему, и рад —
Рад верить, что моя пустыня не безлюдна,
Когда по ней кой-где огни ещё горят...

Страдающий Тютчев отвечал «Другу моему Я. П. Полонскому»:

Нет боле искр живых на голос твой приветный:
Во мне глухая ночь и нет для нас утра!
И скоро улетит во мраке незаметный,
Последний, скудный дым с потухшего костра.

Стареющий Яков Петрович после отказа Марии Тютчевой считал, что останется бобылём. Но вот 13 мая 1866 года в доме врача Конради 47-летний Полонский знакомится с юной Жозефиной Антоновной Рюльман, компаньонкой Антонины Христиановны Лавровой, жены революционера Петра Лавровича Лаврова. Антон Рюльман, брат Жозефины, также жил в семье Лавровых на правах домашнего учителя их сына. На немецком языке говорили все члены семьи Лавровых. Брат и сестра Рюльманы были незаконнорожденными сиротами и не имели фактически средств к существованию. Сложность жизни красивой девушки в доме Лавровых усугублялась настойчивыми ухаживаниями за ней главы семьи. И хотя ухаживания эти решительно отвергались, драматичность и двусмысленность положения Жозефины не исчезали. За 3 недели до встречи Якова Петровича с Жозефиной, 25 апреля, Петра Лаврова по делу о покушении на царя арестовали. Даже из Петропавловской крепости Жозефина продолжала получать от Лаврова страстные записки.

2 июня Яков Петрович сделал предложение Жозефине: «*Если б в голове моей возникло хоть малейшее сомнение в том, что я люблю Вас, если б я в силах был вообразить себе те блага или те сокровища, на которые я мог бы променять счастье обладать Вашей рукою, если б на минуту струсил пе ред неизвестным будущим, я счёл бы чувство моё непрочным, скоропреходящим, воображаемым — и, поверьте, не осмелился бы ни писать к Вам, ни просить руки Вашей*».

Письмо произвело впечатление, но ответного чувства не последовало. Жозефина дала согласие на брак: ей попросту некуда было голову приклонить. Невеста плохо изображала любовь. Полонский чувствовал её холодность и с болью в сердце сказал Жозефине, что без её сердца ему не нужно её руки.

17 июля Яков Петрович и Жозефина Рюльман обвенчались. Счастливыми молодожёны себя не почувствовали. Надо было друг к другу как-то привыкать. Елена Андреевна Штакеншнейдер записала в дневнике: «*Новая жена Полонского первое время была холодной и молчаливой, как статуя. Голубиная душа отогрела статую, и статуя ожила. Потом обошлось, они сжились*». Летом 1868 года родился сын Александр, через 3 года — дочь Наташа, ещё через 4 года — сын Борис. (Антон Антонович Рюльман, брат Жозефины, стал известным врачом.)

Тютчев и Полонский часто встречались и вне служебной обстановки. Профессор А. В. Никитенко записал в дневнике 26 марта 1870 года: «*Вечер у Ф. И. Тютчева. Гостей было довольно. На вечере были читаны славянофильские стихотворения: Тютчева («Гусс»), Майкова и Полонского («Симеон Болгарский»)*».

Яков Петрович Полонский, чиновник государственной службы, в соответствии с табелей о рангах повышен в чин действительного статского советника с обращением к нему *Ваше превосходительство*. В Комитете ему был предложен высокооплачиваемый пост старшего цензора. Но за увеличенную зарплату необходимо каждый день ходить на работу. Поэт, верный принципам своей независимости, от предложения и от увеличенной платы отказывается. Но средств в семье не хватает и поэт соглашается служить домашним учителем (за 5000 рублей в год) в семье капиталиста С. С. Полякова. Впрочем, не надолго.

В 1873 году умирает Фёдор Иванович Тютчев, друг, коллега, учитель Полонского. Яков Петрович откликается проникновенными стихами:

Оттого ль, что в божьем мире
Красота вечна,
У него в душе витала
Вечная весна;
<...>
Оттого ль, что от бездушья,
Иль от злобы дня,
Ярче в нём сверкали искры
Божьего огня, –
<...>
Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И, как звёздный луч, тянула
В бесконечный путь!...

После смерти Тютчева председателем Комитета стал Павел Петрович Вяземский, сын князя Петра Вяземского. Позже (с 1881 года) Комитет возглавлял Ап. Майков.

У Жозефины Антоновны обнаружился талант ваятеля. Яков Петрович поддерживал любительское увлечение жены. Её работы стали появляться на выставках и многие из них известны по сей день. Скульптурные портреты И. Тургенева установлены в Одессе и на могиле писателя. Большой бюст Пушкина её работы был установлен в саду Императорского Александровского лицея.

С лета 1878 года широкую известность получили в Петербурге *пятницы* в доме Полонских на Владимирском проспекте 13. Идея *пятниц*: во имя прогресса и общего блага собирать в единую дружную семью деятелей науки и искусства независимо от их взглядов и убеждений. *Пятницы* начинались поздно вечером, после концертов и спектаклей. Посещали их литераторы: Лесков, Гаршин, Аверкиев, художник Айвазовский, историк Соловьёв, пианистка Синягина-Блюменфельд и др. Традиция *пятниц* продолжалась и после смерти Полонского до 1916 года. Неизменной *«почётной хозяйкой и непременным членом современного литературно-художественного кружка имени Я. П. Полонского»*, как сообщалось в справочниках «Петербург весь», оставалась Жозефина Антоновна Полонская. Секретарём-распорядителем кружка все годы был Борис Яковлевич Полонский, сын поэта. Борис Яковлевич также известен в среде петербургской интеллигенции как *«товарищ председателя дирекции художественно-драматического общества»*. До больших высот подняться не успел: революция смела не только это общество...

Пушкин всегда был кумиром Якова Петровича. Роман в стихах «Свежее предание», опубликованный во «Времени» (журнале братьев Достоевских), был написан Полонским размером онегинской строфы:

Метель, шумя по чердакам,
С дощатых кровель снег сдувает;

Фонарь таинственно мигает
Двум отдалённым фонарям,
Закрыты ставни у соседей;
Высоко где-то на стекле
Свет огонька дрожит во мгле.

В строфе тютчевское неприятие точки как знака препинания.

19 октября 1891 года Якову Петровичу по конкурсу присуждается Пушкинская премия.

По инициативе Ап. Майкова в декабре 1896 года был создан юбилейный комитет для торжественного празднования 50-летия поэтического творчества Якова Петровича. Друзья Полонского знали, что в 1837 году юный Яков адресовал стихи наследнику-цесаревичу, посетившему (в сопровождении воспитателя князя В. Жуковского) рязанскую гимназию, и получил тогда свой первый гонорар, золотые часы.

Чествование состоялось 10 апреля 1897 года. (Аполлон Майков, многолетний друг, коллега и последний председатель Комитета иностранной цензуры, до этого дня не дожил). За литературный вклад в культуру России 78-летний Полонский к своему юбилею был избран членом-корреспондентом Академии наук России. Бывший *литературный враг* Якова Петровича, критик, поэт и общественный деятель Д. Д. Минаев, обратился к юбиляру со стихами:

Твоя задумчивая муза,
Поэта нежная сестра,
Не знала тёмного союза
С врагами света и добра.
К призывам буйного их пира
Глуха, шла гордо за тобой
И не была у сильных мира
Ни приживалкой, ни рабой.

Этим стихотворением Минаев отвечал Полонскому на стихи 31-летней давности, в которых Яков Петрович выступил в защиту *литературного врага*, посаженного за свои убеждения в Петропавловскую крепость:

Господа! я нынче всё бранить готов —
Я не в духе — и не в духе потому,
Что один из самых злых моих врагов
Из-за фразы осуждён идти в тюрьму...
<...>
Я вчера ещё перо моё точил,
Я вчера ещё кипел и возражал;
А сегодня ум мой крылья опустил,
Потому что я боец, а не нахал.
<...>
Что же делать? и кого теперь винить?
Господа! во имя правды и добра —
Не за счастье буду пить я — буду пить
За свободу мне враждебного пера.

Таков был русский поэт Яков Петрович Полонский. И ещё одно стихотворение вольнодумного монархиста, младшего цензора Комитета иностранной цензуры («В альбом К. Ш.»):

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущён,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражён,
Когда поражена свобода...

Через 1,5 года после юбилея, 18 октября 1898 года, поэт скончался. Тело его было погребено в Льговском монастыре рядом с матерью. Весной 1958 года прах Якова Петровича перезахоронили на территорию Рязанского кремля.

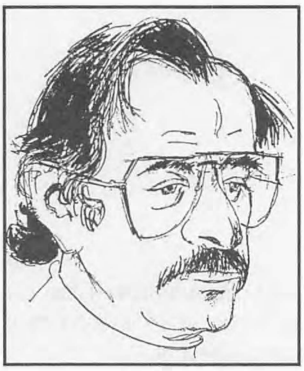
Многотомное полное собрание сочинений Полонского было подготовлено и издано Жозефиной Антоновной. Перу Полонского принадлежат многие стихотворные и прозаические произведения, в т. ч. великолепные переводы, поэмы, романы, критические статьи, интереснейшие исследования истоков и законов поэтического творчества, воспоминания о Л. Мее, И. Тургеневе, Н. Успенском, Т. Шевченко, М. Михайлове (талантливом литераторе, погибшем на сибирской каторге), и даже сказки, но в русской культуре его имя связывается, главным образом, с лирической поэзией. Виссарион Белинский о Якове Петровиче: «*Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли и никакая учёность не сделает человека поэтом*».

Давний друг Полонского Елена Андреевна Штакеншнейдер влюблено писала о нём: «*...у Полонского не лира, а золотая арфа. Он так чуток, он передаёт такие для простых смертных неуловимые звуки человеческого сердца или природы, что кажется чем-то нездешним, небывалым; он, кажется, и в самом деле имеет дар слышать, как растёт трава*». Может быть, и эти стихи имела в виду Елена Андреевна:

Моё сердце — родник,
Моя песня — волна,
Пропадая вдали разливается...,
Под грозой моя песня, как туча темна,
На заре в ней заря отражается.

И. Тургенев: «*...в его поэзии смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором ещё лежит отблеск пушкинского изящества и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений*». Понимание поэтического кредо Яков Петрович выразил образно и категорично:

Пока в тебе кипят и замыслы и чувства,
И можешь ты негодовать;
Пока язык идей и красоты искусства
Тебя способны восторгать;
Пока в труде своём находишь ты отраду,
В друзьях свой суд, в любви — награду,
И не страшит тебя с врагами честный бой,
Поэзия ещё с тобою, милый мой.



Марлен ГЛИНКИН
Берлин

О Киеве, Печерской лавре и...

За что парижане любят Париж, римляне – Рим, одесситы – Одессу, евреи – Иерусалим, а цыгане вокзалы и метрополитен? За то, что там все близкое и родное. И еще каждый за свое. Например, мы, киевляне, любим свой город еще и за то, что очень многое начиналось в Киеве. Ведь Киев – альма-матер городов русских.

Он стоит на Днепре, до середины которого вряд ли долетит редкая птица ...колибри.

Город делится на две части – правую и левую. Правый берег убежден, что Днепр течет слева направо, а левый берег утверждает, что справа налево!

Как все уже давно знают, в Киеве была придумана Москва и изобретен бильярд, один из атрибутов которого назван в честь князя Кия, основателя города. Можно даже сказать, что град Киев основали три князя: Кий, Щек и Хорив и их общая сестра Лыбедь.

Конечно, неразумным хазарам сразу стало куда набегать. Они и набежали. Стало плохо с жильем. Плохо до сих пор. А тогда из-за этого пришлось город сжечь.

Потом после крещения статуя Перуна поплыла по Днепру и заклинила турбину Каневской ГЭС. Русь окутала мгла средневековья.

Мракобесы вышли из прибрежных пещер и бесились на открытом мраке. А на востоке хан Батый поехал пасти орду и заблудился.

Стали ждать, пока язык до Киева доведет. Скоро взяли языка, и он довел.

Тем временем на княжьем столе звонил вечевой телефон. Но князь, как всегда, в это время закладывал... очередной храм. А когда он закладывал, то очень плохо слышал.

Но на всей Руси и далеко за ее пределами народы хорошо слышали, что именно в Киеве находится знаменитая Киево-Печерская лавра. Она, по преданию, приснилась когда-то двенадцати братьям-зодчим, которые ее вслед за этим и построили.

Нынешним архитекторам здания такого облика и долговечности даже не снятся. Хотя, если быть справедливыми, долгие девять столетий труд народных мастеров складывают ее облик.

Уникальные художественно-архитектурные памятники, входящие в ее ансамбль, отражают сложный путь украинской культуры.

Территория лавры – 28 гектаров, на ней около ста исторических сооружений, из которых 42 – памятники архитектуры.

Древние зодчие не согласовывали планировку ансамбля с «мудрым» Госстроем, а просто, по божественному наитию, расположили архитектурный ансамбль лавры, используя природную красоту киевского рельефа: на относительно ровном плато – Верхняя лавра, на откосе горы – Ближние пещеры с Крестовоздвиженской церковью XVIII века и рядом зданий, а дальше на возвышенности – Дальние пещеры со знаменитой церковью Рождества богородицы XVII века.

Не в архивах ЦК КПУ и КГБ, а в «Повести временных лет», черным по белому записано, что монастырь был основан еще в 1051 году, когда последние организации не могли присниться людям даже в самом страшном сне.

Прослышав об отсутствии на Руси «кагебешных молодцов», монахи вышли из пещер, переселившись в наземные каменные храмы. Пещеры стали использовать для захоронений святых монахов и мирской знати, предопределив будущее строительство московского мавзолея и кладбища для «слуг народа» в Кремлевской стене.

Еще с тех давних пор князья не только закладывали, но и стремились усилить свою власть, беря на вооружение идеологию православной церкви, даже не предполагая, что через много веков князья и бояре нового типа сменят ее на идеологию Владимира – антихриста и вождя мирового пролетариата.

И потекли в монастырь княжеские дары: богатые земельные угодья, злато и серебро.

Новые церкви украшались колоннами, карнизами, скульптурами и другими порочно-барочными элементами.

Золотые шапки куполов засверкали в лучах солнца, сплошь покрытые «сусальным» золотом.

Главный вход заповедника – Троицкая надвратная церковь, сооруженная в XII веке, обрамленная с двух сторон каменными оборонительными стенами.

Церковь – образец четырехстопного крестовокупольного храма, интерьер которого украшен настенной живописью в стиле барокко с персонажами библейских легенд.

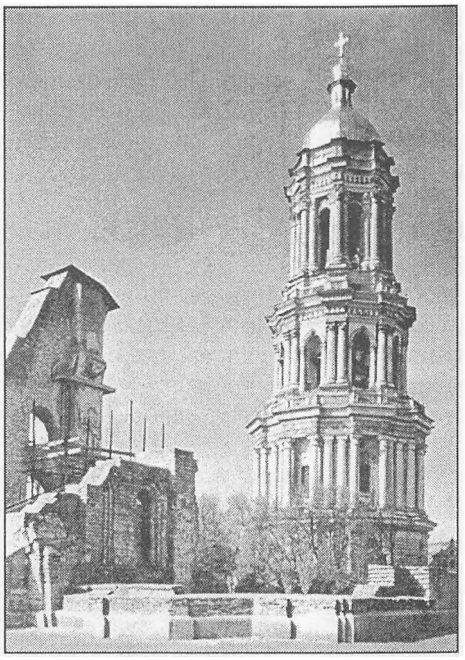
В 1073 – 1089 годах появился на свет уникальный по своей архитектуре – Успенский собор, возведенный на Соборной площади.

Украшали храм фресками и мозаиками не только братья-славяне, но и варяги по пути в греки и греки по дороге в варяги... Правда, особую лепту внес древнерусский художник Алимпий.

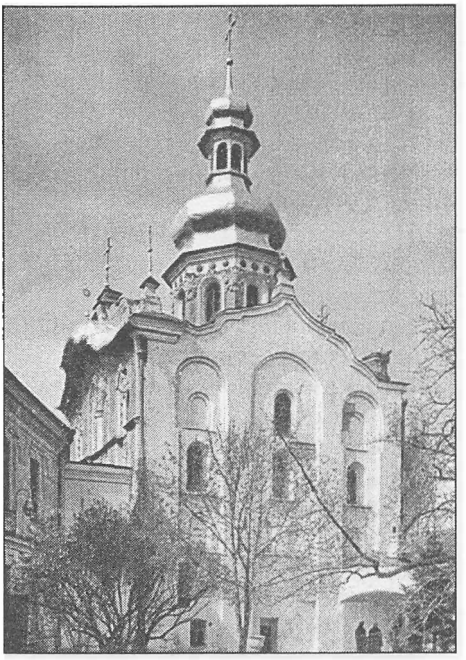
Собор, простоявший более восьми столетий, пал от рук немецко-фашистских оккупантов в первый год Великой Отечественной войны. Об этом варварском акте вандалов почти до самой перестройки твердила совдеповская пропаганда. Именно в годы гласности нашлись люди, рассказавшие миру правду об истинных варварах, имевших большой опыт уничтожения храмов – коммунистах-ленинцах.

Киевские подпольщики заминировали Успенский собор, ожидая прибытия гауляйтера Украины – генерала Коха. Но то ли радиосвязь была несовершенной, то ли исполнители акции проспали – взрыв произошел, когда Кох покинул территорию лавры. Об этом красноречиво свидетельствуют кадры немецкой кинохроники, долгие годы скрываемые в хранилищах.

Нужно сказать, что коммунистическое иго за семьдесят лет своего существования принесло лавре больше бед, чем татары с монголами вместе взятые. Свидетельством тому пророческие документы, отпечатанные в лаврской типографии, основанной в 1615 году.



Большая лаврская колокольня и руины Успенского собора



Троицкая надвратная церковь – главный вход в заповедник

Трапезная церковь, Большая колокольня и сохранившаяся часть Успенского собора (слева направо)



Еще задолго до выхода в свет первого номера ленинской «Искры» из искры, брошенной ученым и поэтом П.Берындой, в 1626 году явился миру печатный словарь «Лексикон славенороссий и имен толкование», а уж о букварях, учебниках по истории и языкознании и календарях, говорить не приходится.

В 1922 году большевики выгнали из лавры монахов, закрыли монастырь, превратив лавру в заповедник атеистической пропаганды, а многочисленные лаврские архивы отдали под неусыпный надзор НКВД и КГБ.

Тогда же «всевидящее око» обратило свой взор на Большую лаврскую колокольню, построенную архитектором И.Шеделем в 1745 году.

Колокольня – восьмигранное четырехъярусное сооружение высотой 96,5 метров, украшенное богатым архитектурно-художественным декором.

Вес колоколов, висящих на третьем ярусе, составлял 80 тонн. А звон курантов, плывущий каждые четверть часа над заповедником, на протяжении веков радует слух киевлян и гостей столицы Украины.

Пророческими оказались слова архитектора Шеделя:

«Тебя, величавое творение, созданное моим воображением и усердием, встретят торжественно потомки».

И большинство потомков наслаждалось звоном курантов и колоколов, а меньшинство – постоянно подслушивало их «наслаждение»...

Дело в том, что в подкупольной части колокольни на долгие годы обосновалось целое скопище «электронных слухачей», интересующихся гласом народа не только на лаврской территории, но и далеко за ее пределами.

Только по Высочайшему повелению разрешалось подниматься на смотровые площадки башни избранным заморским и союзным гостям, где их, естественно, прослушивали с большим удовольствием.

Вообще, встреча глав государств и правительств – был особый лаврский ритуал: торжественные эскорты черных автомашин и мотоциклистов, толпы сопровождающих, цветы, подарки...

Подарки дарились с «барского плеча» – не выходя из музеев.

Заморскому гостю – одеяние великорусского князя, украшенное золотым шитьем и полудрагоценными камнями; руководителю дружественной республики – серебряную дарохранительницу или кубок XVII – XVIII века.

А почему бы нет?!.. Народ – взял, народ – дал!..

Смешно! Но только при Советах могло так случиться, что отсутствовал учет музейных ценностей вплоть до 1977 года... Уникальными рамами, снятыми с иконостасов, растапливали лаврские котельни...

Истопник-сантехник, дядя Федя, любил повторять свой пьяный афоризм: «Пришел человек, попросил бросить пару палок!»

И горели в огне произведения искусства, исчезали бесценные вещи и то, что было награблено в период правления антихристов Владимира и Иосифа, кануло в вечность при младшеньком киевском Владимире, который на волне перестройки сам канул в небытие.

Недаром, в семидесятые годы, в канун празднования очередной годовщины Октября, какой-то умелец метровыми буквами написал на крепостной стене: «Долой Щербицкого!»

Целые сутки благодарные жители Киева и гости столицы могли любоваться этим народным творчеством, подъезжая к лавре по мосту имени Патона через Днепр.

Кстати, умельцев на протяжении веков в лавре было великое множество. Самый выдающийся среди них, наш современник – мастер народного творчества Украины Николай Сядристый.

Только на единственной в мире «Выставке микроминиатюр» можно увидеть золотой фрегат длиной 3,2 миллиметра, в котором 348 деталей.

Его плетеные золотые «канаты» поддерживают 18 кованых парусов, причем каждый «канат» в 400 раз тоньше человеческого волоса.

А рядом, на торце волоса лежит золотой замок, состоящий из 14 деталей. Из одного грамма золота можно сделать один миллион таких замков...

А действующий электромоторчик, который в четыре раза меньше макового зерна; золотая стрекоза с алмазными крыльями, глаз которой – электронные часы на 32 рубиновых камнях; самая маленькая в мире книга – «Кобзарь» Т.Шевченко размером 0,6 кв. мм, состоящая из 12 страниц с текстами и иллюстрациями, и многие другие произведения микроискусства.

Десятки стран нашей планеты, в которых побывала эта выставка, были потрясены работами лаврского Левши.

Еще одна достопримечательность лавры – церковь Спаса на Берестове – памятник архитектуры XI столетья.

Именно в ней захоронен великий князь Юрий Долгорукий – основатель Москвы.

Много веков прошло с тех пор, и фрески храма залепили штукатуркой. Но как-то раз штукатурка от сырости вспучилась, и научный мир и посетители увидели уникальную библейскую фреску XII века «Чудесный лов рыбы». Пришлось снять все последующие наслоения, так что фреска не виновата, что она частично пострадала.

Нужно сказать: на «долгоруких» Печерской лавре везло в печальном смысле этого слова. Особенно отличился директор-восьмидесятник, Юрий. При наличии иной фамилии, он оказался очень «долгоруким», ибо имея долгие руки во властных структурах, прибрал к рукам не только музейные ценности, но и ценности строительно-реставрационные, о чем свидетельствовали многие элитные дачные сооружения.

В годы его правления считалось большим шиком списать за трешку каменную икону XV столетья или за пятерку – живописное полотно мастеров лаврской школы.

«Бог терпел и нам велел», – шептался между собой молчаливый лаврский люд.

А все это было возможно потому, что богата была лавра своими сокровищами, которые десятилетиями тащили товарищи и господа, да не все еще успели вытащить...

Даст Бог, при «кучмоватом» президенте да при покрасневшем на последних выборах парламенте «долгоруким» удастся еще кой-чего выудить из лаврских закромов. Правда, сегодня это уже сделать сложнее, в связи с передачей основных сооружений лавры ее истинным хозяевам – Киево-Печерскому монастырю и Духовной академии.

Продолжая знакомство с Верхней территорией лавры, мы обязательно обратим внимание на Всехсвятскую церковь – шедевр отечественного зодчества, жемчужину украинской архитектуры.

Фасады сооружения украшены пилястрами со множеством поясков, ниш и картушей, а наличники окон обрамлены треугольными фронтончиками, что создает богатую игру светотени, придает силуэту церкви удивительную пластичность и в то же время подчеркивает четкость и стройность компактных объемов. Росписи интерьеров выполнены учениками лаврской живописной школы под руководством художника И.Ижакевича.

К югу от руин Успенского собора – Трапезная палата с церковью, созданная по проекту архитектора В.Николаева в 1893–95 годах. К ней примыкает здание XVIII века с высоким фронтоном, принадлежавшее когда-то наместнику лавры.

Нужно сказать, что интерьер Трапезной церкви сильно пострадал в шестидесятые годы от рук «мракобесов». Коммунистическо-атеистическая пропаганда всячески умаляла облик Христа, воссозданный в куполе храма.

Тридцать шесть окон, венчающих купольный барабан, были так величественно связаны с восходом и перемещением солнца по небосводу, что постепенно озарялся весь лик Господа, а полуденное светило зажигало Его золоченый нимб.

Изображение Христа было срочно «записано», окна забиты фанерными щитами, а вместо иконостаса установлены «лики» космонавтов и космических кораблей. В довершение варварства, грохнули с двадцатиметровой высоты полуторатонную бронзовую люстру-паникадило и подцепили на стальном тросе металлический шар – маятник Фуко.

И превратилась чудо-церковь с прекрасной акустикой и шедеврами настенной живописи в музей атеизма.

Это святотатство продолжалось до самой Олимпиады-80, когда в ожидании многочисленных заокеанских гостей «мудрое руководство» решило вернуть церкви первозданный вид. Под шумок отреставрировали находящиеся у северной стены могилы известных украинских исторических деятелей Ивана Искры и Василия Кочубея – реликвию, напоминающую о Полтавской битве, о совместной борьбе русского и украинского народов против чужеземных захватчиков.

О временах Петра I вспомнили, а о более поздних годах благополучно забыли, надолго оставив под асфальтовым покрытием забетонированное надгробье великого реставратора России П.Столыпина.

С видовой площадки Верхней лавры открывается величественная панорама на Заднепровье и архитектурные ансамбли Ближних и Дальних пещер.

Два изолированных друг от друга пещерных лабиринта, вырытые в глубине высоких днепровских круч, получили свое название в зависимости от их удаления от Успенского собора. Длина Ближних пещер – 228 метров, а Дальних – 280,5 метров. Залегают они на глубине от 5 до 10 метров, ширина до 1,5 метров, а средняя высота проходов – 2 метра.

Геологическая структура почвы – пористый песчаник, поглощающий влагу, и постоянная температура +10–12 градусов способствовали естественной мумификации захоронений.

В годы разгула красного террора, изгнанные из лавры монахи унесли с собой все планы подземных сооружений, чем предоставили атеистам-исследователям «полную свободу действий».

«Беспросветная» хозяйственная деятельность «красных монахов» привела к неисчислимым потерям и разрушениям. Уничтожались древние водоотводные сооружения, повлекшие за собой многочисленные провалы на лаврской территории. Подмачивались и разрушались участки пещерных лабиринтов. К стихийным разрушениям прибавлялись мирские: соблюдая температурный режим, монахи ходили в пещеры со свечами, строго ограничивая число посетителей, а исполнители совдеповских планов, соорудив электроподсветку, увеличили количество экскурсантов до десятков тысяч в месяц.

Переувлажнения сводов и повышения температуры не выдержали не толь-

ко грунтовые своды пещер, но и «миротворные главы» святых монахов, расположенные в пещерных кельях. В последний раз эти, постоянно сухие главы-черепа, самопроизвольно слезоточили в годы закрытия монастыря, а теперь «святое диво» повторилось вновь. Взятая учеными на анализ «слезная жидкость» оказалась не чем иным как природным белком.

Однако, это было не единственное потрясение ученых мужей: при расчистке треснувших участков пещерных стен обнаружились объемные пустоты с множеством захоронений. Наука стала в тупик!

В лаврских пещерах, где все захоронения сугубо индивидуальны, – вдруг до сотни скелетов в одном месте. Сенсация! Но еще большее удивление вызвали обнаруженные в Ближних пещерах массовые женские захоронения... и даже с внутриутробными детьми. Женщины в мужском монастыре?!... Тут-то и обнаружилось бессилие науки, неспособной разобраться в тонкостях монастырской жизни.

Слава Богу, старик-монах, проработавший в лавре много лет дворником, умирая, раскрыл тайну святой церкви. Оказалось, что лаврская знать не только отпускала людям грехи, но и сама грешила, ибо ничто человеческое ей не было чуждо. В святой лавре был «гарем» для высшей знати! Побаловавшись с девушками, отпустив им грехи – отправляли их в мир иной, замуровывая в кельях, как монахов-затворников.

При раскопках явились миру захоронения отступников от веры: одни скелеты, скованные цепями, лежали в деревянных колодах; другие – в метровых круглых «гробах», причем каждый скелет был уложен по окружности и также скован цепями. Захоронения располагались под входом в кельи, дабы «отступников», в знак бесчестья, «топтали» ногами.

Судя по всему, обреченные доставлялись в пещеры из расположенной на Верхней территории Онуфриевской башни или церкви гетмана Мазепы. Там была обнаружена винтовая дубовая лестница, скрытая за металлическими шкафами, уходящая к подземному ходу, который вел: налево – к Ближним пещерам, направо – на левобережье реки Днепр. Приходится только удивляться искусству «метростроевцев» прошлых веков, способных проложить подземный ход такой протяженности и прочности под дном Днепра.

Кстати, нужно сказать, что в Ближних пещерах есть не только места «убиенные», но и три подземные церкви – Антониевская, Введенская и Варлаамовская. Иконостасы церквей отлиты из меди и позолочены в XIX веке мастером Ф.Коробкой.

Вход в пещеры и выход из них осуществляется через наземную, самую древнюю Крестовоздвиженскую церковь с тремя позолоченными куполами. Возведена она в 1700 году и, как все лаврские сооружения, стоит на идеальном богоугодном месте земной поверхности, свободной от аномальных зон.

Да, умели строить в старину! Без гидрологических исследований, без дорогостоящих проектов строили на века.

Процедура выбора места под церковь была проста, как правда.

Приходил человек с двумя палочками лозы и определял по их вращению благоприятное место. Затем на сутки оставляли в этом месте животных – коров, собак. Если они вели себя спокойно, не стремясь покинуть участок пребывания, тогда ставили пятиметровый дубовый крест и с восходом солнца падающая от креста тень являлась осью будущего храма. Вот почему посещение лаврских храмов оказывает благотворное, умиротворяющее, целебное воздействие на прихожан. В Крестовоздвиженской церкви поражает своим изящест-

вом и величием деревянный резной иконостас, выполненный в стиле рококо резчиком К.Швериным (1767 г.). Интерьер расписан в 1895 году художником Д.Давыдовым.

В непосредственной близости, на откосе горы, мастерами С.Ковниром и С.Итальянцем была возведена в 1763 году двухъярусная колокольня, придающая ансамблю Ближних пещер законченность и живописную выразительность.

От площади Ближних пещер, по гранитной лестнице можно спуститься в овраг, где расположены целебные источники святых Антония и Феодосия. Минеральная вода, не уступающая по целебным свойствам водам Мацесты, Железноводска, Пятигорска – обладает бесценным свойством обновления состава крови.

С глубины веков не прекращалось паломничество ходоков, дабы испить святой водицы или совершить омовение.

«Праздники святого Иоргена» прекратились во времена «царствования» на Украине безбожника Никиты – праотца «королевы полей» и «башмачной дипломатии». По высочайшему указу в одну ночь были забетонированы «святые» скважины, а паломники изгнаны далеко за пределы источников. Однако, природа не терпит вторжения в свои владения.

Буквально через несколько дней упал семидесятиметровый участок Крепостной стены – вода, как и люди, нашла свой выход...

Сегодня благодаря многолетним усилиям реставраторов и строителей целебные источники полностью восстановлены. Свободный и независимый (от кого?) украинский народ, вместо обильной трапезы, может пить целебную воду, даже без указаний парламента и правительства.

Хлебнув «святой» влаги и свершив омовение, по деревянной галерее можно пройти к Дальним пещерам. В них, как и в Ближних, три подземные церкви – Рождества, Феодосиевская и Благовещенская.

Ансамбль наземных построек Дальних пещер состоит из двух небольших церквей, колокольни и келий.

Самая древняя, увенчанная шатровым куполом, Анозачатиевская церковь, возведенная в 1679 году над входом в пещеры.

При выходе из пещер – семикупольная церковь Рождества Богородицы с колокольней, построенная в 1696 году. Эта церковь – уникальное явление в истории украинской архитектуры. Она представляет собой трехкамерный храм с тремя высокими светлыми куполами, к основному объему примыкают четыре небольшие пониженные часовни с апсидами и декоративными куполами.

На террасу, где расположена церковь, можно пройти через специально построенный корпус с аркадами, опирающимися на приземистые спаренные дорические колонки.

Рядом – кладбище-некрополь, где захоронены герои Отечественной войны 1812 года – это генералы П.Кайсаров и А.Красовский, генерал-фельдмаршал Ф.Остен-Сакен, адмирал Е.Путятин, генералы, участники освобождения Болгарии от турецкого ига в 1877–1878г.г. братья С. и Н.Леоновы, С.Аксакова (дочь известного русского писателя).

Здесь же удивительное сооружение ансамбля Дальних пещер – двухъярусная колокольня, построенная в 1761 году архитектором С.Ковниром, увенчанная изящным барочным куполом, вокруг которого по углам расположены устремленные ввысь острые шпили, создающие вместе с очертаниями купола и декоративной лепкой редкий по красоте силуэт.

Красоты лаврских силуэтов всегда раздражали «мракобесов». Иначе, чем можно было объяснить строительство рядом с уникальным лаврским ансамблем чуда коммунистического зодчества, прозванного народом «Уродина-мать», «Железная леди», «Лом-баба», «Клепанная мать»... Монумент, воздвигнутый горе-скульптором Бородаем в честь приезда в Киев «бровеносца в потемках» Ильича-победителя.

Воздвигли и изваяли ее так, что меч в руке скульптуры был на пять метров выше креста Большой лаврской колокольни.

Расположение креста и меча на одной горизонтальной оси создавало впечатление, что «Уродина-мать» грозит своим мечом православной церкви.

Это вызвало гнев Патриарха! С превеликим трудом удалось убедить «великого киевского князя» Владимира Щербицкого урезать длину меча, дабы уравнять по высоте колокольню и «Бабу».

Так и стоит она до сих пор: в одной руке меч – Дарнице грозит, в другой щит – от приезжих город обороняет. Стоит ни к селу, ни к городу – памятником застоя, изваянием безгласности, монументом творческой немочи и административного самодурства.

А Большая лаврская колокольня по-прежнему с высоты созерцает свои владения, с болью вспоминая о том, что было, и гадает: то ли еще будет, ой – ей – ей! Она думает о том светлом времени, когда перестанет коптить чернобыльский реактор, когда станет лучше с жильем и с уровнем жизни народа, когда можно будет многое увидеть... если останутся зрячие. Думает о том, когда парламент перестанет походить на дурдом, занимающийся построением идиотизма с хохлацким лицом и девизом: сумасшедший сумасшедшему друг, товарищ и врач; когда Конституция даст возможность народу демократично выбирать Главного врача большинством голосов: громких, тихих и буйно помешанных.

Когда такое время наступит?..

Сегодня все остается по-старому. Правда, «долгорукого» директора Юрия все-таки посадили... но не в тюрьму, а в кресло Управляющего делами украинской церкви при независимом правительстве Украины – друзья из дурдома помогли.

А что? Зашита независимого Сумасшедшего дома – это священный долг всех врачей и санитаров, служащих в команде Главного врача.

Ну, да Бог с ними! Радует, что не все в Киеве так уж и плохо... по части памятников, конечно...

На Андреевском спуске – дом-памятник, где жил Михаил Булгаков, зато никогда не жил Ленин, а этим не каждый город может похвастаться.

И только в Киеве каждую осень выпадает больше всего каштанов на душу и голову населения.

И только в Киеве, когда зимой дома набрасывают белые пледы, молодые снежинки тихонько целуют юношей и тают от счастья...

И только в Киеве, на застывшем Днепре у пробитых лунок памятниками долготерпения вмерзают в лед фанатики-рыбаки, и добрые рыбы лишь из сострадания иногда дергают за крючки, чтобы они не заснули.

И только в Киеве весной по всему городу вспыхивают белые факелы цветущих каштанов и звучит салют из поцелуев, которым влюбленные приветствуют приход весны... и молодой гром басит свою выходную арию, перебирая звонкие, теплые струи дождя, а соборы подкидывают к небу свои золотые шапки, приветствуя весеннее солнце...

И еще много-много прекрасного было и есть в Киеве.

Может быть, именно поэтому его называют матерью городов русских и до сих пор требуют алиментов на детей. Вопрос об отце пока остается открытым.

Тяжело матери без отца детей воспитывать, из-за этого они и получились такие «кравчуково-кучмоватые»... Но уж какие получились, такие, извините, получились.

И им по-прежнему плохо с коммунистами и демократами, правоохранителями и рэкетирами, плохо с «факирами на час» и «всадниками без головы», зато с остальными — не легче.

Но несмотря ни на что, я продолжаю любить свой Киев, как маму, которая всегда поймет и утешит; как любовницу, которая всегда влечет и волнует; как сына, о котором с гордостью говорят друзья: «Смотри, какой он большой вырос!»

И реально или в снах, я еще выйду на его улицы, пройдусь по тенистым площадям лавры и, несмотря на сложности «независимо-чернобыльской» жизни, мы улыбнемся друг другу, потому что я люблю этот город, эти улицы и площади, эти парки и скверы, эти дома и памятники, и даже их новый парламент, который народ выбрал на свою голову и который его не защищает, а облагает налогами, а он его — матом!

Я благодарю судьбу за то, что жил в самом прекрасном городе мира... пока не увидел не менее прекрасные города: Париж и Прагу, Нью-Йорк и Лондон, Берлин и Рим, Женеву и Тель-Авив...

И все же: Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, КИЕВ!

Я желаю тебе, «щоб усі здоровеньки були!»

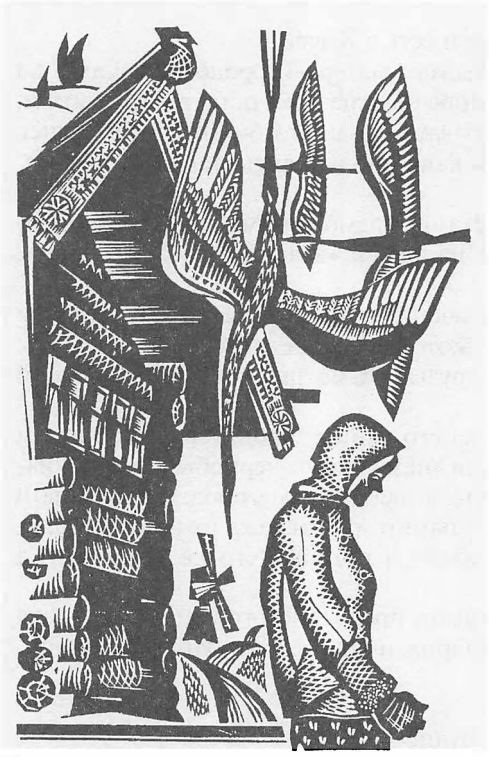


Иллюстрация к книге
Сергея Викулова
«Окнами на зарю»



Гравюры
Генриетты и Николая
БУРМАГИНЫХ
Вологда



Северные
мотивы

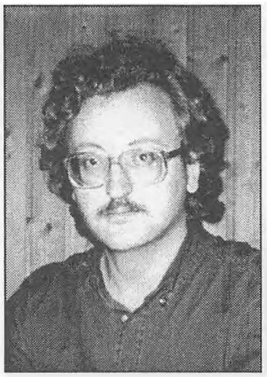




Иллюстрации к книге В. Дементьева «Северные фрески»



Дионисий



Эдуард БЕРНГАРД

Санкт-Вендель

Про любовь

Он проснулся в это утро раньше обычного. Смял подушку, дабы поплотней была и повыше, заложил руки за голову, ощущая ладонями взлохмаченную шевелюру, угрюмо уставился на сентиментальные цветочки пододеяльника. Под одеялом поёрзал ногами, почесал ступни одна о другую. Перевёл взгляд на шершавый белоплиточный потолок и протяжно шумно вздохнул.

Тоскливая мысль больно обожгла ещё не вполне проснувшееся сознание: «О, Элли, милая, чудная... ну как же я мог!.. Ну зачем?!. Какой дурак, хренов кретин, балбес, осёл!..»

Взгляд упал с однотонного скучного потолка на стеклянный журнальный столик, посредине которого, на ажурной такой, замысловато вязаной такой, кокетливой такой салфеточке стояла красивая, в общем-то, цветочная синяя ваза с серебристыми каёмками, в которой давно уж не бывало никаких таких цветов.

«Какая пошлая ваза! И делают же такую дрянь, сволочи, а для чего, спрашивается?!»

Расстроенный взгляд перешёл на средней руки копию одной средней руки картины в штампованной золочёно-крашеной рамке. Картина делала вид, что изображает озерко, обрамлённое густыми такими, дремучими такими дебрями лесными, и ещё в глубине (если хотите – на заднем плане) изображался туман, плотный клубистый такой туман.

«Какая пошлая картина вот людям блин делать нечего малевать всякую дрянь хреновы кустари а я ишак купил ну да что-то же должно висеть на стене кроме обоев впрочем почему должно окружаем себя предметами пудрящими нам мозги и всё это иллюзии и всё от наивности...»

– Да и сами предметы эти, – произнёс он вслух, расклеив сонные губы, – иллюзии, ровным счётом... материализовавшиеся... застывшие в осязаемой форме или, может, в осязаемом виде плоды идеалистической фикции... (да, да, он произнёс именно нечто такое вот, можете не сомневаться).

Взгляд долго блуждал по уютной в общем-то комнате, но ничего, кроме пошлости, обнаружить не смог. Сознание, направлявшее взгляд, приказало векам опуститься. Ему, сознанию, не хотелось взирать на эту дикую кошмарность мелкого мещанского быта. Веки прикрыли огорчённый взгляд, но за этой ширмой перед взором захотевшего спрятаться взгляда (да, да, перед взором взгляда, захотевшего спрятаться) тотчас же поплыли рыжие и зелёные пятна, уж никак не улучшавшие настроения, ибо не *могшие* вызвать положительных, так сказать, эмоций. Да. То есть совсем. В целом.

Мысли тогда сделались ещё тоскливее, ещё назойливее, и он тут же, одновременно с решительным поднятием век, опустил ноги с кровати и плюхнул ступни в мягкие футляры тапочек.

Через четверть часа он сидел на скрипучем стуле за кухонным столом, пил омерзительный «Кройтер»-чай, морщась с каждым глотком, и грустил, грустил, грустил...

Выйдя на улицу, он выругался про себя крепким таким матом (то есть нецензурной бранью — есть такой вид народного творчества на основе сексуальных ассоциаций), так вот, выругался внутренним живописным монологом, щедро перемежанным сильными порнографическими выражениями, вспомнив об оставленном дома бумажнике (почему «бумажнике»? — купюрнике! Или деньговнике. Ну кошельке, короче). Какое-то количество секунд постоял в раздумье о том, нужен ли ему кошелёк, прикидывал, не сможет ли он в данном случае обойтись без этого пошлого предмета. Надобность в сём предмете перевесила другие, более лирические аргументы, и он, разумеется, вздохнув (читатель может мне поверить), пошёл, стало быть, назад за этим вот как раз бумажником (да почему бумажником-то, ёлки-палки?!), представьте себе... Эх.

А теперь как-то даже неудобно сообщать читателю о том, что вскоре он опять вышел, причём на сей раз уже с этим треклятым бумажником (...) — но автор уверен, что читатель и сам бы об этом преотличнейшим образом догадался бы. И вообще...

* * *

Он брёл по парку, медленно и задумчиво. Обычно в парках бродят задумчиво и медленно. Да. Как-то это так сложилось. И он именно так и шёл, медленно и задумчиво. Руки то в карманах куртки (прохладно, стало быть, раз в куртке), то за спиной, сцепленные печально-поэтично. Так ходят обычно философы (коих что-то слишком много развелось в последнее время), но в этот день он не желал ощущать себя философом, потому что... потому что...

Он был влюблён.

А это, сами понимаете, совсем другое...

Он шёл и думал о ней. Он думал только о ней. Больше ни о ком он думать не мог. Это были мысли, причинявшие боль, но ему нужна была эта боль, эта винно-терпкая, пьянящая боль любви. Эти мысли он не променял бы ни на какие другие, ни в коем случае. Он даже возмутился бы, если кто-то сообщил бы ему сейчас какую-то пусть и радостную весть, но *не относящуюся к НЕЙ*. Такая весть *в этот момент* вызвала бы у него только раздражение. И потому он в мазохистском упоении думал только лишь о ней и только лишь о ней, и думал-думал-думал только лишь о ней... В мыслях этих она мучила его отказом, терзала его холодом равнодушия, обливала его насмешливым презрением, и он от этого очень страдал, жутко страдал, и желал страдать, и желал её...

Иногда попадались навстречу степенные здешние немцы, одетые прилично-скромно-сдержанно, такие благообразные и внушительные, и веяло от них цивилизованным достоинством, но их приятный в общем-то вид не вызывал у него теперь тех сдержанно-положительных эмоций, какие обычно сопровождали процесс лицезрения представителей этой вне всякого сомнения (чего уж там!) высокоразвитой цивилизованно-культурной популяции, и теперь он (повторилось «теперь», ну да что ж!), будучи немцем *нездешним*,

а именно немцем – «аусзидлером» (тьфу, чёрт!), взирал сейчас (это вместо «теперь») на своих тутошних соплеменников по германской расе с некоторой неприязнью, хотя, в принципе, уважал и ценил эту расу, не без гордости сознавая своё к ней непосредственное отношение по всем генетическо-этническо-ментально-визуальным признакам. Но, правда, теперь (опять «теперь», да что ты будешь делать!) он, как уж было, между прочим, сказано, воспринимал вот этих вот коренных жителей как-то не очень дружественно.

«Какие пошлые немцы!» – вдруг отвлекшись от изнывания любви, уныло стал размышлять он, а точнее, стало *размышляться* ему. – «Какие самодовольные бюргеры! А самодовольство, к их сведению, явный признак ограниченности. И не только к *их* сведению, надо заметить, а и к сведению всех остальных спесивцев самого разного происхождения... Йе аррогантер, десто бешрэнктер... Тьфу, ну и язык же кошмарный у моего родного народа... Испанцы говорят, у немцев врождённая неисправность горла. Хе-хе! Ну да, они об немецкий язык ломают свои испанские языки, привыкшие к благозвучности романо-латинских журчащих словечек... Мигуэль... амиго... Эсперанто... Бутрагеньо... и прочая абракадабра... Да и что означает благозвучность языка? Ничего решительно. Вон итальянцы – ах, какой чудный язык, ах, какая прелесть, словно мурлычат, переливчатые звуки, заслушаешься – а жулики несусветные, только пасть разинул, как итальяшка тебя уже на... да и футболисты их – форменные черти: норовят исподтишка нагадить – толкнуть, ударить, незаметно так, причём в каждом матче, а сами ну картинно так падают и стонут, даже если их и не коснулись, а потом взывают к арбитру со страдальческими гримасами и энергично жестикулируют, а тот и рад стараться, свистит, назначает пенальти, и глядишь – выиграли дети южного солнца, чада тёплых морей... Эх вы, дольче-анданте-аллегро... В сущности, какой народ ни возьми, один хрен – преобладают вульгарные обыватели, плебеи!»

Да, так думал он. Но не судите его строго – он, в чём мы уже признавались, был страстно влюблён (хотя кто-то, увы, может так плохо думать о других, вовсе не будучи в кого-нибудь влюблённым, а наоборот – от неспособности кого-нибудь любить. Вот.)

Любви, хочу с вами поделиться, покорны не только все возрасты, но и все страны и народы. Более того, и эмигранты умудряются попадать в нежные, но прочные сети любви, невзирая на их сложное социально-психологическое (во, блин!) положение в стране другой культуры, другого языка, другого уклада, другой ментальности, другой... Эй, хорош, слушай!

Да, так вот, это даже странно, что какой-то **переселенец** (звучит почти как засранец, не правда ли?) позволяет себе влюбляться на чужой, понимаете ли, территории, несмотря на свой сомнительный статус в данном обществе, на своё зыбкое материальное положение, и к этому в придачу плохое знание здешних нравов, подозрительное отношение к нему со стороны разных «амтов» (то бишь «беамтеров»), и уж тем паче со стороны большинства представителей местного народонаселения – отношение, по большей части весьма прохладное, если не сказать... совсем уж того... э-э... то есть не очень-то, и даже вообще как-то... Не слишком уж, прямо скажем! Без обиняков, вот.

И в таких условиях, понимаешь, ещё и влюбляться, пусть и в такую же, как и ты сам, «аусзидлершу» несчастную, но тем не менее! Как бы бросая вызов тутошнему обществу, как бы плюя на свою негласную второсортность, как бы заявляя о своих правах здесь, именно здесь, а не где-нибудь там далеко, на свою личную жизнь... и при этом гулять *здесь* так раскованно, руки в

карманах, или вообще ещё как-нибудь запросто, будто у себя дома, будто наш, свой, коренной (ах, такого чувства, как *наш-свой-коренной* нигде, нигде не было и нет у скитальцев-переселенцев-засранцев: там – Фриц, здесь – русак, дер Руссе, а в какой-нибудь Франции, скажем, и вовсе рукой лишь махнуть – что Фриц, что дер Руссе – чужак, одним словом... Чужак – дурак – бардак... ишак – мудак...).

Так-то вот. Ну да ладно. Шёл, стало быть, наш муд... (ох, занесло!) шёл наш герой по парку, в состоянии очень влюблённом, и думал с грустью о ней, терзался, томился о ней, влачился, влекомый за ней, и думал с болью о ней, о ней-о ней-о ней, думалонейтомилсяонейтосковалононейонейоней... Ах, какая это сила – любовь! Она даёт нам крылья, отнимая всё остальное – покой, аппетит и рассудок. Она вызывает сладкую страстную истому, в которой много горечи и ревности, а также горечи ревности... Она заставляет нас забывать всё то, что ещё вчера не только казалось, но и было наяву важнейшим... Вот опасная какая штука любовь, понимаете. Влюблённый болен и непредсказуем. Он ничего не хочет, а хочет только одного, и это одно для него – всё! Вот этого он и хочет... Но это проходит... Протечёт порция времени, прояснит чувства и ощущения, уберёт завесу влюблённости со всего остального, и это остальное постепенно начнёт проступать в сознании выздоравливающего Ромео всё более чёткими контурами, обретая объёмность и цветовую гамму, насыщенность красотой и смыслом...

А как хорошо гулять в парке, когда влюблённость прошла! Как хорошо замечать дивную прелесть окружающего мира, с неисчислимым множеством его сокровенных и трепетных, благодатных и чарующих нюансов, как хорошо понимать и чувствовать непревзойдённую гармонию *ТВОРЕНИЯ*... Нет, что ни говорите, а влюблённость – прекраснейшая вещь. Именно после этой тягостной болезни, после этого экстремального состояния научаешься замечать то, что сокрыто было доселе мутной пеленой будничных забот... Да, о чём это бишь я?.. Куда же мы с вами отвлеклись, граждане?! Ну вот, сядешь писать рассказ, с благопристойными намерениями, чинно и трезво, а потом как поведёт тебя куда-нибудь совсем уж в другую сторону, вообще не в ту оперу, и занесёт так, что и не рад, милые вы мои, и зачем вот старался и усердствовал, коли... ежели... ну не туды, а вот куды? Как в той притче, то бишь хохме: *«Не видно ни зги!.. Куда ты завёл нас, проклятый с усами?!» – «Идите вы на хрен, я сам заблудился!»*

Вот и весь наш рассказ.

Рассказ о любви.

Август 1998 г.

Прогулка

* * *

Поступью мягкой, тропинкой заросшей, средь шороха трав и чего ещё там, кустарник колючий цепляет штанину, не наступить бы на букашек, не помять бы цветы – о, какие цветы! Для мохнатых сердитых степенных солидных жужжащих урчащих шмелей – для них, деловых, полосатых и толстых, для них многоцветье дивных букетов, для них ароматы трав многоликих – царство палитры чудных оттенков, неподражаемых, непостижимых – изумруд и сирень, и волшебная синь (ах, чарующий стиль!), тут же нежное голубое, ярко-жёлтым соцветьем пестреют луга, лепестков трепещущих озёра, от них сонной лени веет лимонным томленьем, обрамлённым необъятной зелени покровом, плавно-переливчатым от тёплого дуновенья такой колдовской шелковистой красой (ну прямо вообще!), и стрекозы-либелле, четырёх-прозрачно-крылые бархатно-хвостые филигранно-хрупкие чудо-созданья, рассекают солнечный воздух в стремительном полёте-порыве, опережая шмяк-усердное бабочек порханье...

А в кронах высоких и не очень дерев, обильных ветвями и листвой, а также пахучей хвоей (ёлки зелёные) симфонируют, разноголосят, полифонят крылатые клювастые певуны, производя звучанье изумительного свойства, недостижимого в оркестрах искушённо-многозвучных... И щёлканье кругом, и посвист колоритный, и трелей и пассажей клёкот офигенный... Уф!!!...

* * *

Опять этот дождь. Сдёрнул чехол, приятно прошуршавший от быстроты движенья. Трение. Щёлк. Вурх! Распахнулся. Чёрно-серый, в едва заметную клетку, плотно натянутый по упругим спицам. Эластичная конструкция. Хорошо его держать так над собой. Степенно. Хе-хе. Появляется чувство собственной значительности. Да нет, чепуха. Просто убежище. Идёшь, а над тобой крыша. Несёшь с собой свой потолок. Гм... А где, интересно, мой потолок? Неужто это всё? Ах, я ведь такого могу... Я же... по крайней мере... впрочем, что за вздор? Цену себе знаю... Знаю?.. Где же результат?.. Какой результат?.. Достижения?.. Положение? Это в Союзе могло быть положение. Здесь это до фени. Здесь дело, свобода, расчётливость, деньги. Что ж, неплохо. Только вот чужой. Но всё равно нравится. А там ведь ещё чужее... И как вспомнишь это наглое хамьё! О-хохо! Повидали... Эх, уж лучше не вспоминать. Кошмары... Но знавал и прекрасных людей. О них приятно и как-то щемяще вспоминать... Странно, почему встречаешь тех, кого встречаешь? Случай? Но что это такое – случай? История, что ж, тоже – поток случайностей?.. Пожалуй... Но есть *более вероятные случайности*, а история – это... это последовательность состоявшихся вероятностей... Да ну тебя!.. Туманно. И не нужно... Но всё-таки... – что движет всем?.. Этот мир... во вселенной... Бог... Предпочитаю *Высшие Силы*. Объёмнее. Расплывчатее. Непонятнее. Как раз то, что и нужно... Для самоуспокоения?.. Нет, для более широкого представления... то есть когда знаешь, что ни фига не знаешь... История. Историческое развитие... Случайный зигзаг, сделанный *не рукой художника*...

История – нечто такое, что мы никогда не научимся понимать. Но тем не менее учимся. Несчастный это учитель – история. Ученики у него всегда плохие. Да и сам учитель странный какой-то. Ведёт себя непонятно... А сколько желающих *изменить ход истории*!.. *Во имя таких-то идей*!.. Причём самыми свирепыми извергами оказываются именно «борцы за равенство и братство". Да, мой друг, история – это прошлое, которое не проходит. Так-то... И нам неподвластно... А спесивцы полагают, что уж они-то понимают!.. Глубоко заблуждаются... Поверхностные люди глубоко заблуждаются, находя в поверхностном глубину... А глубины-то как раз и боятся!.. «Слушай, философ, – возмущался плебей, - ты зачем ерундой занимаешься?!» Вот так!.. В каждом народе есть масса существ, сошедших с полотна Иеронима Босха. Бывает, даже целые поколения... Увы. В тех случаях, когда тиран выращивает для себя генофонд микроцефалов, истребляя умеющих думать и имеющих совесть. Им нет места на этом жутком полотне...

А есть ли во мне фальшь? Конечно, есть, сам знаешь... Но только чуточку! Чуть-чуть. И безобидная такая... А вообще я молодец! Хороший я, мой славный! Чудесный такой человек! Других не трогает. Гнусными делами не занимается (и вообще никакими!). На подлость не способен. Не способен? Не способен. Не способен?!... Не способен!!! Чего пристал-то?! Гм... А вспомни... Пустяк! Мелочь... А это!.. Ах, было просто неудобно. Даже стыдно. Но какая же это подлость? Это глупость и всё. Себя же выставил в смешном виде. Никого не задел... Эх, а всё слабый пол! Какой он к лешему слабый! Я его боюсь. Ох, уж эти бабы! Ох, уж эти... Постой, а ведь они лучше! Конечно... Нет, не так – они просто менее плохи... Гм... Смотря кто. Но жестокость – в основном от мужиков. Такая уж мы грязная сволочь... И созидание, и зло мира – от мужиков. Мужики творят, строят, открывают, изобретают, они же разрушают и убивают. И поистязать, поиздеваться горазды! Немало таких... Но всё же есть замечательные люди! Удивительные, прекрасные люди! Опять же в основном мужики (пардон, мадам!). Интеллигенты, так сказать. Эх, заездили мы это слово. Пихаем всюду, куда попало! Бравируем. Придумали целый класс – интеллигенция! Какой бред! Кошмар! *Класс интеллигентов*... Ужас. Чушь собачья! Изуродовали прекрасное понятие. Интеллигентов подлинных всего-то раз-два и обчёлся. А тут класс! Сами себя объявили элитой, дипломами тычут – отождествили интеллигентность с дипломом! Изгадили верный смысл. Инте... тьфу, чёрт! А здесь, на Западе... интеллигентный преступник! Видали! Означает, что хитрая бестия. Негодяй, но интеллигентный!.. Брр! Аж мороз по коже!.. Хотят этим сказать, что мерзавец, но умный. Вот. Ну так бы ещё сошло. Такое, к сожалению, бывает... М-да... Главное, – говаривал хамелеон, - оставаться самим собой! Ха!..

Дождь иссяк. И вновь сияет солнце. Век информации. Думают, что много знают. А раньше тоже так считали? Конечно. И древние, небось, полагали, что вон у них, дескать, уже какой прогресс! Сравнивали с тем, что им предшествовало, и гордились достижениями. Расцвет науки! Знания! Научились плавить металл. Мечи и копья. Кольчуги и щиты. Прогресс! Хе-хе. Изобрели колесо. Потрясающе! Творение гения. Обтёсанные камни. Что ж, капитальная работа. Да ещё какая! Смеяться глупо... Вкалывали люди. И думали. Были Сократ и Платон. Аристотель. Сколько мыслей! Современные никак не разберутся. До сих пор над загадками бьются... А немцы? Созвездие фило. Гроздь многодумных гроссмейстеров. «Сумрачный германский гений...» Обыватели, впрочем, как и везде. Чванливые, надменные... Техническая нация, нация инженеров. А эру-

диции никакой. Узкие специалисты... Но не всегда... Между прочим, в искусствах сильны... Особенно в музыке. Взять цветаевское: «Есть такая страна Музыка. Жители – германцы.» ...

* * *

– Хэ-эй! – раздалось вдруг в стороне.

Я повернулся к магическому зову и увидел на другой тропе, шагах в сорока, знакомого мужика, такого же «аусзидлера» несчастного, как и я сам. Помогали мы как-то друг другу с переездом – мебель таскали и прочую утварь... Мужик помахал мне рукой и стал подходить по траве. Я остановился, ожидая его прибытия к моей остановке. Ещё не подойдя, он заговорил:

– Гуляешь, что ли?!

– Гуляю, – сообщил я ему интересную новость.

Шагах в двадцати он произнёс:

– А я вот тоже гуляю, понимаешь...

– Вижу, – отвечал понятливый я.

Он усмехнулся, прошуршал травой, и шагах в десяти вдруг задорно сказал:

– Пойдём, слушай, пиво пить!

Я с готовностью отозвался:

– Пиво?! Пойдём!

Он достиг моей долговязой фигуры и протянул загорелую сухощавую руку. Я пожал её своей широкой немозолистой ладонью. Тут он озарился новой идеей и, заговорщически дёрнув головой кверху и хитро сморщив лицо, предложил:

– А может, «Рахманинова» дерябнем?! Я в «Лидле» закупился...

Я поморщился:

– В такую жару меня и «Смирновым» не соблазнишь!..

Он тут же согласился, кивнув головой и компромиссно вытянув губы:

– Ну, так не надо водки. Пиво! Пойдём выпьем пива... Гут?..

– Гут, – отвечал я, представляя, как мы будем пить пиво, пенистое, светлое, вкусное такое пиво...

И пошли мы с ним пить пиво.

Да.

Июнь 1998 г.

ПИСЬМА ПО ПОВОДУ...



Редакция журнала «Родная речь» рада, что одно из произведений, опубликованных в журнале, а именно «Viehwasen 22. История с географией, или Дневник сердитого эмигранта» Ольги Бешенковской, вызвало живой отклик читателей и коллег по перу. Судя по многочисленным письмам, поступающим в редакцию и непосредственно автору, «Дневник» разбудил разнообразные мысли, чувства, а кое у кого — и воспоминания о начале нелёгкой эмигрантской дороги.

Коллеги же писатели отмечают в своих отзывах профессиональное мастерство автора и оригинальность найденного им для воплощения своих творческих замыслов жанра.

Не случайно и литературно-художественный журнал «Октябрь» (Москва, 1998, №7), согласно взаимной договорённости об обмене наиболее интересными материалами, выбрал из первых выпусков «Родной речи» именно это произведение, а в санкт-петербургской «Неве» опубликованы включенные в повествование стихи.

Правда, на общем фоне благодарностей за публикацию не обошлось и без нескольких возмущённых писем и звонков, как это всегда случается при выходе в свет острых и не тривиальных рукописей.

А одно разгневанное письмо, поступившее к нам по факсу, мы даже решили предложить вниманию читателей журнала. Критическим назвать его, к сожалению, трудно. (Для компетентной и конструктивной критики мы открыты всегда). Но то, что нам прислала читательница из Тюбингена, больше смахивает на политический донос застойных времён, только привычный для того времени уголовный штамп «антисоветская пропаганда», заменён здесь «антинемецкой»...

Чего же хочет госпожа Друскина, полагающая почему-то, что сотрудники газеты должны... контролировать журнал, берущая в кавычки всё подряд, кроме того, что действительно надо, а именно — название газеты «Контакт», и охаивающая заодно (видимо, по принципу: клеймить «врага народа» — так уж клеймить...) книгу известного поэта, изданную одним из уважаемых германских университетов? — Трудно сказать... Ну что ж... Вы хотели — мы, как говорится в редакциях в таких случаях, «пропечатали»...

В редакцию газеты Контакт

Lidia Druskin

Kastanienweg 10
72076 ~~7400~~ Tübingen
Tel. 07071 / 6 73 73

Глубокоуважаемые дамы и господа.

Я нашла "время и возможность" прочитать "уникальное пособие" по антисемитизму и антигерманской пропаганде "Vielwasser 22", опубликованное в лит.-худ. журнале "Родная речь" № 2

Принадлежит оно перу и совести "самой талантливой русской писательницы" О. Бешенковской, как "литературное имя" "широко известно" в Германии "и за ее пределами".

Три вопроса.

1. Читали ли редколлегии журнала и газеты этой "богатейшей истории" клевету и подлость до того, как они были размножены и напечатаны?

2. Более чем, то кто несет ответственность за его публикацию?

3. Когда редколлегии намерены предоставить произведения О. Бешенковской на обсуждение в комитет по Нобелевской премии?

Наилучшие

Ольга Дрейзина

P.S. Слова, взятые в кавычки, цитируются по реклame ж. "Р.Р." и из опозиционной автобиографии О.Б. "Дом Брамена, дом Гавен."

Уважаемая Ольга Юрьевна!

Читал ваше повествование и радовался его силе, неожиданности, точности. Сел, было, тотчас писать к Вам, но удержало чувство неловкости: что у меня за право и преимущество доводить до Вас свои суждения. Но вот прочитал еще раз (в «Октябре») и снова был захвачен энергией и пластикой Вашего слова. Хорошо, что Вы (и как Вы) написали это. Всего доброго.

В.Порудоминский, Кёльн

В редакцию журнала «Родная речь».

Очень благодарна автору «Дневника сердитого эмигранта» за удовольствие прочитать книгу. Автору присуще обостренное чувство юмора, которое часто переходит в жесткую сатиру, не без злости и не без горечи. Глубокий психологический анализ поведения людей, которые (все такие разные) но, в силу сложившихся обстоятельств, по разным причинам оказавшихся вместе на маленьком пятачке на чужбине. У них все впереди и все не так безнадежно (для многих их них), как сразу кажется. Многих эмиграция «погребет» как личностей, многих вынесет на поверхность. Но все это потом. А сейчас надо выжить и не потерять при этом человеческий облик.

Книга Ольги Бешенковской многопланова, автор умеет и посмеяться над собой, и погрустить со своим героями. Хочется пожелать книге долгой и доброй жизни. И еще большущее спасибо за отличные, включенные в повесть стихи.

С уважением, Софья Попова, Штутгарт

* * *

...Вашу повесть мама «пустила по рукам». Приличная публика смеется от души над некоторыми эпизодами. Многие задеты из-за принадлежности к «нелюбимому» народу. Но «сердцу не прикажешь» и невозможно обязать автора литературного произведения горячо и самозабвенно любить своих героев. Я не думаю, чтобы Салтыков-Щедрин или Гоголь пылали страстью к своим персонажам. Но последние не стали от этого менее правдоподобными.

З.Гдалевич, Франкфурт-на-Майне

* * *

Прочитала книгу, многое вспомнилось. Много было тяжелого, необъяснимого. Всё! Казалось, жизнь закончилась. Хорошее всё уже было.

Всем было плохо. Когда-то, в той жизни, все были индивидуумами, очень талантливыми и остроумными, и, что, наверное, главное, очень уважаемыми, и вдруг – такие немые, глухие (от незнания языка, обычаев) и очень нелепые в этой добродушной, уютной стране.

Теперь, оглядываясь назад, когда всё позади, смеюсь, читая грустную, очень грустную, остроумную историю, написанную добрым, не сердитым человеком.

Н.Линде, Штутгарт

СНОВА О «VIEHWASEN 22»

(Заметки очевидца)

Увесистым камнем упала в тихий пруд еврейской жизни Штутгарта повесть Ольги Бешенковской «Viehwasen 22». И взбаламутился ил, и пошли по пруду волны. Сперва от камня к берегам-читателям, затем, отражённые и преломлённые берегами, в разных направлениях, с различными скоростями и амплитудами, так что возникли водовороты критики и злобы, цунами восторга и благодарности. Не думаю, чтобы кто-нибудь остался равнодушным, прочтя повесть. И уверен, что не все прочитавшие сумели её оценить, ведь для понимания серьёзной литературы недостаточно знать все буквы алфавита и уметь складывать из них напечатанные на бумаге слова. И «верхнего» образования, не подкреплённого интеллектом, способностями к анализу и самокритике тоже недостаточно. В силу того, что я тоже жил довольно долгое время по адресу «Viehwasen 22», мне (посчастливилось? не посчастливилось?) выслушать разные мнения по поводу произведения Ольги Бешенковской. В диапазоне от «достойно Нобелевской премии» до «гнусный пасквиль». И даже такие: «Я, правда, сам не читал, но мне сказали, что это ужасно! Как можно ТАКОЕ писать?» Или: «Это клевета! Таких хаймов нет и быть не может!» Тут просто хочется расхохотаться в лицо. Может, господа хорошие, может! Не всем удалось пожить в таких хаймах, некоторые почти сразу в социальные квартиры въехали, раньше эмигрировавшими родственниками к их приезду приготовленные. Но таких, лишённых нормальной эмиграции, мне жаль, как было бы мне жаль, скажем, лишённых детства. Из квартиры там – в квартиру здесь, и дальше – глухонемой куклой в сопровождении тех же родственников по Amt'ам и Behörd'ам. Так-то оно, конечно, проще, да уж больно скучно. И адаптации не способствует. Поэтому пожившие в таких хаймах богаче не поживших, как путешествовавшие – богаче не путешествовавших, служившие в армии – богаче не служивших и так далее. Это богатство, которое, как и здоровье, не купишь, обычно называют жизненным опытом. И человек с достаточным жизненным опытом не должен с позиции Фомы неверующего отрицать что-то, базируясь лишь на том, что он лично там не побывал. Наверняка большая часть человечества не ступала ногой, скажем, на остров Мадагаскар. А, ну, как все дружно возьмутся утверждать, что нету его, раз они не видели?

На Viehwasen 22 мы (ехали две семьи вместе из Киева) попали не сразу. Сначала добрались до указанного нам в письме общежития в Эсслингене, того самого, где к тому майскому дню 1992 года уже проживали некоторые действующие лица повести, включая автора. Тут выяснилось, что мест в доме нет, всё забито от подвалов до чердаков и нам нужно немедленно просить администрацию об отправке куда-нибудь, например, в Wangen. Это такой чудный уютный городок на юге Баден-Вюртемберга, от него рукой подать до швейцарской границы. Всю эту информацию нам услужливо выдали соотечественники, почему-то предпочитающие мучения в тесноте чердаков и подвалов роскошному курорту на швейцарской границе. Как выяснилось много позже, отнюдь не все в этом хайме ютились так, как герои повести. Некоторые были устроены весьма комфортабельно, жили уже довольно долго там и неплохо ориентировались в обстановке. Именно эти «доброжелатели» и встречали новоприбывших советами уезжать в другое место, опасаясь, чтобы их не потеснили. И не случайно никто не захотел показать нам хотя бы, как выглядят комнаты. Спасибо, хоть позволили в туалет сходить.

Через пару часов у нас уже были оформлены документы в Wangen, пришел микроавтобус, и мы поехали. Не прошло, наверное, и четверти часа, как мы почему-то свернули с трассы, и за окнами замелькали какие-то фабрики и заводы. «Неужели швейцарская граница так близко? Не может быть», – думал я. Но уже приехали и отворились железные ворота, бусик въехал на территорию лагеря и его сразу окружили африканцы. «Будут бить», – почему-то решил я. Бить нас не стали, но сразу похватали наши вещи и поволокли куда-то. С чемоданами пришлось мысленно попрощаться, но через несколько минут мне стало стыдно за свои мысли. Эти парни просто хотели нам помочь и перенесли наши увесистые сумки в предназначенную для нас комнату. И в дальнейшем никаких проблем у нас с африканцами не было. Это оказались весёлые, дружелюбные ребята. Некоторые знали русский после учёбы в СССР, всегда готовы были искренне помочь, объяснить. Какой контраст между ними и нашими земляками из Эсслингена! Ведь те отлично знали, в какой Wangen мы едем. А Wangen'ом называется та часть Штутгарта, где находится улица с романтическим названием Viehwasen.

Итак, нас поселили в бараке, две семьи в одну комнату. Что ж, лиха беда – начало. Вскоре удалось нам разделиться, хотя мы были почти уверены, что будем вынуждены жить так долгое время. Но это не очень смущало нас, так сильна была жажда начать новую жизнь. Разумеется, своей отдельной комнате мы были рады. Но чувствую своим долгом описать картину, которую мы застали при вселении в эту комнату. (Это исключительно для тех, кто кричит: «Клевета!»). Итак: дверь в комнату. Замок едва держится в двери, выпадает из неё, потому что дверная фанера расщеплена и разбита. Дверные ручки можно двигать в любых направлениях, но только благодаря им замок всё же не валяется на полу. Вдобавок в двери зияет дыра – пожалуй, и кошка пролезет. О тараканах и говорить нечего – где их нет. На нашем этаже крысы, правда, не замечались, зато во дворе их было достаточно. Дальше: комната. Если иметь воображение, то можно себе представить и более грязные стены (самые «живописные» места мы потом рекламами мебели и ковров заклеивали, улучшали одновременно интерьер). Вся мебель, кроме железных кроватей, была поломана. Деревянными монстрами возвышались скелеты шкафов. Стулья приказали долго жить. Ножки стола, отделённые от туловища, валялись под кроватями. Окна, правда, были целы и маленький холодильник «Bosch» исправен. Для полноты картины не хватает ещё слоя грязи на полу и всех предметах. Но разве может всё это смутить людей, собирающихся начать новую жизнь? Грязь отскребается и отмывается, дверь и мебель ремонтируются подручными средствами, ведь все нужные инструменты лежат в чемодане. А за материалами далеко не надо ходить – вон их гора целая за соседним бараком: поломанная мебель, электрорадиотехника и т. п. Тогда мы ещё не знали слова «Sperrmüll» и не понимали, откуда это и почему. Но это было неважно. И вот дверь получает пластыри, заплаты и шурупы, замок садится в своё гнездо, – можно жить. Стол и стулья возвращаются в своё первозданное состояние, из фанеры и досок выпиливаются полки для шкафов, приводятся в порядок дверцы, – пора браться за общественные места.

Разумеется, всё загажено. Это бы ещё ничего, благо, вода имеется. Но из 10 электроконфорок на кухне 4 не работают. Остаются 6 на 6 семей. Хоть и поровну, а мало. Но можно попытаться сделать, лишь бы не понадобились запчасти. Запчастей не потребовалось, через два часа все конфорки исправны. Хуже с душем. Умывальник с душем вместе, значит очереди запрограммированы. Окна в душе нет. То есть, оно есть, но вырвано с мясом из своей рамы и мирно стоит на полу.

Пока на дворе июнь, тепло и приток свежего воздуха приятен. Но от двух душевых кабин остались только фундаменты, «украшенные» торчащими из них кое-где осколками оргстекла. Зато с водой перебоев нет – ни с холодной, ни с горячей, тут всё о'кей. Правда, закрыться в этом умывальнике-душевой нельзя, так как замок, конечно, сломан. Но и это не страшно, сначала муж дежурит в коридоре, а после приходит и вовсе гениальное техническое решение: с уже вышеупомянутой помойки за бараком приносится доска нужного размера и стеснительные жильцы ставят её изнутри распоркой между стойкой умывальника и дверью. (А если бы дверь наружу открывалась?) И окно ставится на место, фиксируется там и для подстраховки забивается толстой доской посредине, ведь на этаже живут и дети, а весит оно – не дай Бог. Конечно, теперь окно служит лишь источником дневного света. Но это всё ещё цветочки. Вот в туалете – там уже ягодки. О такой ерунде, как окно, тут и упоминать стыдно. Из двух рядом стоящих фанерных кабинок пользоваться можно отчасти одной. Унитаз к полу почти не приверчен и пляшет, как мустанг под ковбоем, а если после свершения дёрнуть за верёвочку, то изрядная доля воды из сливного бачка льётся просто на пол, может и ноги облить. А во второй кабинке и этих удобств нет. Значит, занимаемся первой. Умудряемся укрепить унитаз, ликвидировать течь. Но что делать с дверьми? На две туалетные кабинки имеется одна дверь, лежащая у стены. На ней даже сохранились оба шарнира, а точнее, их верхние половинки. А вот нижние на обеих кабинках начисто отсутствуют. И как же теперь эту дверь навесить? А входная дверь в эту, простите, парашу никакой зашёлки не имеет. Выходит, снова ставить мужа в коридоре? Выход из этой ситуации лежит всё на той же помойке. Находятся два толстых гвоздя, изгибаются. забиваются, фиксируются. И дверь висит. (Так она провисела года полтора).

Можно было бы ещё порассказать о быте на Viehwasen 22, например, о проблемах со стиркой, или получением почты, или о вымаливании у хаусмастера мусорных мешков для кухни. Но речь не об этом. Ведь повесть, хотя и носит название «Viehwasen 22», не является произведением только об этом хайме. Это художественное произведение с глубоким философским смыслом и стихами автора, органично вписанными в текст. И уж ни в коем случае это не лёгкое чтение в перерыве между яичницей и кофе или футбольными таймами. Так отчего же сыр-бор разгорелся? Сторонников и приверженцев повести, к которым отношусь и я, анализировать неинтересно. Хороший отзыв – он и есть хороший отзыв, тут более-менее всё ясно. (Не путать с комплиментами. Комплимент – это зачастую сладенькая ложь в красивой упаковке, надушенная подхалимажем. Но настоящим профессионалам комплименты не нужны, так же как и сомнительная приставка «известный» перед фамилией. Профессионал – он себе цену знает.)

Итак, у повести есть и немало противников и критиков. И это нормально, ибо совсем не обязательно должны все люди быть одного мнения. Что же вменяется в вину автору? Опираясь на выслушанные мною негативные отзывы, рискну сделать вывод:

а) критическое восприятие страны проживания;

б) критическое восприятие евреев;

в) резкость суждений.

Не мне с моим сугубо техническим образованием судить писателей.

И о литературе тоже могу рассуждать на уровне дилетантском: нравится – не нравится. Но как рядовой читатель, для кого, собственно, и пишутся литературные произведения, выскажу своё мнение по спорным пунктам.

Сперва о критическом восприятии страны проживания. Сразу скажу, что в этом вопросе я с Ольгой Бешенковской мало солидарен, так как воспринимаю многие вещи иначе. Но это же не повод лишать точку зрения и позицию автора права на существование.

Другое дело – евреи. Уточняю: бывшие советские евреи. Тут я хочу снять шапку, поклониться баракам и сказать: «Спасибо тебе, Vielwasen 22, за то, что ты помог мне узнать мой народ». Одно дело, когда несколько миллионов рассеяны по Союзу. И совсем другое, когда 200 из них собраны вместе. Немало людей с прекрасными человеческими качествами посчастливилось мне узнать за время жизни в хайме. С некоторыми из них и по сей день дружим или поддерживаем отношения. Если бы такие люди преобладали... Увы. В Wangen'е (наш хайм мы называли просто Wangen) после первых нескольких месяцев открытости и веселья стала постепенно возникать и сгущаться атмосфера неискренности, подозрительности и отчуждённости. И стали лопаться подчас старые, долголетние связи и дружбы. Да и не удивительно, если друзья вдруг находят (или думают, что находят), к примеру, скорейший путь к получению квартиры и начинают прятать письма и врать друзьям (ведь они конкуренты!) – то к чертям собачьим таких друзей. А было бы достаточно квартир, не жили бы в хаймах – так и дружили бы дальше, не зная с кем, ходили бы в гости, не зная к кому. Поэтому я повторяю: «Спасибо тебе, Vielwasen 22, что ты был в моей жизни». К сожалению, хитрость, граничащая с подлостью, встречалась не так уж редко. Не думаю, чтобы это была беда одного нашего хайма. Подтверждением тому служит хотя бы уже описанная история нашей отправки на «швейцарскую границу». Нельзя не упомянуть и о такой важной черте характера некоторых представителей нашего контингента, как гордость. Но не та, врождённая благородная гордость римских патрициев или русских аристократов. Такая тоже есть, но встречается много реже другой. Та, другая, лично мне неприятна. Это маска, по которой безошибочно выделяю в толпе представителей советских евреев, носящих её. Кто не видел эту маску? Брезгливо поджатые и одновременно выпяченные губы, надменный взгляд Агамемнона и печать на лице под названием «мне тут все должны». Такой вид, возможно, годится для светских раутов и приёмов, но следовало бы снимать его хотя бы на время походов за социальной помощью или на распродажи в дешёвых магазинах, чтобы не выглядеть смешным. Ряд черт еврейского менталитета не остался незамеченным Ольгой Бешенковской. И вот её повесть вышла в свет. Сначала было тихо, потому что большая часть бывших жителей Vielwasen'а молодой журнал «Родная речь» не выписывала, а потому и не читала. Но лавиной прошёл слух, и журнал уже не достать и не найти, на прочтение записываются. Но что происходит в этот период? Это просто замечательно, поскольку типично.

Поздний вечер. В квартире раздаётся телефонный звонок. Хозяйка берёт трубку. «Алло, Софочка? (Верочка, Анечка...) Вы уже читали? Как, ещё нет? Ой, там про вас такое...» И оглушённая Софочка выслушивает о себе жуткие подробности, с наслаждением сообщаемые ей «подружкой», которая, кстати, сама еще не читала, но пользуется моментом выложить Софочке всё, что она о ней думает... Потом «подружка» желает «спокойной ночи» и набирает следующий номер. Какое тут «спокойной»! Софочке уже не до сна и нет покоя, пока она сама не прочтёт эту повесть. И вдруг, дочитав до конца, не обнаруживает о себе ничего. Это может быть ещё обиднее. «Меня просто не заметили, хотя я там тоже была!» Ну, а если кто-то узнал себя в повести, несмотря на изменённое имя, значит образ схвачен правильно и написано верно. Но какой неповторимый шанс появился выказать свою преданность синагоге! (Ведь и ее не обошла

своим вниманием автор повести). И организуются походы с заверениями и клятвами в непричастности и несогласии; и делаются (кем?) переводы «нужных» мест на немецкий; и услужливо подсовываются «пострадавшим». А сами «пострадавшие», может быть, и не чувствуют себя такими уж пострадавшими, но их же не оставят в покое угодливо суетящиеся дамочки, способные сделать любого гораздо несчастнее, чем он есть. В общем, критика на евреев в повести, увы, небеспочвенна. Слышу немой вопрос: «А ты сам кто?» Отвечаю: «Не волнуйтесь. В моей родословной не было ни одного нееврея».

Ну, и о резкости суждений автора. Да, действительно, резкость Ольги Бешенковской граничит порой с безжалостностью. Но многие ли читатели возьмутся обвинять её в искажении фактов? А правда – она, бывает, и глаза режет. Для создания этого произведения автору, кроме писательского мастерства и знания предмета, необходимо было ещё и мужество, качество, к сожалению, переходящее в среде нашей эмиграции в разряд дефицита.

И я желаю Ольге Бешенковской дальнейших успехов как в прозе, так и в поэзии.

Евгений Смертенко, Штутгарт

НИКЧЕМНОЕ СЛОВО «TOLERANZ»

Вы не читали «Viehwasen 22» во втором выпуске «Родной речи»? Предполагаю, этот вопрос можно будет частенько услышать в кругах самых разных. Вот оно – настоящее литературное явление: провоцирующее, шокирующее, судить, линчевать призванное, не прощающее. Местами и под конец – помягче, но все, что сказать хотелось, сполна выдано и иронией не заслонится. Острый, кусками ядовитый, язык, мощный интеллект, изощренная избирательная наблюдательность – хочешь восхищайся, хочешь матерись – все разрешено, свобода. Увы, свобода только для автора. Не принимаешь на все 100? – Уже отвечено примерно так: «Дурак, демагог и иди к таким же». Критиковать – не положено, дискутировать – опасно для жизни...

Читала произведение чуть отрешенно, на себя вроде и не примеривая, потому как не еврейка и не немка. Впору радоваться было да похихикать – ага, так им и надо. Выставлены на любование, увеличенные биноклем тараканы да замороженные истуканы – картинка не для слабонервных. Но (Toleranz причиной?) – что-то не хочется любоваться и похихикать. Или, быть может, национальность моя виной? Да и какая, собственно, национальность? Отец – швед по происхождению с финским паспортом, заткнутым в карман русского, аристократическими корнями залосненного, но нашатырем подчищенного, пиджака. Мать – русско-итальянская кровь перемешана, по духу – русская, русская, русская. Привязанности? Угораздило шесть лет назад за коренного немца замуж выйти. Кучей немецких родственников и знакомых обзавелась, через кризис и болезни (благодарю Бога – не через вселенскую ненависть) интегрировалась, близкая подруга – еврейка. Toleranz – в крови?..

Я приветствую талантливого поэта Бешенконскую, рожденную, чтоб писать да звездой светить, обогревая тех, кто обогреться может и хочет, огорашивая холодом и нелюбовью тех, кого охота, – свобода. Не заметить звезду невозможно, уважать есть за что, но...

Словом, успеха и Toleranz «Родной речи»!

Нина Бёттгер, Киль

О ПРОЗЕ ОЛЬГИ БЕШЕНКОВСКОЙ

Никогда не писал рецензий, считал их пустой бумажкой, но эту... Читал — прозу Ольги Бешенковской долго, что для меня необычно. Но эту прозу не проглотить за раз. Перечитывать фрагменты — удовольствие. Такой афористичной прозы не читал уже много лет. Не у кого.

О чем ее проза? О евреях и немцах? Увольте!

Вообще, совсем не о них. И ее душевную возмущенность понимаю с другой, изнаночной стороны.

Еврейка? Боже, сохрани! Какая она еврейка, когда русская культура в ней вытесняет все, независимо от того, на каком языке она пожелает изъясняться — в прозе ли, в поэзии ли.

Русская? Боже, сохрани! Какая она русская, когда понимание мира и ее самой в нем источаются настоящей кровью, а ежели в России льется кровь, то это, точно, еврейская, какая же еще?

Немка? Боже, сохрани! Даже если и захочет — не дадут, у нее акцент вот такой, проявляется с ходу, да она и сама не захочет. Это уж точно.

Ее протест — против затаскивания в узкий коридор еврейства без ее воли — там, на родине.

Ее протест — против неизбежности считаться немкой, иначе будет не так, как у всех, а это — такое же гетто. Протест против любого загона, любой ограды, пощелкивания кнутом да еще с собаками по бокам.

Кому понравится?

А поди же, нравится многим. И многие хотят. Я знаю одного, живет в Германии восемь лет, насобачился по-немецки и даже со мной, знающим его более тридцати лет, говорит на этом языке. И все же прекрасно понял меня, когда я его по-русски... Память же какая!

Пущен слух, что ее проза кому-то из немцев не понравилась. В это трудно верить. Но если так говорит сама Ольга Бешенковская, то это, увы, правда. Впрочем, откуда им может понравиться такая проза? Они привыкли растягивать мысль страниц на десять, ибо оплата, сами понимаете, по весу. Роман, меньше трехсот страниц, не выгоден никому.

Но все же, неужели не найдется такой образованный немецкий издатель, который поймет, что нужно издавать? Магазины завалены бумагой с буквами, и большинство — переводы. Это означает, что немецкий читатель познает чужие страсти, чужие надежды, чужие привязанности — чужую жизнь, а о нем самом мало кто ему что-либо говорит.

Когда читаешь прозу Ольги, все время что-то тормозит, что-то заставляет возвращаться и повторять пройденное.

Прилагательные!

Удивительно щедро она ими пользуется. Их много, и глагол затирается ими, заталкивается вглубь. Но он же все-таки глагол, а потому пытается встать, и фраза становится выпуклой, трепещущей. К ней обязательно хочется вернуться, чтобы запомнить. С ходу так не получится.

Возможно, во мне говорит зависть.

Так пишет прозу поэт, потому что им ощущается не столько сущность, сколько ее следы: форма, окраска, запах, тактильная плотность и скользкость, звучание или, наоборот, беззвучие.

Кому не нравится — пусть помолчит и потом возьмется читать вновь.

А если не возьмется, мне его жаль.

Владлен Таран, Берлин

ОЛЬГА БЕШЕНКОВСКАЯ КАК ЗЕРКАЛО НОВОЙ ЭМИГРАЦИИ

(О повести «История с географией, или Дневник сердитого эмигранта»)

ПОЭТ И ФИЗИК

Повесть Ольги Бешенковской заставляет меня признаться в собственном графоманстве. Не признавался я в этом грешке ни самой Ольге Юрьевне, хотя желание показать профессионалу свой опус становилось во время разговора порой навязчивым, ни своим близким.

Повесть об эмиграции я начинал писать сам. Многократно. В подвале общежития. В общежитии. В своей квартире. В чужой квартире.

После очередной попытки написать нечто осмысленное и проанализировав написанное, я пришел к выводу о бесперспективности этой затеи. Я понял, что для написания эмигрантско-еврейско-немецкой повести (или антиэмигрантской, антиеврейской, антинемецкой, как была бы эта повесть расценена значительной частью читателей) необходимо не бойкое изложение анекдотичных историй из жизни «среды обитания», и не строгим языком воинского устава написанная инструкция из серии «Как в Германии встать на социал и стоять до последнего» (варианты «Как в Германии найти работу», «Как в Германии делать вид, что никак не найти работу», «Как в Германии найти мужа», «Как в Германии потерять жену» и.т.п.). Нужно было нечто большее...

Закрывая последнюю страницу повести Ольги Бешенковской, понимаешь, чего тебе самому не хватало (не хватало-то до уровня Бешенковской невообразимо многого, но это, видимо, главное): лирики. Именно лиричность повести, определенная тем, что автор – поэт и по литературному опыту и по жизни, делает ее Литературой. Лиричность повести не только в страстных, личных, иногда интимных стихах, вписанных в прозу. Лиричность повести в стиле изложения событий, личных переживаний, даже в самых ядовитых (Ich bin eine giftige Frau», начала Ольга один из своих вечеров) высказываниях. Лирика, господа читатели, это ведь не про коров на лужайках, не про последний поцелуй и не про первый минет. Лирика – это позиция Личности Автора. Но, впрочем, о роли Личности (Ольги Бешенковской) в Истории (с географией) чуть позже.

ПОЭТ И РАССКАЗЧИК

Мысль моя глубока и оригинальна: эмиграция – тяжкое испытание, эмигрант, который берется за написание автобиографической повести, должен выбрать интонацию так, чтобы не скатиться к мазохистскому любованию собственными страданиями. Иначе рождаются произведения (мною почитаемые, кстати) вроде «Это я, Эдичка!» или «Бодался теленок с дубом» (Солженицынская вещь, хоть и не про эмиграцию, но все про то же: «Ах, как мне было тяжко с ними со всеми бороться»... Ударение на МНЕ ТЯЖКО).

Эмигрантские повести Сергея Довлатова, с которым Бешенковская была хорошо знакома, наилучшим образом подходят для сопоставления с повестью «История с географией».

Довлатов сам любил подчеркивать, что он рассказчик. Рассказчик отстра-

ненно-иронично излагает происходящее. Вместо спасения у Довлатова появляется спасительный цинизм, который и помогает выжить, который смягчает трудности восприятия новой, жесткой, непривычной жизни.

Бешенковская – поэт. Ее спасение – поэзия. Поэтический нерв, личная вовлеченность в события книги, явственно выраженная позиция автора, горький сарказм, а не отстраненная ирония, обобщения (пусть не всегда бесспорные) объясняют притягательность этой книги. Проза в повести эмоционально сдержанная, аналитическая, местами сдержанно-личная, местами философская, несет на себе отпечаток личности Поэта. Поэт же раскрывается в стихах, тонких, сильных, переполненных эмоциями.

ПОЭТ ПРОТИВ ТОЛПЫ

Подзаголовок-то неправильный. Поэт не против толпы. Он над ней. Он над толпой евреев, немцев, эмигрантов, профессоров из Москвы и черновицких торговцев, немецких графоманов и российских литераторов. Он не против евреев и не за немцев. Он против тех, кто в родной речи называется хлестким словом «чернь». Он не за тех, кто с умным видом рассуждает про «трактовку этой парадигмы у Кафки», а потом обманывает гадко и мелочно. Он симпатизирует людям независимо от их национальной принадлежности, образования и происхождения. Он за тех, кто по духу своему не принадлежит к толпе (отличаться от толпы ростом, носом или родным языком не обязательно).

Виктор Ерофеев сказал, что бесполезно рассказывать про вкус хорошего французского вина тому, кто привык к бормотухе. Ольга Юрьевна назвала журнал «Родная речь». Идеализм Поэта проявился и здесь. Какая уж тут родная речь! Оля, для кого Ваша речь, Ваша проза, Ваши стихи, Ваши аллюзии, Ваши философские эссе, Ваши ссылки на Ницше и Гессе родные?! Много ли их?! Не Вы ли писали про Muttersprache и Vaterland?! Язык, на котором говорили матери многих Ваших читателей, и Ваша родная речь имеют общего не больше, чем принц и нищий (точнее, чем нищий и принц).

Есть ведь и люди, которые «Мастера и Маргариту» воспринимают как развлекательную вещицу. Будут люди, которые Ваше произведение будут рассматривать как антисемитскую выходку. Или как антинемецкую провокацию. Или как антиэмигрантскую инсинуацию. Или как месть бабе Мане за пол невымытый. Ну да и Бог с ними, собака лает, а караван идет...

Николай Михайлов (Он же: Костик, один из персонажей повести),
Петербург-Штутгарт

Анастасия ПОВЕРЕННАЯ

ХОЛОДНЫЙ НЕУЮТ СВОБОДЫ

Письмо к Ольге Бешенковской и персонажам ее повести

Синей речкой с желтыми и красными осенними березами – картинкой, куском детства, запомнилась мне школьная «Родная речь».Теперь держу в руках другую – второй номер нового литературного журнала. Мы только мечтали о таком, «четвертая волна» это сделала: издала настоящий, «толстый» литературный журнал. Русский. В Германии. Ни оформление, ни содержание никак нельзя назвать провинциальным, чего можно было опасаться.

Начинаю читать со стихов

«...Я стою в середине Европы
С азиатской тоскою в глазах...» – Даниил Чкония.

«...И кажется уже, вот-вот,
И ты шагнешь за тот порог,
И даль откроется глазам...» – Вальдемар Вебер.

Это рефрен основной темы журнала, – естественно, эмигрантской, но редакционная коллегия предупреждает: второй номер – только начало, и в будущем нас ждет тематика самая разнообразная.

И вот глаза впиваются в первую строчку необычной и по жанру, и по манере повести: «..НЕНАВИЖУ...особенно немцев и евреев... Нет, все-таки евреев и немцев...». Потом читаю название «Viehwasen 22. История с географией, или Дневник сердитого эмигранта» более пристально, вчитываюсь и настраиваюсь на ритм повести-дневника, и... понимаю, что буквальная, плоская вера в каждую, начиная с первой, фразу автора, Ольги Бешенковской, по меньшей мере, наивна. Под маской «сердитого эмигранта» – волнующийся и страдающий автор. И мне уже кажется, что мы сто лет знакомы и дружны. Сочувствую грусти и печали, временами хохочу вместе с ней, вижу ее ироническую улыбку и бесовские искры в глазах..

Часто читаем: редакция не несет ответственности за... А мы, уважаемые читатели, несем ли мы ответственность за *не-понимание* автора? Не выдерживаю и звоню.

– Ольга, скажите, НЕНАВИЖУ – это что – позиция или поступок?

– Конечно, поступок.

И я благодарю ее и за журнал, и за повесть.

– А вы напишите.

Вот и пишу. Не рецензию и, уж тем более, не в защиту автора от ее будущих «читательниц-блондинок». Не позиция – поступок. Позиция – это принцип и тут стоять надо насмерть. Поступок можно понять, объяснить. Зачем Бешенковской понадобился риск – оттолкнуть от себя первой же фразой только что приобретенную публику и нового читателя?

Повесть напечатана, стало быть, и вход в хайм V 22 для посторонних уже не запрещен. Я хочу поговорить по душам не с автором, а с обитателями этого общежития. Почему не с автором? Да потому что Бешенковская не только прозаик, но и известный поэт и у поэтов такого склада в России всегда с властями был разлад, а с жителями хайма V 22 – естественно, разный жизненный опыт. Не случайно в повести она дважды говорит об этом:

«... Поэт угрюм, поэт не вхож, ни во правительство, ни в храм,
Не посещает он, как Бог, молений в собственную честь...»

«... И представьте себе, был поэт абсолютно в себе,
И не прочил себя ни в министры, ни просто в Мессии.»

Итак, я хочу говорить с обитателями этого общежития. Не прошу персональных нар, мне хватит места за столом.

Дневником этим, «сердитым», резким, жестким до жестокости, автор баламутит «эмигрантское болото», заставляет обитателей хайма V 22 заглянуть глубоко в себя... устыдиться – и освободиться от того, что не дает им прийти к

взаимоуважающей и взаимоуживающей гармонии отношений *Они – Мы*. И почувствовать себя в этой стране – *у себя*.

– Не говори плохо, это меня сердит, – еще недавно говорила мне моя младшая дочь. Я тоже не хочу вас сердить, дорогие жители хайма V 22, хочу лишь объяснить, что нас, старых эмигрантов, с вами роднит, а что – разнит. Не разделяет, нет, разнит – нащ эмигрантский опыт.

Моя новая приятельница (из недавних эмигрантов) говорит:

– Конечно, Мюнхен не Москва, но жить можно, да вот немцы под окнами ходят.

А этажом выше живет простая немка, пенсионерка. Поскольку получает она пенсию немногим больше социальной помощи моей приятельницы, ночами развозит по отелям газеты, не забывая «цап-царапнуть» пару свежих русских газет для своих новых соседей. Она знает, что у них каждый день стоит проблема выбора: потратить 5 марок на газету или на пачку сигарет.

«Нет повести печальнее...» И как, видимо, было задумано автором, дневник сердитого эмигранта провоцирует сложные чувства и вызывает из памяти пережитое. «Viehwasen 22» еще раз убеждает в том, что и «четвертая волна» эмигрантов из Союза, подобно предшественникам своим, не любит страну, ее приютившую. Страсти, бушующие в повести, кажутся мне розовым бантиком на моей двадцатилетней задубевшей эмигрантской коже. Стоп, не двадцатилетней. Моя эмиграция началась двумя годами раньше, в Ленинграде, в отказе. День начинался подъемом на эшафот, ледовыми побоищами в партийно-советских кабинетах, где еще вчера ты была всеми уважаема, а сегодня стала врагом народа. Какая удивительная способность была у этой власти убивать в человеке – человеческое: выходя на улицу, я ждала, что каждый прохожий плюнет мне в лицо, а если не успеет, то в спину – обязательно.

Вы, сердитый эмигрант, не любите немецкую бюрократию – «...Справки в Германии собирают с такой же страстью, как в России – грибы...» – Но именно эти самые справки могут вас защитить и оградить от многих неприятностей. Со временем вы поймете и оцените это. Перед отъездом я в течение двух лет пыталась получить одну-единственную справку, без которой нельзя было эмигрировать: что мой отец похоронен в братской солдатской могиле в сорок первом на Смоленщине. И когда я обратилась в суд подтвердить этот факт, получила ответ: «Судебный иск отклонить из-за отсутствия юридического обоснования». Достойная по-советски память павшим.

Пишу о себе, чтобы продолжить разговор на тему – наш эмигрантский опыт. Замечаю, что с некоторых пор я стала подразделять «советское» и «социалистическое». Советское, в моем теперешнем представлении, стало чем-то вроде надстройки, а социалистическое – базисом. Действительно, если бы у нас всех было бы одинаковое советское, то не отдыхали бы одни «от отдыха» на нарах хайма V 22, а другие – на нарах в Потьме, на Пряжке и Сычевке. Именно потому, что *советское* у нас разное, одни сочиняли «самиздат» и анекдоты, другие трудились над воплощением монументального лозунга «Вперед, к победе коммунизма!». Не будь этого, «принципиальная» Нина Андреева научилась бы уважать мои принципы, не поступаясь своими.

Мои, мое – этим местоимением я называю *социалистическое* в нас. Мы были там Дома, (это слово пишу теперь в соответствии с немецкой грамматикой, только с большой буквы) равно нищие, довольные тем, что «...и все вокруг колхозное, и все вокруг мое...».

Мой приятель юности, Петя Маслов, говорил:

– У меня правило: на последние два рубля всегда покупаю четвертинку.

Не все знали это, но все жили так же, потому что два рубля были всегда последними...

Мой друг-немец несколько лет тому назад продал свою фирму в Германии, заплатив солидный налог государству (заметьте, сердитый эмигрант, – на ваше социальное пособие, чтобы уютнее было лежать на нарах и вспоминать «цветные корешки любимых книг»). Став безработным, смог он, наконец, посетить свою историческую родину – деревню Sankt Peters, что в благодатнейшей, когда-то, Австро-Венгрии, а ныне – в социалистически-капиталистически-перестроечной Венгрии. Встретили его бедные родственники, и захотелось ему помочь им. (Читай, сердитый эмигрант, начало повести о мороженом, роскошном «Мерседесе», скупости и жадности немцев. Или позволь мне напомнить 17 августа этого лета. В этот день мой немецкий друг задал мне вопрос, что бы я делала, будь у меня сегодня деньги в российском Сбербанке, и что бы я чувствовала, потеряв их. Что? Заболела бы, потеряла бы сон и покой. Мне, неимущей, можно себе это позволить. В то время как он, предприниматель, должен быть всегда в форме. И добавил, что спрашивает меня об этом, потому что в этом году потерял четверть своего капитала, и все из-за того, что «Клинтон не научился ширинку держать застегнутой». Так у кого же из нас «монетный звон в ушах»? – это все к той же, 119 странице повести-дневника).

Получив *мое,* которое только что было было *не мое,* дорогие родственники с замыслом «дающего» не справились, и пришлось ему переезжать в Венгрию, самому строить фирму. Интересно наблюдать за этими новыми «сохозяевами», совладельцами фирмы, которых интересует только один вопрос, а что здесь принадлежит *нам?* И в этом венгры ничуть не отличаются от нас, бывших советских. И не Германию мы не любим, а себя в ней. Потому что потеряли привычное *всеобщее мое,* которого здесь, простите, и не бывало.

Я пишу не рецензию. Просто по ходу повести отмечаю, что нравится и что огорчает. Радуюсь психологическим совпадениям слова и сути. Радуюсь, что сердитый эмигрант сердится не во всю длину строчек. Сожалею, что эту повесть-исповедь не могут прочитать немецкие феминистки, которые сердиты на меня. Несколько лет тому назад в переводе на немецкий была опубликована моя статья. Суть ее сводилась к тому, что западный феминизм норовит уничтожить личность мужчины, а советский – защищает его, бедного. Читаю в повести: «Жить за каким-то мужем – как за забором... Все равно не я буду за ними, а они за мной... при любом возможном раскладе...» А этот «возможный расклад», как советские выборы из одного кандидата, сводился к простому. Мы, жены, матери, подруги, мы были тем забором, за которым укрывали наших мужчин от беспощадной системы. Только за нашим забором они приобретали чувство достоинства, повадку хозяина и добытчика. И, несмотря на это, горькой памятью застряли во мне слова покойного мужа, который до самой смерти задавал один и тот же вопрос: почему ты никогда не говоришь *мы,* а только *я.* Теперь радуюсь, когда мне говорят *мы.*

Если бы я писала рецензию, то должна была бы написать, что теперь уже меня, читательницу дневника, рассердило (с больной головы на здоровую?). Увлекшись необычностью стиля повествования – «постепенно входя во вкус и экстаз», сердитый эмигрант местами явно «пережимает», провоцирует уже ради самой провокации. Но – это не моя тема. Я пишу об одном – о разности нашего эмигрантского опыта, о том, что мне помогает жить в Германии, а вам, сердитый эмигрант, *мешает.*

Несколько раз в повести повторяется «Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?» – трудно усвояемый вашей печенью, оскорбительный для вашей тонкой конституции, обитатель V 22, вопрос... А как бы себя чувствовала она (ваша печень), если бы этот неделикатный вопрос, здесь, в Германии, задавался вам еще чаще на нашем, родном... И задавал бы его такой «родимый», которого хотелось наотмашь ударить, потому что он с твердой уверенностью сам себе отвечал: «Знаем зачем! КГБ – подкармливает, КГБ – доплачивает».

И вправду, зачем приехали, зачем прилетели? «...Редкая птица долетит до...». Николай Васильевич, да вы же не всех птиц знали! ПМЖ – птица выносливая, она не только долетит, но уютного гнезда потребует и время гнездования выберет продуманно. Как же эту, тяжеловесную, можно сравнить с легкокрылой, залетной, туристической, которая на пару недель приземлится на берегах Невы? «Коль, пиво, сосиски..., а зачем вы в Россию приехали?». Тут сердитый эмигрант не учел, что читатель легко отличит зерно от плевел. «Где мельница, а где вода?» Не надо передергивать карты и притягивать за уши факты.

Вопросы к нам не всегда опасней тех, что зависают в нашем мозгу и памяти страданием и болью.

– А этот убивал? – был самым опасным для моей адаптации и интеграции.

– А этот?

Звонит немка – приятельница, говорит, что умер отец.

– Eva, mein Beileid, ты думаешь, я хочу хоронить гитлеровского генерала? (И чего вру: хоронить – я бы их всех еще в сорок первом похоронила, будь моя воля, но поминать – увольте).

Не уволили – посадили между двумя бывшими полковниками. Сразу же слышу привычное – я не убивал. Тот, что справа, летчик-топограф, слева – офицер связи. Не убивали.

И только однажды я плакала вместе с тем, кто убивал... В начале перестройки от West-Ost Forum я часто выступала с публичными лекциями, в которых пыталась остудить в немцах экстаз любви к ГОРБИ и перестройке. Признаюсь честно, мне это не удалось.

– Мы понимаем, сказали мне однажды, – вы обижены этой системой и по-другому говорить не можете.

Но однажды меня поняли... После лекции в мужском монастыре в Weltenburg, что на Дунае, мы разговорились с настоятелем. В ответ на его вопрос, где я провела военное детство, я сказала: на Смоленщине, в обозе партизанского отряда, в Касплянском лесу, куда меня упрятали после гетто.

– Я убивал вас, я убивал... – он разрыдался. Позже привел меня в свой кабинет и показал записную книжку-дневник, которую читали вместе.

«27 августа, Каспля. Сегодня партизаны убили Отто, моего лучшего друга. Траур.»

В этот день мне исполнилось 2 года, это был день моего рождения.

Не знаю, как вы, обитатели V 22, но я простила Pater Odilo. Мы подружились. И он до конца дней своих молился за меня.

Перелетая снежные и бесснежные границы, оказались мы здесь. Общее у нас – миллиардами клеток своих каждым почувствованная утрата родного окружения, привычной жизни.

«... ты можешь вынести максимум одну эмиграцию. Ибо вкладываешь в этот бросок все оставшиеся и сконцентрированные в солнечный комок силы – как последнюю страсть» – это слова Ольги Бешенковской. Но парадокс в том, что даже общее в нас – разнит.

«Все карты биты. Мир угрюм и пуст.
А дальше – космос: черная чужбина...»

Не на Западе, а в безвоздушном пространстве чувствовали мы себя поначалу, но мы учились свободе! Редкий из вас, сердитые эмигранты V 22, до эмиграции не побывал на этом самом Западе гостем, туристом, в деловой или творческой поездке. Получив немецкое гражданство, мы навсегда потеряли и *отчество* и *отечество*. Вы же переместились, смешав «историю с географией», на другие широты и долготы, сохранив – пока – «серпастый и молоткастый». Мы уезжали навсегда. А вы? Да и уехали ли вы вообще, оставив Дома «корешки любимых книг»? Вы существуете здесь и не живете там.

«...и пребываю за границей
хотя считается – живу»

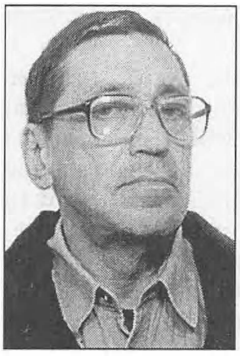
Мы живем, потому что – свободны. А вы оказались в собственной тюрьме, да еще самими собой охраняемые. Не могу удержаться от одной цитаты. Вадимом Перельмутером, писателем и составителем книги «К Верховьям» Аркадия Штейнберга, приводятся слова этого поэта:

«... в лагере неизбежно и прежде всех – без шанса уцелеть, – погибали те, кто относились к своему *сроку* как ... *перерыву* в жизни, который надо не пережить – переждать, а не как к самой жизни... Понимающие это могли *не выжить,* не понимающие – *не могли выжить».*

Уверена, в хайме V 22 нет *непонимающих.* Перед вами новая *зона* – мир, страны и континенты. Пора освободиться от «скарба скорби» и начать «нечаянную жизнь», как у поэта, автора повести «Viehwasen 22».

«Мы стоим, как волхвы, над рождением нового дня,
И каким бы он ни был, для нас он – великое чудо...»

Мюнхен,
ноябрь 1998



Андрей КУЧАЕВ
Мюльхайм

Дюжина ножей в спину новой революции

ПРЕДИСЛОВИЕ НОВОГО АВТОРА

В свое время, дорогие товарищи, проще говоря, уважаемые дамы и господа, незабвенный Аркадий Аверченко издал в Париже книгу «Дюжина ножей в спину революции», а вождь всех наших революций, незабвенный Владимир Ильич Ленин, эту эмигрантскую книжечку прочел. И поругал. И похвалил. И заключил: «Талант надо поощрять!» И предложил издать. И книжку издали! Правда, уже без Ленина. И, правда, не всю. И запретили. Правда, всю. И лишь во времена новых перемен, которые иные головы называют тоже революцией, книжку эту переиздали. Правда, вверх ногами. Потому что с другой стороны эта книжечка начинается Войновичем: «Жизнь и необыкновенные приключения солдата Ивана Чонкина». Которую тоже впервые напечатали за границей. Которую тоже запрещали и тоже издали, хоть Ленин этой книжки уже не читал. Так оно и должно происходить при революциях: жизнь вся переворачивается вверх ногами. Иным это по нутру, а мне, надо сказать, не очень нравится, когда все идет вверх тормашками. Потому я и решил написать свою книжку, которую тоже назвал «Дюжина ножей в спину революции», правда, с оговоркой – «новой». Чтоб не перепутали революции. А чтобы аналогия была полной, я уехал в эмиграцию, где и решил эту книжечку издать. Вдруг как найдется новый вождь вроде Ленина? Вдруг он эту мою книжечку прочтет и велит тоже издать? Конечно, после восклицания, что «талант, де, надо поощрять!» А если я талантом не тяну на Аверченко, то и наши новые вожди, читатель не даст соврать! – не тянут на Ленина! Я-то хотя бы честно признаюсь, что беру пример с Аверченко, даже заглавие его и некоторые выражения использую, а иной вождь, подражая Ильичу, даже не потрудится сослаться на предшественника, не то что взять честно заглавие, скажем, «О кооперации» или «Как нам реорганизовать РАБКРИН?» Так и садит отсебятину! Не то – я, автор.

Может быть, прочтя заглавие этой книги, иной сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:

– Ах, какой бессердечный и жестоковыйный человек этот Андрей Кучаев! Взял да и воткнул в спину революции, такой новой и такой долгожданной, ножик! Да не один, а целую дюжину!

Поступок, что и говорить, жестокий, но давайте честно и любовно разберемся, можно ли назвать то, что происходит в России последний десяток

лет, революцией? Разве та гниль, глупость и мрак, дрянь и копоть, что длятся по сей день, – разве это революция?

Революция – сверкающая прекрасная молния; революция – божественное красивое лицо озаренного гневом рока; революция – ослепительная ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!.. Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?.. Скажу в защиту революции более того – рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка! Его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умиленные, когда они произносятся с трудом неуверенным лепечущим розовым язычком...

Но когда ребенку уже который год, а он торчит в той же колыбели, когда он который год сосет свою всунутую в рот с самого начала ножку, а это уже не ножка – ножища, да еще в сапоге! Когда он который год лепечет те же невнятные невразумительные слова вроде «приватизация», «плюрализм», «суверенитет», «легитимность» – так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто этот тихий идиотизм, впрочем, переходит в буйный, и тогда с детиною сладу нет! Трогательно, когда младенец лепечет своё умильное: «Дай, дядя! Дай!» Но когда к вам в темном переулке подходит лохматый парень и требует от вас снять последние штаны: «А ну давай, дядя, скидавай!» Простите меня, но умиляться при виде этого «младенца» я не могу.

Правда, и сейчас есть еще много людей, которые бормочут фразу:

– Господа, защищайте нашу революцию! Свобода, господа, превыше всего!

Позвольте, но как можно защищать молнию? И о какой, собственно, свободе может идти речь?

Вот пока мы ее, молнию, будем защищать «на свободе», растопырив руки и разинув неразумный рот, детина как раз и ткнет нас ножом в бок!

За что же и во имя чего же мы будем этого детину защищать? Да ему самому не дюжину, а две давайте воткнем, чтобы этот сугенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно мы говорим, друзья-читатели?

И если вам равно противна вся эта нищета, разруха, вся эта «защита революции» и «свобода», то все вместе вы должны грянуть нам в ответ:

– Правильно!!!

ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ
Пролог-утопия

Книжку Аркадия Аверченко выпустили хитроумные большевики, выполняя заветы родного Ленина, то есть, не только урезав до невозможности, но и сменив заглавие, которое в уже измененном виде ты, дорогой читатель, видишь на этой странице сверху! Что же разбилось за последние годы в России? И что осталось после грома пушек новой революции? После защиты и после осады революционного строя? После того, как «все это кончилось»? Попробуем вообразить, так сказать, поглядев снаружи! Послушать уцелевших.

На парижском бульваре сидят двое, по виду – совершенно русские люди. Один с окладом бороды, в крылатке, с трехцветным флажком в петлице. Второй – европейски выбритый человек, с короткой стрижкой «а ля Керенский».

– Пособие получил? – спрашивает «европеец» у бородатого.

– Копейки-то эти? Получил. Чтоб они подавились ими, басурмане!

– Копейки – не копейки, а на неделю должно хватить!

– А через неделю что? Опять посуду мыть в «Плазе»?

– Я в гараже устроился, на мойке. Ты не представляешь, сколько эти буржуи оставляют барахла в машинах! Вот, посмотри, на мне куртка! А? Почти новая, а они ж просто бросают!

– Зажрались!

– Как твоя статья по славянскому вопросу? Не пристроил?

– Ха! Да кому тут нужен «славянский вопрос»? Леваки да радикалы ходу не дают. А как твой рассказ? Утопия?

– Это ты про «Российский Армаггедон»? Правые стеной встали. Россию, мол, пачкаю.

– А ее можно больше испачкать? – бородатый хохочет. – Ты бы спросил в редакциях: можно ее больше испачкать, чем они все вместе изгадили? То-то! Сами они туда чуть не каждый день ездят, этим новым кланяются! Тем, кто всю Россию за чечевичную похлебку продал.

– Да, больше России свободы не видать! – едко ухмыляется бритый и стриженый. – Пропала Россия!

– А мы? – топает ногой бородатый.

– Мы – в свободном обществе! Мы выбрали свободу!

– Свободу, говоришь? Подохнуть туг? Фу ты – ну ты! Что ты называешь тут свободой? Их идеалы? Чистоган? Их искусство? Щекотку для толстых? Так ведь тошнит от всего этого!

– Возвращайся! Прямым ходом – на Ваганьково! С голоду сдохнешь, как пить дать! – промокает лоб и губы чистеньким платком «Керенский».

– А туг и пить никто не подаст в смертный час! – плюет бородач. – Туг мы все одно, что цыган с медведем! Прощай, Расеюшка! И за что они ее так?

– Дааа... Кому мы мешали? – вздыхает бритый. – Помнишь мои колонки в «Московском комсомольце»?

– И то правда – кому?! Вспомни мои публикации в «Советской России». Ведь за отечество радел! Против этой сволочи! Предупреждал!

– А я, интересно, за кого радел? И тоже против этой сволочи! Вспомни мои публикации еще в том «Огоньке»! Разве я не предупреждал?!

– Да что там! – вздыхает мечтательно крылатка. – Вспомни мои выступления во «Дворце молодежи»! Кругом флаги российские: трехцветный, андреевский! Да еще тот, черный с золотом, монарший! Победоносец! Ни одного красного! И молодежь как поддерживала! Как распахивала сердца! На руках выносили!

– А мои пламенные речи на Пушкинской площади? Милиция плакала! Полемику какую я в «Курантах» развел? Какую колонку в «Московских новостях» делал?! Свобода была рядом! Люди поверили! Презентация книг! Банкеты в Киноцентре! Спонсоры!

– Россия готова была возродиться! А потом эта нечисть организовала провокацию... Помнишь мое пенсне на шнурке? Раскокали! Не собрать.

– Кому мешала свободная Россия?

– Кому мешала великая Россия?

– Кому мы мешали?

Оба замолчали, каждый думая о своем.

– А, может, склеится?- осторожно предположил бритый. – Вот и Европа нам поможет...

– Эти?! – мотнул бородой сердитый в крылатке. – Держи карман!

Оба посмотрели на толпу у богатых витрин. Нарядные женщины в мехах и сытые розовые мужчины любовались товарами. По тротуару спешили разодетые люди, в смокингах и визитках, – торопились в увеселительные заведения.

– За что, за что, за что? – шептал один.

– Конец, конец, конец, – сокрушался второй, смахивая слезу.

. . . . . .

Неужели ж конец, братцы?
Или надо делать что-то, пока не поздно?
Сколько же можно Россию так?!!

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Черты из жизни рабочей династии Грымзиных
Конец 40-х

Петр Грымзин, демобилизованный с войны молодой рабочий, поступил на арматурный завод, получил пятый разряд, и ему положили тысячу двести рублей тех, еще дореформенных денег. Разумеется, в месяц.

Не всякий читатель помнит о тех временах, иной и не жил еще тогда, а с деньгами уже столько всяких фокусов было, что придется мне, помнящему, сразу условиться с читателем: тех тысяча двести это сегодняшних российских деноминированных... столько же примерно. Вчера еще это были миллион двести, а чуть раньше – сто двадцать. Вот как относятся они к вечному валютному эквиваленту додолларовой эпохи: на тысячу двести конца 40-х можно было купить примерно пятьдесят бутылок «русской горькой». Столько же и сегодня можно купить на эти деньги, если водку брать не худшую, а по двадцатке с хвостиком. Столько же и на миллион покупалось, плюс-минус на качество. Столько же и на сто двадцать, или чуть меньше – помните заветные два восемьдесят семь? Потому-то, читатель, если я в разные периоды и оговорюсь, скажу – там сто двадцать, тут – тысячу двести – понимай меня правильно: заколодованная цифра – тысяча двести деноминированных. И дай тебе Бог хотя бы эту сумму получать ежемесячно и своевременно.

Цифра эта еще и потому универсальная, что, живя в Германии на социале, получает человек в среднем пятьсот монет на человека, что и соответствует опять полутора тысячам, а за вычетом необходимых отопительных и телефонных – и здесь мы в тысяче двести сидим, как в клетке! Ну, а если вы на работу устроились, как Петр Грымзин, то уже эта сумма будет не на одно лицо, а на всю семью, ибо все с социала снимаются, а квартира оплачивается из своего кармана! Вот и не верь, что все мы теперь – европейцы! Даю новое определение европейца: это тот, кто получает тысячу двести деноминированных на все семейство! А цены?! Цены, дорогой читатель, зависят от того, на каком участке Европы проживает европеец! Водка же в Германии (не «нашенская») тоже – 10,-ДМ, 50 бутылок на социал.

Итак, получал Петр Грымзин дысячу двести, тратил же их так: тысячу отдавал в семью: жена и двое детишек, двести – себе на «пропой души».

Мясо в щах Грымзиных плавало всегда. Сковородка, на которой разжаривали картошку со свининой, была размером с арену цирка на Цветном. Когда не было «микояновских» котлет – жарили навагу или треску. На советские и

церковные пекли гуся. Пироги – всенепременно. Ливерная колбаса и чайная с чесноком – доступно. Бутерброд – рот порвет, щедро мазали маргарин на ломоть, сверху – хоть песком посыпят, хоть яичным порошком, – помощь о Лендлизе – американской помощи, да и свой маргариновый завод освоил.

Двести «гуленных» Грымзин расходовал так: четвертинка – десятка, шесть пива – двенадцать. Сарделька с горошком плюс черные сухари и моченый горох к пиву в баре – еще рупь, два... На круг – двадцать пять. Мог позволить через день заходить в бар со своей чекушкой. Но ругался Петр Грымзин, проходя мимо ресторана третьей категории «Балчуг»:

– Сидят, тунеядцы! Жируют! Один цыплак-табак пятнашку стоит! Да коньяк поди шесть рублев! За что воевал рабочий человек? Чтобы этих тыловых спекулянтов поить-кормить? Нет, Хозяин, нехорошо выходит! – глядел Грымзин в сторону куполов Василия Блаженного, побок Кремля.

Конец 50-х

Умер Сталин-Хозяин. Сменились деньги. Грымзин этого даже не заметил, как и все, кто от зарплаты до зарплаты жил. Просто новую выдали, когда карман до дна опустел, другими купюрами: цветом повеселей, размером – поболе. Опять ровно тысячу двести. Чадила та же сковородка с котлетами или наважкой. Плавали в щах Грымзиных то мозговая косточка, то поросячий пятак или хвост. Кипел чайник на полведра. Сахара не жалели. Бутерброды теперь были без порошка яичного, но зато с мокрой колбасой по двадцать два рубля. Ливерная «собачья радость» вовсе стоила десятку. Дети шли на двор с бутербродом не хуже людей. Отдыхал же Грымзин теперь в шашлычной. Бутылка с собой – двадцать три семьдесят. Естетственно, на троих. Шашлык – десятка. Закусь – сациви, лобио, зелень – три рубля с носа. Раз в три дня посетить мог шашлычную Грымзин.

Но ругался Петр, идя мимо ресторана второй категории «Балчуг»:

– Сволочи! Сидят, жируют спекулянты! По сотне за стол кидают, паразиты! Хозяина на них нет!

Конец 60-х

Ушел на пенсию Грымзин-отец с учетом горячего стажа до срока. Пенсион положили чуть меньше тыщи. Дочку замуж выдали. Пошел после армии на арматурный Грымзин-сын. Разменяли тут где-то денежки и получил молодой рабочий сто двадцать рублей в месяц – тысяча двести вчерашних и наших сегодняшних. Опять отдавал в семью что-то, себе оставлял на пропой две красненьких – двадцатку. (Те же двести, что отец). Реже пахли мясом щи на столе у Грымзиных. Мать-иждивенка что шила, что перешивала. Отдыхал Грымзин-сын так: бутылка на троих за два восемьдесят семь. Под самоклеющиеся пельмени или сосиску в целлофане в кафе-стоячке. Еле на полмесяца хватало двадцатки, брал левую работу, ругался опять, идя мимо ресторана первой категории «Балчуг»:

– Построили коммунизм! Одни на всю сотнягу сидят, другие за нее месяц вкалывают! Импорт-экспорт нетрудовой элемент крутит, теневики поганые, ужо доберется до вас новый Хозяин...

Конец 70-х

Умер отец. Минул застой. Исчезло мясо из щей Грымзиных. Уплыла северная наважка, махнула хвостом треска, воцарился хек серебристый да рыба-сабля с угольной вместе. За костями старуха-мать ходила к знакомому рубщику. Подрастали детишки, донашивая друг за дружкой, что мать перешивала. Отдыхал Грымзин исключительно так: бормотуха из южных республик, пиво пополам с водой, «кафе» за столиком под липой во дворе с такими же. Ругался Петр Грымзин, постаревший от вина и забот:

– И кто сидит в ресторанах высшей категории типа «Балчуг»? Валютчики? Не всех, выходит дело, перестреляли! Уж доберемся, дайте срок...

Конец...

Умер скоропостижно от пьянки Грымзин-кормилец. Пришла перестройка вместе с реформами. Обросли деньги нулями. Грымзин-внук опять пошел на арматурный, который еле-еле на ладан дышал, выпуская сковородки и чайники Сначала сто двадцать тысяч ему положили. Потом деньги вовсе взбесились, каждый день – новые цены, зарплата сначала до полумиллиона доползла, а потом... Страшно вспомнить. Пока после всех потрясений не установилась опять на тысячу двести. Сестра – инвалид детства получает от государства аж триста! Бабка у метро хлебом торгует. Мать в сберкассе чужие деньги считает. Кругом все в долларах исчисляется. На триста долларов всей семьей живут. Как? Не знаю, а Грымзин доволен:

– А что? Жить очень даже можно! Пью на свои, похмеляюсь мамашкиными. Закусываю инвалидными. Завод все одно закроется со дня на день, зарплаты уже третий месяц не видать. В «хотеле» высших международных категорий пять звезд «Балчуг» перепадает мне иногда халтура: за объедки с кухни кастрюли лужу, сковороды паяю. Совсем прижмет – тамошних клиентов контрапупить пойду! Шутка дело: за вход в шантан сто зеленых берут, с коньяком да шампанским посидеть – все триста баксов плати – моей семьи месячное довольствие! Это ж что ж за жизнь построили? И на кой ляд нам такие реформы?

Брань, как известно, на вороту не виснет, особенно если это ворота Кремля. Готовится новое перераспределение собственности. А, значит, и доходов семейства Грымзиных...

Впрочем, какое семейство? Детей не завел последний Грымзин, сам от вина скоро Богу душу отдаст, мать – уже и не ходит, бабку схоронили. На кого сестра-инвалид останется?

Где же ты все-таки дал маху, Петр Грымзин?

ЦАРИ У СЕБЯ ДОМА

Все почему-то думают, что наши коронованные особы – это какие-то небожители, у которых вокруг головы нимб, на груди – алмазная звезда, а на ногах лакированные штиблеты. Что и дома они ходят в горностаевых накидках или фраках от Зайцева.

Ничего подобного! Я хорошо знаю, что в своей частной жизни коронованные особы живут так же просто, как мы с вами. Так же борются с бытовыми

неурядицами, даже порой бранятся между собой по пустякам, как и мы, грешные.

Это на официальных приемах в разных там ОБСЕ или МВФ они – одно, а в домашней обстановке – совсем другое. Простые и обыденные.

Ну, вот сидят они, скажем, в Грановитой палате, в выходной. В самом, что называется, тесном кругу. Почти семейном.

Над Москвой серенький дождик. В Грановитой палате еще с шестнадцатого века нетоплено. Лишь в уголке, у обогревателя, кипит самовар, сидят высшие поименованные лица, пьют чай с блюдечек. Все они – мужики, но смахивают почему-то на мадам: что-то у них женское в фигурах что ли? Или от чрезмерного возраста? Или от возраста чрезмерно младого? А может, это потому, что женское начало России ближе? Есть что-то у старика Бердяева в этой мысли! А коли наши коронованные особы – дамы, то и одеты они соответственно, – в капоты, шерстяные носки, боты. И обращаются друг к дружке соответственно, тем более, что родственники. Хоть и дальние.

– Налей, Ульяновна, еще чайку!, – говорит один, что поважнее, вытирая красное лицо полотенцем.

– Тебе, Никитична, покрепче?

Молчание.

– Да прекрати ты, Никитична, пыхтеть! Чисто паровоз, чессно слово!

– Вот лаяться-то ты здорова, Ульяновна! Быстро адаптировалась в коридорах власти! Я бы даже сказал, заматерела!

– Ты меня, Никитична, раньше не знавала! Я ж уже забыла, когда и материлась-то. Ты меня с кем-то спутала: то ли с генералом, то ли с птицей...

– Кстати, о птицах: ты, Ульяновна, про паровоз что-то баила? Мы тут калякали, что у нас нефти нет, мазуту мало, газ весь за кордон вышел, а что если на паровозную тягу перейти?

– Где ты, Никитична, угольку возьмешь? Из-за твоих выкрутасов почти все шахты бастуют!

– Ну, выкрутасы-то, положим, твои – тебе поручено зарплату для них у банкиров отбивать, а вот с паровозами – так их дровами топить можно. Дров наломали – на сто лет хватит!

– В указ, что ли, записать?

– Отдыхай. Придет время – укажем, а щас мы чай пьем да сумерничаем. Кстати, чай какой-то горький... Или сахарку тебе для свово прямого начальства жалко?

– Дак сахарку и нет как раз! Последний вагон подарили детям Чернобыля, чтоб им жисть слаще казалась. Вот, рекомендую – сластилин! Склянка – полтора рубля. И тебе полезно, а то располнела – чисто на сносях! Еще родишь!

– И рожу. Идею. Введем это сластилин вместо сахара! Для детишек и пенсионеров – по льготной цене – рупь двадцать! Остальным – с налогом на прибавленную стоимость японской йены. Не одни в миру обретаемся.

– Известно, Никитична, не одни – речку перейтить, так там Индия. Бомбу атомную надысь взорвала. Не захочешь – вздрогнешь...

– А мы ее, речку, не будем переходить. Пущай друг дружку пострашают, не все нам среду будоражить. А мы лучше будем сластилин из опилок гнать! Кто его выпускает? Может, ему подмогнуть дотацией?

– Известно кто – заграница. Татфармхим, татары, другими словами.

– Ты, Ульяновна, потише, еще услышит кто. Сама знаешь, у нас этот вопрос с национальностями во где торчит. Имею в виду – в семье.

– А я что? Я – ничего. Татары – хорошие люди. Ты бы им, Никитична, Крым, что ли, отдала.

– Ага! А потом мне запорожцы башку открутят?! Вон, опять письмо прислали – как бы детишки не увидели, такое письмишко...

– А ты деловые бумаги от детишек подальше держи, Никитична!

– Дети – в старости поддержка! Своих вырастишь – поймешь, если вырастут. Главное дело – вовремя их из Оксфордов взять да к делу поставить. И чего они все норовят за границу учиться ехать? Медом там намазано? Я сколько ни езжу – тьфу, одна срамота. И кормежка там – не чета нашей. Сплошная химия.

– На химию-то не больно плюй нынче! Она, глядишь, скоро искусственных коров да овец будет гнать. Все проблемы и решатся, можно будет полностью заняться биржей.

– Долго ль ждать-то, Ульяновна? Хорошо б к выборам накормить народ!

– Сама знаю. Не боись, накормим. Тут выгодная сделка намечается: в Швейцарии закупить куриный помет, расплатиться алмазами!

– Не жирно будет?

– Нет, в самый раз: помет такой, что хоть на хлеб мажь, хоть бульон вари! Вот только алмазы временно кто-то умыкнул. Ничего, реквизируем и в швейцарский банк! Кстати, они где-то там рядом и обретаются.

– То-то я смотрю, наш скандалист намедни разоряется: «Расею грабят! Ресурс разворовывают!» Вона откуда ветер дует! Что украли – нехорошо, а вот кричать так – совсем никуда не годится! Не в бане!

– Да пусть его покричит, у него все одно электорат глух как пни!

– Ась? Что ты сказала-то?

– Да народ, говорю, наш к добру глух!

– Этто точно! Глас народа – глас Божий. Хорошо пошутил тут один... На освящении консалтинговой компании, кажись.

– Чего это ты в Бога ударилась, Никитична? Намедни, гляжу, с архиереем каким-то обнималась на телеэкране? Негоже с твоим-то прошлым! Религия как-никак опиум народа!

– Ладно, на ночь глядя не будем про опиум. А народу ты при случае привет от меня передай. Я уж и запамятовала, как он выглядит, твой народ.

– Это с каких же пор народ-то моим стал? Я без году неделя его от столба отличать научилась!

– Интересное кино! А чей же он, народ? Я его по телевизору раз в неделю вижу, в передаче «Поле чудес»! И обращаюсь к нему исключительно по телевизору! «Чей народ»! Это ж надо такое сказать! Называется, народный избранник!

– Ну уж нет! Я как раз чей угодно избранник, только не «народный»! Ты на меня давай свой народ не переваливай!

– Как раз теперь это – твой народ!

– Нет, твой!

– А вот – твой!

– Нет, твой!

– Твой!

– Твой!!!

– Твой! Твой! Твой!

– Ах, мой? Так вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!

Дамы схватились, пошла шлепка, мы скромно удалимся, лишний раз убедившись, что наши коронованные особы ничем от нас с вами не отличаются.

И просты, и открыты, и непосредственны в выражении своих человеческих чувств... Ну, слабы порой, ну, вздорны, так ведь не надо забывать – женщины, бабы...

КНИЖНЫЙ РЫНОК

Конец 40-х

Что у вас сегодня? Ленин? Спасибо. Сталин? Большое спасибо. «Киров с нами»? А он разве с нами? Молчу, молчу! А еще кто с нами? «Петр Первый»? Толстой? Лев? Ах, Алексей, ну как же «Хождение по мукам» – ходили! Достаточно. Еще кто с нами ходит? Горький? Мерси. «Девушку и смерть» умирать буду – наизусть прочту! Кто еще? Леонов, Федин, Лидин, Славин, Катаев и Ожешко?! А кто это – Ожешко? Ах, польская писательница! А зачем она у вас? Большой тираж? Очень приятно! Из стихов что? Маяковский, Исаковский, Ошанин и басни Михалкова? А для детей что? «Дядя Степа»? Нет, я милицию не люблю. «Пугешествие Нильса с дикими гусями есть»? Нет? А что есть кроме Степы? «Чук и Гек»? Тогда дайте «Мойдодыр»! Вот, пять копеек! Поклон низкий...

Конец 50-х

Что у вас сегодня? Ленин? Спасибо. Сталин уже не с нами? Молчу. А Киров? Хорошо, молчу. За Хрущева спасибо, а «Петр Первый» рядом – это подарочное? А Льва что? «Избранное»? А кто выбирал? Я «Смерть Ивана Ильича» хочу! Да молчу я, честное слово, но он же умер! Кто еще? «Песня о буревестнике»? Это автобиография? Ах, про ужей, спасибо... Кто еще? Леонов, Федин, Славин, Лидин, Катаев и Ожешко? Хорошо, не надо. Эренбург и Чуковский? «Мойдодыр» у меня уже есть. Из стихов что сегодня? «Жди меня», «Зоя», «Василий Теркин», басни Михалкова и Ошанин? Можно, я без Ошанина проживу, как жил? Спасибо. А для детей что? «Чук и Гек»? А «Путешествие Нильса с дикими гусями» есть? Нет? Тогда дайте еще один «Мойдодыр», мой до дыр истрепался у дочки!

Конец 60-х

Что у вас сегодня? Ленина уже нет? Ах, понятно, а Сталина? Тоже в мавзолее? Ну, не знаю, не знаю... Вы про Хрущева не слышали? Странно. Брежнев с нами, а Киров – с ними? Извините, запутался. Эти толстые книжки – оба Толстые? И оба – подарочные? А кто еще с нами? Горький, Шолохов, Леонов, Федин, Лидин, Славин, Эренбург, Чуковский... Ах, Чаковский! Ослышался... Дальше! Алексеев, Ананьев, Бондарев, Иванов, Трифонов. Это эстрада? Извините. Я так. Сартаков, снова Ананьев, ах, Ананьин? Есть разница? Эренбург, Чаковский... Ах, Чуковский! Оба налицо? Чудо! Молодые? Нет? Ах, поздно хватился! Да я знаю, что делать – старость незаметно подходит ...А где же Ожешко? Вместо нее Грекова? Хватают? А я подожду. Из стихов что, кроме Ошанина? «Суд памяти»? Не надо! Я уголовщину не люблю. Басни Михалкова тоже не нужны. А вот эта гора – все тоже стихи? Разве может быть столько поэтов? Я понимаю, что Россия – родина таланта, но не столько же! А

Пастернак есть? Да я совсем тихо! Молчу. А Ахматова? И про нее потише? Молчу. А Гумилев? Нет, не было, не будет? Ясненько. А Мандельштам? А вы — на ушко... Ясно. Поживем — увидим. А для детей что? «Чук и Гек»? Спасибо. А «Путешествие Нильса с дикими гусями» есть? Нет. Спасибо. Тогда заверните «Мойдодыра», моя младшенькая до дыр затрепала.... Что? Пять рублей? Разверните. Поклон низкий...

Конец 70-х

Ну-с, что у нас? Без вождей оно как-то спокойней, хотя про Кирова я бы почитал, как вышло, что его нет с нами. Обещают? А кто? Брежнев вместе с злоупотреблениями? Подождем. Что с классикой? Все подарочные? Оба Толстых с Шолоховым и Горьким? В наборе? А с кем? С «Муму»? Трогательно! Но цена! Далее? Славин, Словин, Леонов... Другой Леонов? Милиционеры? А «Дяди Степы» мало? Вам виднее. Им — тоже. Ну да, я и говорю — жуликам. Катаев совсем новый? А как же это Катаев может быть совсем новым? Да, мы люди темные. Молчу. Иванов, Ананьев, Астафьев, Залыгин, Сартаков, Бондарев, Айтматов, Чаковский, Чуковский, Михалков, опять Иванов, Ананьев, Ананьин, еще Бондарев — и все классики? А бывает так много классиков? Еще как бывает? Вообще-то, конечно, если класс один, то... Молчу. Стихи? Вся гора? На вес не продаете? Понятно. Ахматова, Пастернак, Гумилев — и все за углом? А, понимаю — из-под полы. Но там и цены... Для детей что? «Дядя Степа»? Да вы сдурели! Сколько ж можно. Ах, Чебурашка! Да это ж кино, а не книга?! Опять молчу. Ах, майка! Не надо — еще заикаться внучка будет! Чего про Ожешко не спрашиваю? Память, знаете... «Мойдодыра» заверните на всякий случай... Тоже подарочный? Ну, до лучших времен...

Конец 80-х

Ну, что теперь у нас? «Смерть Сталина»? «Как отравили Ленина»? А его отравили? Не знал. Спасибо. Каменев, Зиновьев и Рыков с Бухариным — всех убили? Как Кирова? Кто, Берия? Ах, и Берию? И вот эти книги про как раз это? А эти? Про убийство последних Романовых? Ужас какой! Кто автор? А он что, современник? Или поблизости был? Ах, не он был, а родственники, понятно... Жуть берет, извините, валидол приму ...Что с Толстыми? В библиотеке? Хорошее дело. А Леонов как? Все десять томов — Леонов? Постойте, а разве он писал «Мент поганый»? У него по-моему проще — «Вор». Другой Леонов! Ясно. Пронин? Это майор? Ах, подполковник. И не Пронин, а другой? Извините. А как там Славин, Лидии, Федин и компания? Другая компания? Интересно! Токарева, Маринина, Нарбикова, Толстая... Дочка? Ах, даже не родня? Понятно, псевдоним хороший... Это неважно, что настоящая фамилия! Еще кто в компании? Войнович, Аксенов, Рыбаков... Это про «Кортик» вы мне? Ах, «Тяжелый песок»! А он что, золотой? Да, отстал, конечно. Эти все «Анжелика»? А Ожешко нет? Кто такая? Неважно. Это все — Кинг? Мистика? А что такое «триллер»? Неприличное что-нибудь? Ах, неприличное — это вот этот ряд! Чудненько! А рядом — отцы церкви? Ах, другой продавец, соседствуете, уже хорошо. И Гумилев? И Ахматова? И Пастернак? И даже Северянин? И эти все!? И эти — запрещенные? Вот жалость, теперь уже не успею, жаль, что раньше не было... Да и цены с моей пенсией неподъемные...

«Путешествие Нильса с дикими гусями» есть? Для детишек? Есть? Подарочное? Какая жалость! Мне бы попроще. «Дядя Степа» есть и подарочное, и попроще? Тогда «Мойдодыра» заверните ...Эротический? Нет, эротического не надо... Поклон низкий. ...Интересно-то как жить стало – все есть! Или вернуться? Все-таки любопытно про что этот самый эротический «Мойдодыр»?!

ТРАВА, ПРИМЯТАЯ САПОГАМИ

В горах я не в первый раз. Когда-то, в далекие «мирные» дни вез меня в горы местный паренек, безбожно ругая здешние камни. Машину трясло, парень ругался, а по его глазам я понимал, что он не отдаст горсти здешней земли за все золото мира. Землю эту в горы таскали корзинами его предки, чтобы на камнях вырастить урожай кукурузы. Здешняя земля полита потом и кровью этих людей.

Паренек, который окликает меня с брони военного автомобиля, возможно, внук того парня, моего водителя из прошлого.

– Эй! Садись сюда! Зачем ногами идешь?

Я вскарабкался на броню.

– А куда идет бронетранспортер?

– Какой же это бронетранспортер? – искренне изумляется парнишка. – Это – боевая машина пехоты! Не видишь – пушка?

Я вижу пушку, но не сознаю своей ошибки. Броневик взревывает, обдавая нас облаком синего вонючего дыма, и я чуть не лечу на землю.

– Привяжись! Вот за эту скобу, а то тут камни – вмиг стрясет! — мальчишка улыбается. – После обстрела еле расчистили!

– А кто стрелял?

– Шайтан их разберет! Садили из трехдюймовки. Раньше на площади такая стояла. У военного музея.

Где-то выше раскатывается басовитая канонада.

– Это она? Трехдюймовка?

– Ну, ты и чудак! Какая же это трехдюймовка? Это САУ бьет. Не можешь самоходку от полевой пушки отличить!

– А ты-то откуда все знаешь?

– Поживи с моё, не то еще узнаешь!

– Сколько ж тебе? Поди, восемь?

– А девять не хочешь? С половиной!

– Да, возраст. Старость, как говорится, не радость. Жениться пора.

– Какой же осел заводит семью в такое время? Комик ты!

– На том стоим... – я смущенно замолкаю. На поясе у парня висит здоровенный кинжал. – Это у тебя что? Часом не кинжал? – спрашиваю я.

– Да уж не палка! С убитого снял. Какой мужчина без оружия?

– Откуда ж убитый?

– Ты что, с луны свалился? Да тут этого добра навалом! Даром, что война вроде кончилась! Попадаются и военные, и гражданские. Есть и милиционеры. Ты сам-то откуда? Чей?

– В гости я...

– Нашел время! А родители твои кто? Чей ты? Кто тебя родил?

– Вопросик... Русский я. На три четверти. А на четверть – дагестанец.

– Вах! Выходит, ты – четвертушка?! Смотри, как бы тебе тут руку или

ногу не оторвало. Как раз четверть тебя будет похоронено в родной земле.

– Спасибо. А без этого нельзя?

– Как повезет. Ты без оружия?

– Как видишь...

– Что, денег нет купить?

– И денег нет, и без надобнооти оно мне...

– Э! Чудак! Все русские – чудаки. Но ты ведь еще и горец чуть-чуть! Как же может горец быть без оружия? Да еще сейчас? Держи! – паренек бросает мне гранату. Я с трудом ловлю ее.

– Противопехотная, – уточняет паренек. – Выдергиваешь чеку – и через пять секунд взрыв. На первое время перебьешься. Потом добудешь сам.

– Спасибо, – говорю я и прячу гранату в карман. – Ты книжки-то хоть читаешь? – спрашиваю я после паузы.

– А то! Когда школа работала, учили наизусть: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам...».

– Хорошие стихи, правда? – говорю.

– Барахло, – говорит парень. – Русские придут, опять убивать начнут. Разве не так?

– Откуда ты взял?

– А! Матери снарядом ногу оторвало. Отец – в горах, жив-нет, не знаю. Братишка младший в больнице умер – свет во время операции отключили.

– Так это, слава Богу, ушло, не вернется! – вырвалось у меня.

– Люди ушли – обиды остались, – серьезно сказал мальчишка. – И мертвые остались.

Я хотел ответить, что не все русские виноваты, но тут загремело в горах, и по броне зачирикали пули. Я прижался к броне и замер.

– Трус! – захохотал парнишка. – Они ж на излете! С горы бьют. Из «дегтярева». Другое дело, если б ракетой шарахнули – подожгли бы... У них в горах еще и «стингеры» остались. А у милиции только ваши ПТУРСы. Хотя, конечно, «Град» – штука серьезная.

Я промолчал. Мы проехали развороченную железную дорогу.

– Эх, мне бы железную дорогу... Немецкую. Электрическую. У нас до войны продавались в универмаге... Дорогая, черт!

– Дашь адрес, может, я тебе пришлю. Прямо из Германии!

– Кончай трепаться! – парнишка улыбнулся первый раз. – Мне бы хоть шенка! Знаешь, сенбернара! Они выучены людей в горах находить. Я назову его «Абрек»! Хорошее имя.

– «Дружок» – лучше, – вздохнул я и отвернулся.

На склоне, усыпанном камнями, шелестела трава. Шелестела о простом и вечном...

ПОЭМА О ГОЛОДНЫХ ЛЮДЯХ

Сейчас я жалею с далеким и незабвенным Аркадием Аверченко все о том же: почему мама не отдала меня в композиторы.

То, о чем хочу рассказать, лучше бы излить в звуках, сесть за рояль, запустить с треском руки в клавиатуру и...

Но увы, мои сюиты пишутся на плоском листе бумаги, печатными буквами, а не нотными знаками.

Вот моя симфония, слабая и бледная в слове...

Грустный и мокрый город. Вечер. Заперты присутственные места и конторы, банки и предприятия. Светятся в ночной мгле две-три вывески светящимися иностранными буквами, да два-три ларька мерцают иностранными этикетками. Спешит одинокий прохожий, отворотясь от злого ветра, спешит неизвестно куда — не верится, что у человека есть где-то что-то, что когда-то называлось словом «дом». Ан, есть! И вот он. Светятся окошки. Таится в квартирах жизнь. Зайдем же в одну, тем более, что из-за двери этой квартиры пахнет чем-то соблазнительным...

Кухня. В кухне сидят муж и жена. На плите чадит сковородка. Чутко спит кот с запавшими боками. Детская рука в недрах квартиры одним пальцем подбирает на разбитом рояле мелодию позывных прогноза погоды.

Муж, не выдержав нарастающего запаха от сковородки, спрашивает:

— Послушай, роднуля, что у тебя там жарится?

— Рыбка! — отвечает жена и сразу оборачивается к плите, переворачивает скворчащие куски. — Вкусно пахнет?

— Не то слово! — вздыхает муж. — Чего-то я давно рыбки не ел! Как хоть называется?

— Не помню, — жена прибавляет огонь под сковородкой. — С простыми названиями рыбка по неподъемной цене идет, а эта — мороженая, океанская, вполне по карману, да вот название чудное — похоже на название опухоли...

— Ишь ты! — оживляется муж. — А на чем ты ее жаришь?

— Разорилась на подсолнечное масло! Настоящее, у бабульки пузырек взяла на остановке!

Муж вздыхает. В дверь стучат. Жена идет открывать и возвращается с соседкой, ее мужем и их дочерью. Хозяин мрачнеет.

— Ой, чем это у вас так вкусно пахнет? — щебечет соседка. — Мы у себя услыхали, так прям не выдержали!

— Рыбка! Рыбку жарю на постном масле! — счастливо отвечает хозяйка.

— Так мы посидим? — говорит соседка, и все садятся. — Это в нашем гастрономе давали? Я тоже бегала, да кончилась дешевая, осталась красная — только посмотреть!

Рыба жарится. Все сидят. Детская ручонка нащупывает ускользающую мелодию. В дверь стучат. На пороге — соседи с четвертого этажа и цирковой атлет-инвалид с первого этажа.

— Ой, чем это пахнет так вкусно у вас? Мы прям сидим у себя и слюнки глотаем! — гости рассаживаются, кто где. Атлет садится на пол.

— Мне вчера приснился рыбий жир, — говорит пожилой мужчина, — так я проснулся в слезах — детство вспомнил. Ох, и не мог я его терпеть, дурак!

— А мой вчера с рыбалки принес окуня! Мы всей семьей нюхали — страсть как пахнет! Наш Прошка съел, кот, — говорит соседка.

Рыба жарится, румянится, распространяет запах подсолнечника и аромат океанских глубин. Приходят еще соседи. Рассаживаюяся на принесенных стульях. К роялю присоединилась гитара — чей-то отпрыск взялся помогать дочке хозяев. Дверь на лестничную площадку не закрывается: кто-то стоит в дверях, кто-то сел на лестнице, покурить, понюхать. Запах заполняет этажи.

— Треска вот тоже пахнет обалденно! — говорит кто-то.

— Ну уж со свежей-то не сравнить! Караси в сметане — упадешь!

— Осетрину если запечь... В духовом шкафу под майонезом и сыром!

— Осетрина — вон она лежит, только не подойти! Кусается! — народ по-доброму смеется.

Гитара и фортепьяно согласно заиграли сопровождение к прогнозу погоды, на лестнице им отозвалась скрипка местного вундеркинда, наверху присоединился профессиональный гобой на пенсии.

Первым не выдержал атлет. Он грохнул кулаком по столу так, что проснулась радиоточка на стене и затараторила что-то голосом одного из Первых лиц.

– Что же это мы? – спросил атлет, обводя всех взглядом. – Что ж мы это терпим-то, а? А вот если собраться, да пойти, да отхватить кому ни на то! Да зажарить!

– А то?!

Глаза у народа загорелись, похудевшие кулаки сжались, шеи напряглись.

– ...«в счет реализации излишков золота будет куплено рыбной муки сто тысяч тонн и лекарственных препаратов...», – внятно проговорила радиоточка.

– Вот! – урезонили атлета. – А ты – «отрезать», «зажарить»!

– «...причитающаяся заработная плата будет выплачена частично или полностью начиная с...» – точка как-то захлебнулась и замолкла.

Рыба поспела. Атлет потупился. Музыка – квартет – тоже пошла на коду. Народ стал расходиться. Вскоре в кухне остались только муж, жена, дочурка и сын-подросток. Жена разложила рыбу на четыре тарелки.

Муж поглядел на сглотнувшего слюну сына и встал.

– Я, пожалуй, не буду, – сказал он. – К рыбе нужен соус таратар, пикули или каперсы на худой конец... А так – неинтересно, пойду лучше телек посмотрю, – он пододвинул тарелку к детям и вышел. По телевизору передавали «Поле чудес». Нужно было угадать слово из десяти букв. Первая – «П», последняя – «А», все вместе – название океанической рыбы. Какая-то девица никак не могла угадать, грызла длинный красный ноготь. Красовался и приз: стиральная машина «Шарп».

– Дура, – сказал хозяин квартиры. – Простого слова не может угадать. «ПРОСТИПОМА».

Девица не угадала, но ей все равно достался утешительный приз: рыбожарка «Браун».

Хозяин квартиры сердито смотрел на экран: «Дура. ..Прости-пома... Прости и помилуй ...Вот дура!»

«Прости и помилуй их, Господи!» – скажем и мы в заключение.

ЛУНА – ПАРК

I. « Колесо смеха» или «Чертово колесо»

Думалось, забылся этот аттракцион, вытесненный новомодными импортными «американскими горами» и «мертвыми петлями» на грохочущих японских эстакадах. Ан, нет! Уцелел! Предприимчивые люди обустроили этот аттракцион, как он когда-то и смешил людей в парках, «культуры и отдыха» называвшихся. Устройство – проще некуда! Горизонтальный гладкий круг, чуть поднимающийся к середине, чтоб соскальзывать было удобнее, когда круг завертится. А он и должен вертеться, причем с нарастающей скоростью! Зайди, народ, закрепись – круг завертится, попробуй удержаться! И хохоту, бывало! И радости! А, казалось бы, немудреная вещь. Круг вертится – люди с него слетают, как из катапульты пущенные, ударяются в мягкий плюшевый

барьер-загородку. Самые упорные забирались на середку и, распластавшись пупком на центр, изо всех сил крепились не улететь – ан – вжик! Нелегкое это дело удержаться, когда раскрутится машина, разлетится круг, похожий то ли на арену, то ли на античную театральную сцену...

Вот и опять – крутится круг, летят неудачники, шмякаются о плюшевый обод: шмяк! шмяк! шмяк! Хохочет народ, держатся упрямцы посередине, пока и их не снесет безумная сила, тянутся к выходу обессилевшие – наигрались, насмеялись, аж живот болит! Присмотримся ...Чего-то это нам сильно напоминает. Прищуримся...

Ба! Кажется, знакомые все лица! Это, конечно, если память не отшибло от колеса ли, от жизни ли, от старости... А были ли они, эти лица и эти фамилии? Не чудится ли?! Кто же это карабкается на колесо, пока стоит оно спокойно, и механик не запустил его? Гришин, Чурбанов, Тяжельников, «сам» в тяжелых бровях, Устинов, Цвигун... Завертелось колесо, уцепились, голубчики! Быстрее, быстрее, быстрее! – Хохот стоит вокруг – любо-дорого! Громче всех смеется один, моложавый, чуть меченый... Рядом хмурится серьезный, в очках в тонкой оправе, рослый. А эти – летят! Кубарем один за другим! Шмяк! Шмяк! Шмяк! Полетели! Бровастый вцепился – не отодрать, да он, кажись, тут еще со вчерашнего дня вертится! Народ меж собой на спор идет: сколько еще продержится? Бух, бух, бух! Чисто! Вот еще один выскочил аж через барьер – Щербицкий? Ох, память! Вдруг – храп! И хохот! Заснул последний, и его снесло молнией! А новые бегут свободные места занять, пока колесо стоит. Вот серьезный в очках рискнул. Пошел. За ним – гурьба! Ну, моложавый-меченый, за ним Рыжков, Зайков, Слюньков, Лигачев да сам-брат Медведев! Завертелось колесо – хохочет народ! Летят в стороны незадачливые! Кубарем полетели всей бригадой – Слюньков – Зайков – Рыжков – Лигачев! Держится серьезный, вот-вот сползет меченый... Хлоп! Что такое? Остановили колесо! Поломка? Нет. Кому-то плохо стало. Увели с колеса, моложавый один остался, а к нему уже новые сбегаются! Один особенно хорош: руки – лопаты, спина – плита, грудь – мех кузнечный! Видать, сибиряк. Исполать тебе, детинушка! К нему тут же бригада присоседилась: Павлов – Янаев, Крючков – Язов! С ними лицо кавказской национальности и один хват с усами – чисто казак! Завертелось колесо – и посыпались все! – Хохочет народ! Только те – упрямей механика-аттракционщика! На бегущее колесо бегом запрыгивают! Дернули за ноги богатыря-детину ненароком, тот не упал, сам пешком ушел – вот силища! Решил обождать, когда слабых сошвырнет! Рисковый. Колесо шибче и шибче! Шмяк-шмяк-шмяк! Вот вам и Янаев-Язов да Крючков с Павловым и Воротниковым! Свист стоит от колеса, хохот от зрителей – а меченый держится да посмеивается. Удержался. Имеет право на второй сеанс! К нему и кавказец лепится, и усатый, и детина-богатырь влез. Да молодых целый выводок: Гайдар, Шохин, Починок, – всех не упомнишь! Завертелось колесо – посыпались и стар и млад! Кто уж слишком зацепился за штаны богатырские – того детина подтолкнул по-отечески! Шмяк-шмяк-шмяк! Вот и один богатырь остался. Меченый очки потерял, ищет. Молодежь шушукается – лезть или обождать? Передохнуть чуток. А механик не ждет – колесо вертится! Все слилось в сплошной вихрь – летят вверх тормашками и новые, и старые: просвистел Варенников, бухнулся Гайдар, летит пулей Руцкой за барьер. Богатырь-детина приглашает на испытание следующих. Один подсел солидный, другой – рыжий, третий – парубок, яблоко грызет. Вертится опять колесо – свистят и шмякаются об барьер незадачливые в который раз!

Завелся, видать, механик, или испортилось что, только вертится колесо пуще прежнего! Шахрай, Шохин, Громов, Лебедь, Явлинский, Строев, Зюганов, Рыбкин – всех раскидало, кто и не залез толком, а так, примеривался – шибает зрителей вылетевшими игроками, как камнями из пращи. Но народ крепкий, почешутся, посмеются, отходят в сторону, ждут удобного случая. Детина-богатырь один остался – вертеть бесполезно – не шелохнется. С ним спина к спине тоже бровастый, кажись, Черномырдин, да пошевелил спиной центровой – и нет Черномырдина! Остановилось колесо. Набилось на него народу-желающих, не пошла наука впрок, все лезут! Родионов, Коржаков, Куликов, остальных, ей-Бо, не знаю, сплошняком идут, под локоть сцепившись, и слетевшие по-новой лезут! Засвистело колесо, посыпался горох! Лень пересчитывать да в лица заглядывать! Один вот примелькался, чересчур серьезный – не захочешь – запомнишь! Примаков фамилия. И вот чудеса – одна даже женщина, хи-хи, да ха-ха! Культурная, аккуратно сидит. Стало колесо, заело – перегрузка. Просят лишних удалится. Никто лишним себя считать не хочет, а мотор перегревается, искры сыплются, обмотки горят. Какая-то перебранка: Шейнис с Ястржембским чего-то не поделили с Костиковым, потом кто-то сказал: «Писателям обождать»,– и часть народу схлынула – неужели столько писателей любят на чертовом колесе прокатиться?! Детина-центр смеется по-доброму, зовет молодых рискнуть, идут молодые: один приятный, с чубом, Немцов называется, с собой совсем мальчишку привел – неужели удержатся? Генерал Лебедь не хочет отставать, но безопасные места заняты, примостился с краю, запускают машину, а у нас сил нет смотреть, потому что жалко нам горе-отдыхающих, все слетят, так колесо устроено, потому и называется «чертово», или еще лучше, – «колесо смеха»!

На улице свежо, тополя шумят, зашли в будку к аттракционщику.

– Скажи, мастер, долго ли колесу вертеться?

– До следующего тысячелетия хватит! – смеется мастер-умелец, ухитрившийся на старинном еще, латаном-перелатаном колесе устроить игру-веселье. – Уплачено вперед за всех желающих!

– Да кто ж уплатил-то?

– Известно кто! У кого денег не мерено! Кумпания!

– И кому все это нужно? Кому нравится?

– А кто играет-веселится, кто катается, тому и нравится! Тем более, что уплачено.

– Так ведь от колеса головы-то кругом пойдут! Как жить, как с делами управляться?

– А это уже не моя заботушка! Я в такие игры не играю и вам, ребятушки, не советую!

– Выходит дело – без конца игра?

– Не-а. По секрету скажу – скоро сгорит мотор. Кончится веселье.

– И?

– Новый запустят. Компьютерный. Во-он монтируют. Там все по проводу, да с телевидением – «Виртуальный дракон» называется.

– Что за зверь?

– Серой дышит, огнем плюется, живых людей ест! И все не взаправду Понарошку все.

– Взаправду-то что?

– Взаправду, братушки, нынче только умереть получается!

ПУСТИ, МЕХАНИК, КИНО НАОБОРОТ!

Дошли, можно сказать, до точки. Шли, шли и дошли. И ведь все вперед шли! А кто сказал, что надо идти все вперед и вперед? Кто сказал, что прогресс – благо? Сидели бы себе на дереве – рви и жуй. Или в пещере – жарь и грызи. Или в лесу – беги и бей! Воздух, чистая вода, птеродактиль-табака. Мамонт на вертеле. Нет, какой-то «реформатор» нашелся! Привязал камень к палке. И пошло: рабы, фараоны, феодализм, разделение труда, паровая машина, капитализм, призрак коммунизма, войны, революции – социализм простой и социализм с человеческим лицом. И... «так жить нельзя»!

А что, если проскочили момент, когда надо было остановиться? Пещера – это, конечно, крайность. А если слегка назад!? А ну, механик, пусти кино наоборот!

Так. Исчезли надписи «Кока-кола» и «Макдональдс». «Сименс» и «Тошиба». Заодно и вывески банков исчезли. Стекла витрин замутились, а сами витрины опустели. Банкиры разбрелись по заграницам и тюрьмам. Рэкетиры убежали в большой спорт и горячие точки. Кое-кто «вошел» в Афганистан. Вышел оттуда. Причем вышло больше, чем вошло... Может, тут тормознуть? Нет, водка еще дорогая.

А! Вот и родное лицо из-под бровей. Запахло коррупцией, анашой, болотом и гнилью – стагнация! Плохо пахнет. Крути, механик, дальше!

Ба! Родная лысина. Улыбка. Кукуруза. Водка подешевела. Карибский кризис. Воскресший Кеннеди говорит по телефону. Кастро улыбается, кризис миновал, хотя ракеты привезли. Поет молодой Окуджава. Ракеты увезли. Молодой Вознесенский читает хорошие стихи задом наперед. Молодой Евтушенко читает – стихи Ахмадулиной. Солженицын «дома», в селе Вознесение. Может, здесь остановить? Ой-ей-ей! Перерывают вещи Солженицына, физика сажают в психушку, правозащитника меняют на шпиона, как Юлиана Семенова на «Детскую Библию». Дальше! Крути, механик!

Родное рябое лицо. Усы. Встает из гроба. Люди вытирают слезы. Улыбаются. Парад физкультурников. Денежная реформа шиворот-навыворот. Красная икра, черная икра, пирамиды крабов «Снатка». Водка – дешевле некуда! Белорыбица. Может, тут тормознуть? Колючка, зеки, баланда... Икра – не всем. В пайку она не входит. По деревням белорыбицы не сыщешь. Братская могила, номер на ноге и на груди. Дальше, механик, дальше!

Победа. Цена победы. Отступление одних и наступление других. Июль сорок первого. Молчим. Встаем. Ликованье. Риббентроп в Москве. Молотов. Рукопожатие. Все снова с песней: «Через месяц и не больше кончится война!»

Кончилась – никакой финской войны! Никакого раздела Польши. С Новым, тридцать седьмым годом! Пенятся бокалы. Обращение к народу. Какие низкие цены! В том числе на водку! Какие румяные писатели! Композиторы, художники! Аплодируют Жданову. Но не все. Чепуха – народные все тут! Может, тут и тормознуть? Батюшки – кругом шпионы! Вышинский негодует, народ его успокаивает, потом успокаивается сам. Но враг не дремлет! Убит Киров! Ошибка! Он жив! Горький целует ребенка. Засыпают Беломорканал. И все – зеки! Горький от расстройства уезжает на Капри. Возвращаются из лагерей лучшие из лучших. Воскресают невинно убиенные священнослужители! Цвет интеллигенции прибыл из-за кордона! Снова полно икры. Канкан. Воскрес родной Ильич. Фанни Каплан подавилась пулей. Может, тут? Но, чу? Стрельба? Брат на брата? Отец на сына? Сын на отца? Апокалипсис! Дальше!

Ленин уехал за границу. Вооруженные рабочие, солдаты и матросы бегут сломя голову из-под арки Генерального штаба. «Аврора» исчезает с рейда, забрав свой холостой заряд в свое бронированное нутро. Матрос Железняков дает «добро» Учредительному Собранию. Временное правительство просит царя вернуться. Царь! Живой! С женой и детьми! Чудо! Даже шрамов от штыков не видно. Молебен... Манифест ...Может, тут остановиться? Война. Газ. Армия окружена в лесах Галиции. Распутин. Гнилые сапоги. Бракованные винтовки. Англия продала бракованные крейсеры. Забрала. И снова мир. Выстрел в Сараево не считается – ничтожный повод, какой тут к лешему Принцип?! Декаденты. Гиппиус. Гумилев. «На мраморных столах – бокалы ледяные» ...Ахматова в «Привале комедиантов». Тормозим? Русско-японская война проиграна. Ленский расстрел. Гапон. Кровь на снегу. Крути, механик!

Ходынка. «Народная воля». Оторванные ноги императора. Третье отделение. Крестьяне бегут в усадьбы, в объятия помещиков. Рабочие – на фабрики, обниматься с капиталистами! Дикий русский капитализм! Ура! Останавливаемся здесь?! Безработица. Отсутствие социальных гарантий. 14-часовой рабочий день. Гнилое мясо в заводской лавке. Перекупщики скупают землю. Спекуляция землей. Разоренные крестьяне идут на Растеряеву улицу, прямиком в трактир. Дальше!

Царь читает: крепостное право отменено! Ура! Житницы полны хлеба. Вывозим в Данию вологодское масло. В Германию – угличский и костромской сыр. Лыко и деготь. Тормозим! Баден-Баден! Рулетка. Уютные дворянские усадьбы. «Вестник Европы». Тургенев и Толстой. Мнения. Общественные течения и кружки. Тормози же, механик! Что? Голод? Холера? В деревне умерли все. Едят мякину и солому с крыш. А дальше? Ну-ка, чуток!

Крепостное право. Отцы-помещики принимают одумавшихся крестьян. Необременительный оброк. Милосердная барщина. Детишки работают на соляных копях за полкопейки в день. Мелочь! Жив Пушкин! Декабристы вернулись из Сибири, скинули с шеи петли и пошли служить на Кавказ, усмирять немирных чеченцев. Державин ласкает кудрявого мальчика, пишет Оду на Восшествие. Золотой век. Мир. Так, чуть-чуть бунтуют, чуть-чуть усмиряют. Хлеба полно, шахт не видно. Дымят только винокуренные заводы. Лепота. Останавливаемся здесь. Молебен в Кремле. Фрейлины, ленты, звезды, храбрецам дарованы имения. Умелые едут учиться в Голландию. Трудолюбивые ведут сытых коней в борозде. Стоп-кадр?

Что это? Кого-то порют на конюшне? И потом продают за тридцать рублей? Так это ж деньги! Если учесть, что косушка стоит копейку, а четверть – четвертак! Вот как надо жить!

Так что ж? Двигаем назад?

Или вперед к...

Не дает ответа.

УСТРОЙСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО ДОМА

У главного подъезда большого монументального здания, сияющего зеркалом тонированных окон, где-то в голландиях, было большое скопление роскошных автомобилей.

Толстый швейцар то и дело покрикивал на нерасторопных водителей, отвешивал низкие поклоны, встречая важных господ во фраках, смокингах и просто шикарных костюмах. Лакированные шоферы открывали перед ними дверцы лимузинов.

По виду совершенно русская и даже деревенская баба в штопаных джинсах и кедах, в бейсболке, низко надвинутой на загорелый лоб, переложив из одной руки в другую туго набитую трепаную сумку с надписью «Аэрофлот», поклонилась швейцару, протиснувшись поближе к подъезду.

– Чего тебе? Тут не велено! Конхференция!

– А ты мне тишком скажи, что за господа такие?

– А ты сама кто будешь? Откедова?

– Россия я... Россиюшкой зовусь. Мне бы тут, за колонкой постоять. Посмотреть, какие-такие бывают конхверренции? Может, кто и на меня обратит какое-никакое внимание?

Швейцар подумал, и, хоть был иностранец, прочел целую строку из Некрасова: «Наш не любит оборванной черни...»

– А, впрочем, стой, чего мне?

По лестнице входили разные: и толстые, и тонкие, и ощипанные, и дородные во фраках и визитках, и военные, увешанные орденами, и просто банкиры по виду в черных костюмах с лакированными штиблетами. Одному, обвешанному орденами с головы до ног, женщина поклонилась особенно низко:

– Вишь ты! – сказала она швейцару, – это, верно, самый главный?

– Какое! – отмахнулся швейцар. – Внимания не стояший! Диктатор. Из последних. Во-от такого государства – с ладонь! – швейцар протянул мозолистую мужицкую руку.

– А какой важный! Теперь вспоминаю: к нам приезжал, просил пороху и спичек, а теперь – ишь ты! И где это он в орденах-то так вывалялся?

– Будто не знаешь? – покосился швейцар. – Ваш-то был – почище обвесился: сами себя и поощряют! Известно – диктаторы!

– Дак когда это и было! – вздохнула баба. – Нынешние акромя булавки с брульянтом ничо и не прикалывают... – И снова на ее лице застыло вековечное выражение тоски и терпеливого ожидания...

Даже зависти не было в этом робком сердце.

– А вон и ваш пошел! – заметил швейцар. – Или не узнала? Чего не кланяешься?

– Я ж сбиваюсь нынче – что ни день – меняются, – баба запоздало закивала. – Против ихних форсу мало...

– Да ты не тому кланяешься! Это охранник!

– Незадача! – сокрушилась баба. – Неуж сам-то вон тот, молодой?

– Успеет еще заматереть, – согнулся пополам швейцар. – Были б средства и сродственники!

Английский дипломат встал из-за заседательского зеленого стола, чтоб размяться, подошел к своему коллеге – французу и спросил его:

– Вы не знаете, что там за неряшливо одетая женщина в вестибюле стоит?

– Не узнали? Россия это.

– Новости! По-моему, Россия на нашем саммите представлена господином. ...Запамятовал, ну да вы знаете, о ком я говорю. Вон он и стоит с советниками!

– Так темная баба, сэр. Не может современный тонкий момент в толк взять. Собрала последние гроши и прикатила.

– Ох, уж эти бедные родственники! Чего ездит? Придет время, и ее проблемы разберем с господином. ...В общем, вы понимаете, о ком я говорю. А так – шокинг получается!

– Компроманс, одно слово, – вздохнул француз.

– Воображаю, что у нее в сумке, – сказал англичанин сквозь зубы.

– Горбушка, видать, луковка, квасок, – сказал француз в нос.

– Говорите, квасок? Никогда не пробовал, – англичанин оживился. – Надо бы с ней поговорить, все-таки нация немаловажная, да и территория равняется, хм, нескольким Франциям...

– Не будем уточнять, – поморщился француз.

Вернулся англичанин минут через пять, оживленный.

– Итак, коллега, на чем мы с вами остановились?

– У вас в кармане, коллега, вилка вместо платка...

– Между прочим, из царского сервиза. «Не будем уточнять» ...

– Любопытно.

– Представляете, месье, чудная какая баба! Говорит, у нее много еще чего есть. Вплоть до **...** – англичанин нагнулся и зашептал французу что-то на ушко. – Да! Да! И все это крайне запущено!

– Да что вы говорите, сэр!

– И еще, – англичанин опять зашептал, – представляете? Редкоземельные!

– С ума сойти, – сказал француз. – Вот вам и бедные родственники! А что же она хочет взамен?

– Еды, разумеется! Хлебушка! Ну и по мелочи – прожиточный минимум.

– Но ведь, мон шер, мы все дела ведем с господином ...вы понимаете, о ком я говорю. Вполне цивилизованный человек, и комиссионные вполне приличные, а эта женщина, мон шер, еще неизвестно, чего она потребует, когда мы ее... поддержим.

– Н-да ...Необразована, вульгарна, этого не отнять ...И профит сомнительный против нынешнего... Что ж, надо поговорить в кулуарах с господином, ну понимаете, чтоб он урезонил ее, усовестил... А вилочку я оставлю – на память – антикварная вещь...

Показывая свою похудевшую сумку, усталая женщина перекрестилась и прошептала швейцару:

– Ну, слава Богу, обещали помочь... А то обирают и обирают! Теперь видно, недолго ждать, – и побрела в своих джинсах к аэропорту.

«Держи карман! – сказал швейцар вслед бабе, – лучше бы оставалась тута – место посудомойки как раз освободилось, я бы тебя через своих рязанских живо пристроил...»

ПОДСЕЛЕНЦЫ
Усадьба и городская квартира

Дом был построен в незапамятные времена в стиле «русский ампир». Нижний этаж – каменный, второй – деревянный, ровно оштукатуренный, покрашенный в желтую краску с белыми колоннами и каретным въездом. С боковыми флигелями служб, каретным сараем необъятной величины дом был посажен чуть в глубь двора, на улицу выставлялся узорной решеткой, высокими решетчатыми воротами.

В доме от века жила семья потомственных военных, дворян хорошей руки. Половину года жила семья в усадьбах, имениях в Тверской, Калужской и даже Псковской землях. В годину военных стражд призывал Государь мужчин рода на действительную службу, в полки. Возвращались раненые, в крестах и звездах. Получали имения.

В детской на втором этаже, в левой части дома раздавался щебет новых

поколений, блестели черные глаза, матросские курточки, белые плоеные воротники, банты и ленты ...Слышалась детская речь на древнегреческом, латыни, французские гнусавые поучения гувернеров, твердый английский выговор наставников. Девочки говорили потомственным конральто и на итальянском.

Вырастая, юноши переходили вниз, тоже в левой половине. Не гасла свеча до первой звезды в высоких итальянских окнах, склонялась чернокудрая голова над томиком в сафьяне на французском, скрипело гусиное перо, сыпался на тяжелый лист песок из золотой песочницы...

Дважды в год подходил к Дому обоз – под Рождество Пресвятой Богородицы осенью и под Святую Пасху весной. Везли из деревень и имений припас: муки, крупы, окорока, птицу, кадки и бочонки с крутыми кочнами, большеголовой антоновкой, соленую и сушеную рыбу, бутыли с наливками, медами, настойками, сахарные головы, осетров, поросят, индюков копченых, бараньи туши, пласты сала, плетенки с яйцами... Складывали в погребах и кладовых запас, укладывали в лари штуки полотна, льняные стопки, суконные скатки, кружево, вышивку, даже полушубки нагольные и катаные валенки, и чесанки укладывались в укладки. Иной раз выгружали медвежью шкуру или голову набивную сохатого для сеней...

Выдержал Дом пожар московский двенадцатого... В детской французская речь раздавалась уже из уст полупьяных картежников-оккупантов, побыли, покрушили, что можно, пожгли на прощанье и ушли. Первый этаж уцелел, уцелела ограда и крыльцо. Вернулись хозяева из деревни. Хозяин воротился с войны, отжили у родственников, за полгода восстановили Дом. И опять зажглась стосвечовая люстра в большой зале, освещая новый драгоценный тисовый паркет и новые звезды на ленте у хозяина. Заблестели глазенки в детской на втором этаже, загнусавил француз-гувернер из застрявших пленных, строго застучал языком дядька-англичанин, забубнили непослушные губы на латыни и древнегреческом. Горела свеча в комнате молодого хозяина на первом этаже до утренней звезды. Также давала Отечеству семья военных, лишь изредка, по недосмотру, выскакивал кто в шинели и цилиндре учиться в Европы, в Геттинген или Марбург, а потом прибавлялось Отечеству печального философа или язвительного и дотошного историка...

Так шло и рухнуло все в один день.

Начисто разорен был Дом. Опустошены кладовые, разбиты камины, сожжены драгоценные паркеты, выбиты итальянские окна, изгажено крыльцо и разнесены в щепу и кареты, и каретный сарай. Долго крутил ручку телефона в разоренном Доме кожаный с головы до ног комиссар, пока не увезли его в чеку, а взамен не вселилось бесчисленное племя совслужащих всех калибров и мастей. Быстро перебили изразцы, разорили мраморную лестницу, настелили скрипучую деревянную, приспособили чердак и подвал под кадры и секретную часть, нагородили клетушек и наставили канцелярских столов и несгораемых ящиков, об которые драли фильдекосовые чулки пишбарышни и кудрявые секретарши. Пошло писать. В детской на втором оказалась приемная сразу трех начпупсов, на продавленном диване драли рот в зевоте посетители из глубинки, безнадежно дожидаясь разрешающей резолюции на организацию в глубинке всеобщего достатка и довольства. Но не шли больше обозы из деревень, не везли снедь и припас, а приходили телеграммы-вопли о голоде, море, разоре, казнях, несправедливостях, сселениях с земли и невыполнении новыми коммуниями ни разверстки, ни налога, ни черт те чего – ничего!

Постепенно жизнь согласилась с ритмом пишущих машин, стуком каблучков секретарш, датами выдачи зарплаты, стуком кулаков начальников, стуком сапог гостей нежданных, ритмом выдачи звонками по правительственной вышестоящих указаний.

Простоял Дом Великую Войну, простоял сорок восьмой и пятьдесят третий. Простоял застой. Переродился Дом от наипоследних событий: выскребли чиновничью шушеру из нутра Дома, вырвали и выбросили перегородки, несгораемые ящики и уродские шкафы. Финская фирма вставила в итальянские окна германские дюралевые переплеты, японские полароидные стекла. Восстановили крыльцо из искусственного итальянского мрамора, поставили и лестницу из пластикового, похожего на порфир материала. Застелили все синтетическим бобриком, люстру же привесили испанскую чудную баккара-стекла, царскую, настоящую. Перед входом приколотили вывеску на иностранном языке, заставили Дом принтерами, мониторами, компьютерами. Пришел в Дом народ, одетый с иглы, в ботинках из крокодиловой кожи, курящий сигары...

В детской опять была приемная-холл, тут снова раздавалась иностранная беглая речь новых подселенцев. Тараторили и по телефонам, связывались с материками через спутники по телефаксам. Дела шли на миллионы долларов со всеми частями света. А в детской шла речь о помощи русским сиротам в русской глубинке, недоразвитым и отсталым детям, изувеченным безотцовщиной обитателям далеких интернатов. Это было незначительным, мелким ответвлением деятельности концерна, его благотворительной частью...

А в комнатах на первом, где горела когда-то свеча до звезды, разместили высококлассный европейский изумрудных цветов туалет...

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ТУРИСТ В РИМЕ

Русский в Европах

Летом 199... года, когда все «это» уже кончилось, — в кафе на открытом воздухе на площади Испании в Риме собралась самая разношерстная публика: были тут и греки, и французы, и немцы, были и чехи, поляки и венгры, были англичане и, разумеется, итальянцы... Были один японец и один американец.

— Вы, кажется, американец? — спросил японец плечистого стриженого мужчину. — Молодцы вы, честное слово! Так всыпали этому Хусейну — любо-дорого!

— Да и вы молодцы, — отозвался американец, — тоже не зевали, материально очень нас поддержали, мы это ценим. Хотя машин могли бы делать и поменьше, но это уже детали.

— Вы, французы, замечательный народ, — говорил немец, попыхивая сигарой. — Здорово в искусстве разбираетесь, да и в женщинах, если честно.

— Зато вы, немцы, пиво пить умеете, как никто! — сказал вежливый француз. — И не побоялись, объединились со своими восточными братьями. Мы бы так побоялись.

— Замечательный вы народ, венгры! — говорил грек венгру. — Настояли на своем чуть ли не первыми в Восточной Европе! Я имею в виду свободу, демократию и конвертируемую валюту.

– Ну, а у вас, греков, были Сократ и Перикл! Уж вы-то свободу хлебаете полной ложкой не одну тысячу лет, – ответил венгр, на что грек закашлял и скорей принялся отхлебывать «Виши».

В другом углу поляк нахваливал чеха за то, что тот драматурга не побоялся выдвинуть в президенты, а тот хвалил поляка за религиозность Валенсы и за Папу Римского...

А сбоку у стола сидел молчаливый человек в мешковатом костюме и, опустив буйную голову, сосредоточенно-печально молчал.

Итальянец на правах хозяина потрепал его за плечо:

– Скажите, синьор, вы, вероятно, турок? По-моему, турки – одна из самых замечательных наций в мире!

– Я не турок, – сказал мрачный человек. – Я заблудился.

– Так кто же вы? – вскричали несколько голосов.

– Русский я!

Как порыв ветра перед грозой заставляет замереть природу и смущает зеркало пруда, так это признание заставило смолкнуть разговоры в кафе и наморщило до того гладкие лица разноплеменных посетителей.

– Русский? Да что вы говорите! Настоящий?

– Дети! Альфред! Джулия! Вы хотели видеть настоящего русского – смотрите скорее! Вон он сидит.

– Бедняга.

– Бедняга-то бедняга, однако бумажник я переложу подальше.

– Скажите, а бомбу он в нас не бросит?

– Может, он голодный, господа, а вы на него вызверились. Как вы думаете, удобно ему предложить денег?

– Немца бы подальше убрать, а то немцы ему в свое время насолили больно.

– Скажите, вы, правда, заблудились, или просто хотите у нас остаться?

– Скажите, а правда, в России сейчас едят кошек?

– А сахар, правда, дают только в обмен на «калашникова»?

– Правда, что в Москве бегают медведи и их ловят казаки?

– Скажите, а ЛДПР, Госкомпечать, НТВ – это, правда, опасные болезни?

– Говорят, у вас есть такое племя – коопираты – так они ловят рабочих и пьют кровь прямо из горла, правда?

– А правда, если у вас на улице запеть «Интернационал», то прохожие начинают ловить большевиков и стричь их наголо?

– Горит! – крикнул вдруг русский , шваркнув полупудовым кулаком по столу.

– Что горит? Где горит?! А мы-то сидим...

– Душа у меня горит! Официант! Вина на всех! «Эх-ма! Как умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя!»

Сгущались темно-синие сумерки.

– Сочувствуете, говорите? А что мне от вашего заграничного сочувствия? Сами-то вы что со мной делали? Хлеб да кормовое зерно слали мне за мои чистой воды алмазы, так что я и сеять, и жать разучился? Кто газ да нефть из моей земли по трубам гонит, чтоб наживались мои утеснители? Кто с ними разговоры ведет да бумаги подписывает? Верит взяточникам да жуликам, вчерашним янычарам моих сатрапов руку жмет и взаймы дает, не заботясь, кому платить долги придется? Пить со мной вы можете, но понять мою душеньку?! Горит, горит внутри, братцы! Закопал я свою молодость, свою радость в землю сырую! «Как умру я, умру я!»

Из кафе уже давно на цыпочках разошлись все, над Вечным городом встала древняя языческая ночь, а в кафе все раздавалась песня и рыдание. К посетителю подошел официант.

– Господин...Тут счет.

– Что? Пожалуйста! Плачу за всех! – русский достал телогрейку с нашитым номером, солдатскую шапку с вырванной звездой, лапти... – Пойдет в уплату за общий праздник?

– Белиссимо! Очень хорошо! Подойдет! – официант забрал свой гонорар, а русский, шатаясь, пошел на улицу, где его уже ждал карабинер.

ОСКОЛКИ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ ПЕНСНЕ

Оба они сходятся в Александровском саду у самой кремлевской стены. Под вечер. Когда закрывается камера хранения для посетителей Кремля, когда истаивает очередь жаждущих попасть в Мавзолей, когда редеют парочки с цветами у Вечного огня. В час, когда зажигаются в домах огни.

Один – высокий, краснолицый, хоть сейчас на трибуну или на коня, второй – маленький, щуплый, с клинышком посеребренных усов под носом.

Они садятся рядом на скамейку, долго молчат и неодобрительно смотрят за горящие в сумерках огни Большого дворца. Начинает всегда большой.

– Заседают, дышло им в горло.

– Дозаседаются, – хихикает маленький.

На обоих – ратиновые пальто с каракулем, каракулевые же пироги. К теплу они переоденутся в габардин и шляпы.

– Сброд, – говорит большой и плюется в платок.

– Шантрапа, – язвит маленький, протирая колодку усов платочком. – Демократы теперь называются...

– Я бы тебе сказал, как они называются...

Молчат. Большой стучит искусственными зубами, маленький свистит мокреньким носиком.

– Читал последние указы? – спрашивает маленький.

– Стану я мараться... – большой опять плюется.

– Напрасно, напрасно. Так я посмотрю, по-нашему опять поворачивается...

– Сказанул! «По-нашему»! Да что они могут без Хозяина?

– Ну... Глядишь... там военные – серьезный народ. Вот и генерала выбрали...

– Чушь собачья! Может он их вот так? – большой сжимает увесистый лиловый кулачище. – Или вот так? – он проводит себя по морщинистой индюшачьей шее. – Ну?

– Слабо...

– То-то... Испоганили все.

– Развалили!

– А какая была страна! Все – как один!

– И один – как все!

– Ишь, окошек разожгли! Лялякают. А тогда, помнишь? Одно горело окно. Над всей страной – одно. И никто не спал. – Толстый стукает ботом по луже, не замечая, что обдал грязной жижей товарища. – Было.

– И прошло. А помнишь ночные вызовы?

– Еще бы! Звонок по вертушке. Сон как рукой. ЗИС к подъезду. Охрана навытяжку. И все понимают – или пан, или пропал. Просто так не вызывал.

Пройдешь десяток постов, все навытяжку, перед заветной дверью всю жизнь вспомнишь, а за дверью — ОН. Посмотрит, трубкой пыхнет, и знаешь: прикажи он родную мать и отца убить, детей изничтожить, — пойдешь и сделаешь.

— Куда денешься, — сладко ежится маленький.

— И выполняли. Кровь из-под ногтей. Ты можешь себе представить, чтоб с него карикатуры рисовали?

— Да он такого бы рисовальщика при жизни в шарж превратил!

— И превращал! В пыль. До седьмого колена!

— С этим народом иначе и нельзя, — вздохнул маленький и сверкнул глазками. — Но и людей подбирал — хоть Ежова возьми, хоть последнего моего шефа! Лев.

— Отраженным светом светили — хватало, чтоб испепелить эту нечисть, — большой кивает на горящие окна.

— Но и поощрить умел, — манежится маленький. — Не дачи — поместья. Не квартиры — полигоны по триста метров. Денег не жалел...

— Да и деньги у него стоили. Хотя — к чему нам-то были деньги? Это эти воруют. А нам — пошто? Все у тебя. От и до. Болен — консилиум академиков. Устал — поезжай, как царь, во дворец к морю. Жратвы — от пуза. Одет — задаром. Ну, жене на баловство, так это ж стоило копейки. А камни — хоть из царской короны бери! Не считали. Не то, что эти: воруют, спекулируют ...Тьфу! — Большой снова плюнул, уже не в платок. — Мразь.

— И отдыхать умели... Помнишь, в Большом под праздники «Лебединое»? Погоны все сплошь без просветов, генеральская гладь! Политбюро в правительственной, Це-Ка в ложах бенуара, в партере — мундиры, мундиры, изредка лишь народный или лауреат мелькнет — не любил посторонних, всегда среди своих был...

— Да... Музычка эта в яме настраивается-пиликает, шуршат дамы платьями и трюфелями и вдруг — тишина! Комар лети! Сам в ложу вошел. И все встали, как один, овация, многие плакали, не стеснялись. Не принято было стесняться!

— Да... Не говори, — вздохнул маленький и потрогал усы под носом. — А сейчас? Посмеет кто из них отпустить себе усы? Ни в жизнь.

— Не смеши! Вспомни, ну, этого... ихнего с усами... Смех!

— Или пенсне надеть кто посмеет? Да ни за что! Очки по Швейцариям заказывают на ворованные деньги.

— Эх-ма! Кому все это мешало? Усы? Пенсне? Да...

— Погубили страну...

— Разбили то пенсне вдребезги. На тысячу кусков. Не собрать.

— А, может, склеится? По кусочкам? Вот в газетах сегодня...

— Ни в жизнь. Испоганили народ...

— И за что они Россию так?..

Да. За что?

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Новая русская сказка

Матери! Вот уж сколько лет вы бессознательно обманываете ваших детей, рассказывая им старый ложный вариант о Красной Шапочке.

Пора, наконец, открыть истинное положение вещей, пора пролить свет на клеветнические измышления о бедном Сером Волке!..

Вот как было дело.

Сказка о Красной Шапочке, об одном заграничном мальчике и о Сером Волке.

У одного отца было три сына: до первых двух нам нет дела, а младший был дурак.

Состояние его умственных способностей видно из того, что когда у него родилась и подросла дочь,- он подарил ей красную шапочку.

Почему красную? Именно потому, что дурак красному рад.

И вот однажды зовет дуракова жена дочку и говорит ей:

– Нечего зря баклуши бить, ступай к бабушке, отнеси ей талон на двести грамм масла и талон на бутылку: может, старуха от радости тебе на бедность что и подарит. Говорят, у нее Серый Козел живет, золотые яйца несет...

– Козел не может нести яйца, ни простые, ни золотые, – говорит Красная Шапочка, умная не по летам. – А талоны я отнесу, все равно на них в нашем лесу не отовариться.

– В общем, не знаю, кто что несет, – сказала дуракова жена, – только золотишко у нее должно водиться, точно. Выманишь – за границу отпущу проветриться. Красные сапожки купишь.

– Врешь ты все, – сказала Красная Шапочка, – себе заберешь и золото, и сапожки. Ну, да мы еще посмотрим, спасибо, что сказала!

– И в кого это ты такая умная? – всплеснула руками дуракова жена.

– А это тебе видней, – сказка Красная Шапочка. – Одно ясно, что папочка тут ни при чем, потому что он-то уж у нас дурак-дураком.

Отправилась Красная Шапочка. Идет по лесу, навстречу ей заграничный мальчик. То есть, мальчик-то был вовсе наш, даже больше чем наш – от бабушки Ленина ушел, от дедушки Сталина ушел, а от Брежнева с Хрущевым да Горбачевым – и подавно. Заграничным мы его называем, потому что очень ему полюбились всякие заграничные вещицы: электроника, автомобили, банки разные да биржи, рулетка и дворцы с приемами. Жил он в лесу, кусал когти и мечтал обо всех этих, недоступных для него вещах. А тут как раз Красная Шапочка.

– Что несешь? Куда идешь? – спрашивает мальчик.

– Талоны паршивые бабульке занюханной.

– Давай все сюда, – говорит мальчик. – Без меня все равно не отоварите. А бабке передай – Серый Волк все сожрал. Он такой, ну да народ о нем знает, радио и телевидение про него каждый день талдычут. Поверит!

Пришла к бабушке Красная Шапочка, старуха гостинец спрашивает.

– Нету. Сожрал Серый Волк, леший его дери.

Облизнулась бабушка, ругнула Серого Волка.

– А правда, бабуля, у тебя есть Серый Козел, который золотые яйца несет? – спрашивает Красная Шапочка.

– Чепуха, – говорит бабушка. – Серенький Козлик у меня, правда, живет, только он яиц не несет, а просто молоко дает. А золотые яйца у меня Золотой Петушок несет. Надо знать родной фольклор и возможности национальной экономики!

– А можно, я с ними погуляю, – говорит Красная Шапочка. – Надо же им вдохнуть воздуха свободы, они, небось, у тебя взаперти сидят.

– А где же им, сердешным, сидеть? Конечно, взаперти. Все-таки ценность из себя представляют. Знаешь, как из-за бугра на них зарятся завистники?!

– А мы немножечко, чуть-чуть по опушке походим, особенно на свободу я их не выпущу. Пусти, бабуленька!..

– Ступай, внученька, – говорит бубушка, – только надень на них ошейник да намордник и кнут возьми!

Пошла Красная Шапочка в лес с Козликом и Петушком. Навстречу – заграничный мальчик.

– О, – говорит мальчик. – Вот это добыча! Давай слопаем эту компанию, давненько я мясца не пробовал!

– Так жалко, – говорит Шапочка, – они ведь золотые яйца несут да молоко дают! Заговоренные!

– Тем белее! – говорит мальчик. – Однова живем! А яиц бабка, небось, скопила – нам на всю жизнь хватит! Молока же я тебе от бешеной коровки сколь хошь принесу, у меня в землянке стоит – первач такой, что горит!

– А бабушке что скажем? Опять Серый Волк сожрал?

– Догадливая, – засмеялся мальчик. – Да мы с ней долго и разговаривать не будем! – с этими словами мальчик прирезал и Козлика, и Петушка, только перья да шерсть полетели по закоулочкам!

Съели они угощение, запили молочком от бешеной коровки и пошли к бабушке. Та угощение спрашивает, молочка от Козлика просит.

– Да где это ты видала от козла молока! – расхохотался мальчик. – Где ты видала яиц от петуха?! Начиталась демократической чепухи, разных новомодных экономистов, шмелевых всяких да нуйкиных! Да за такое дело знаешь что?

– Знаю, – сказала бабушка. – Дай помолиться перед смертью.

– Молись, только скажи, где золото лежит!

– В сундуке, – сказала бабушка, а ключ от сундука – в дупле старой сосны, что за домом растет.

– Ну, молись пока, – сказал мальчик и пошел за ключом.

– И не стыдно тебе, внученька, – спросила бабушка. – С кем связалась?!

– Стыдно, бабушка, – сказала Красная Шапочка, – только пока на мне эта шапочка красная, я и стыда не чувствую и любую гадость могу сделать!

– Так сними дурацкую эту шапочку! – сказала бабушка и сама сорвала колпак с девочки, отчего она сразу Красной Шапочкой быть перестала, а стала просто Машенькой.

А мальчик тем временем сбегал за ключиком, отомкнул сундук, забыв даже пришить бабушку – так велика была его жадность до сказочного золота. Да не тут-то было! Из сундука выскочил Серый Волк, которому все давно рассказали о проделках мальчика, и сожрал его вместе с документами и заграничным паспортом...

Кстати, в старой сказке дальше приходят охотники, чтобы убить Серого Волка и восстановить в лесу прежний порядок.

В новой сказке – к черту охотников!

Много вас тут охотников к концу приходить, на готовое!..

АНКЕТА ДЛЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В ГЕРМАНИИ

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Псевдоним, если Вы им пользуетесь. Кстати, когда и почему Вы решили к нему прибегнуть?

3. Дата и место рождения. Можете указать здесь и свои соображения относительно знака Зодиака, если считаете это существенным...

4. Образование. Если литература не была для Вас единственным делом, какие профессии помогали Вам зарабатывать на хлеб насущный?

5. Первые публикации, учителя и влияния.

6. Какой жанр Вы считаете для себя основным? Много ли у Вас публикаций и к какому периоду времени относится подъём Вашей творческой активности?

Участвуете ли Вы в русскоязычной мировой прессе в качестве публициста? В каких изданиях?

7. Из какого населённого пункта бывшего СССР Вы приехали и в каком году?

8. Если не посчитаете этот вопрос некорректным, то почему именно тогда и... именно сюда?

9. Пожалуйста, несколько слов о Вашей семье.

10. Есть ли у Вас в эмиграции круг общения? Получились ли профессиональные контакты с немецкими коллегами? С переводчиками?

11. На каком уровне Вы владеете языком? (И, кстати, когда начали его изучать?) Пробуете ли выразить себя как писатель на немецком? Какими ещё языками владеете?

12. Знаете ли Вы немецкую культуру и повлияла ли она на становление Вашей личности? Следите ли сейчас за немецкой литературой? Кто из современных немецких писателей Вам ближе?

13. Не смущает ли Вас тот факт, что в Германии женская литература рассматривается отдельно? Ваши мысли по этому поводу...

14. Находясь в эмиграции, публикуетесь ли Вы на Родине? Есть ли у Вас давно созданные произведения, которые увидели свет только сейчас, так как в годы их написания были запрещены цензурой?

15. С какими издательствами и журналами в России Вы поддерживаете связь? Так уж сложилось, что именно с этими, или Ваше участие в них обусловлено их традициями, стилем, кругом авторов?

16. Рассматриваете ли Вы русскую литературу в России и за рубежом как единое целое? Ощущаете ли себя, так сказать, в этом едином русле или – на эмигрантской ветви?..

17. Чувствуете ли Вы себя в Германии – дома? Или – как в долгом путешествии, из которого всё-таки возвращаются? Или можно сказать, что у Вас теперь два местожительства?

18. Считаете ли Вы, что изменение пространства и условий жизни оказалось увлекательным для Вас и полезным для Вашего творчества? Является ли современная жизнь на Западе одной из Ваших новых тем?

19. Переводите ли Вы с немецкого? Делаете ли что-нибудь для связи русской и немецкой культур и встречаете ли на этом пути понимание и поддержку?

20. Удаётся ли жить на литературные заработки? Получали ли Вы в Германии какие-либо творческие стипендии, университетские гранты?

21. Как бы Вы оценили значение русского литератора на Западе? Пользуется ли, на Ваш взгляд, русская литература, создаваемая за рубежом, достаточным влиянием в России? Ощущаете ли Вы лично интерес к себе и вообще к русской культуре в Германии? И если что-то мешает Вам полностью реализовать себя, то что именно?

АВТОРЫ ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

1. БЕРНГАРД Эдуард Оттович.

2. Появление псевдонима Б. Гард было вызвано необходимостью: в одном из номеров газеты «Контакт» оказалось сразу четыре моих «материала» (плодовитый автор, нечего сказать!), поэтому решено было спрятать два из них под вымышленной фамилией, дабы избежать культа личности... Этот псевдоним и теперь иногда используется.

3. 17 октября 1966 года в г. Целинограде. Относительно знаков Зодиака не могу изложить своих соображений по причине отсутствия таковых. С теми же, кто считает данную сферу существенной, спорить не стану...

4. По образованию – музыкант: закончил Целиноградское музыкальное училище и недолго учился в Ленинградской консерватории (Петрозаводский филиал). Специальность – кларнет и саксофон, но к этим инструментам я не подходил уже много лет и позабыл совершенно, как (и зачем?!) на них играть... Правда, есть инструмент, к которому испытываю нежное чувство – фортепиано, да и вообще все клавишные... Люблю и классику, и джаз, немного сочиняю сам. Как «клавишник» музицировал в любительских ансамблях (группах).

Профессия: несколько лет работал, так сказать, методистом в так называемых учреждениях культуры, так сказать. Вот...

5. Первая моя публикация «состоялась» в 1988 году, десять лет назад, в областной газете «Целиноградская правда». Это была небольшая статья «Звучит в Целинограде джаз», посвящённая Биг Бэнду (джазовому оркестру) нашего Дворца молодёжи. Кстати, эту публикацию поругали в обкоме комсомола и даже ещё *кое-где*... Причиной недовольства явился не столько сам джаз (времена уже были не те, когда считалось, что «От саксофона до ножа – один шаг» или «Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь!»), сколько то обстоятельство, что в моей статье «маячило» чересчур много немецких и еврейских фамилий и, как на беду, ни одной казахской... Но я же не виноват был в том, что наш Биг Бэнд состоял наполовину из евреев и немцев... После этого я писал кое-что, но меня больше не «печатали», если не считать двух малотиражных брошюрок на темы искусства, которые странным образом вышли без указания имени-фамилии автора... Это было уж-жасно обидно!!!...

Потом я оказался в Германии... Затем «повстречался» с «Контактом», любезно предоставившим мне свои страницы, и тут уж я, можно сказать, развернулся...

Об учителях и влияниях... мне как-то даже неловко... Не могу же я утверждать, в самом деле, что Чехов, к примеру, оказал на меня влияние... или Лев Толстой явился моим духовным наставником... Я их очень ценю, так же как и Булгакова, Бунина, Набокова, Джойса... Это в высшей степени интересные писатели, потрясающие художники, замечательные мастера слова, стиля, образов...

6. Пробую себя в разных жанрах. Может быть, это поверхностно... Признак самонадеянности... На данный момент у меня более сорока публикаций в «Контакте» и «Радуге»; недавно дебютировал в «Родной речи»... Собственно, считать себя писателем у меня пока мало оснований...

7. Прибыл в Германию в сентябре 1991 года. До того проживал (удачное понятие!) в Целинограде.

8. Приехал сюда как немец. Мои родители и родственники желали этого ещё в так называемые «благополучные» времена (для кого благополучные, хотелось бы узнать?), но отпускать стали, не секрет, только в эпоху «расцвета перестройки». О том, что уехал «оттуда», не жалею, но это не значит, что мне всё нравится здесь. У

переселенцев возникают порой проблемы в отношениях с коренными жителями (или наоборот!), и это неизбежно вследствие различия «ментальностей»...

9. Пока не женат.

Мой отец по профессии фрезеровщик, мать — врач-терапевт.

10. Круг общения в Германии предельно узок... К этому трудно что-либо добавить.

«Профессиональные» контакты с немецкими коллегами..? Гм-м... Это можно истолковать по-разному. Если найдётся работа в Германии, то на данном рабочем месте непременно найдутся какие-нибудь «немецкие коллеги»... О контактах же с писателями ничего, к сожалению, поведать не могу.

11. Немецким языком владею, по сравнению с теми, кто им не владеет, довольно-таки неплохо.

На немецком пишу редко. И никто это почему-то не печатает. Правда, я это никуда и не посылаю... Иначе меня куда-нибудь пошлют...

Совсем чуть-чуть могу изъясниться по-английски. Но, право же, совсем уж чуть-чуть...

12. Немецкая культура мне дорога безмерно... На становление моей личности она повлияла самым решительным образом... И даже очень. Немецкие писатели близки мне уже хотя бы генетически. И я их, конечно, люблю. А как же иначе? Даже думаю как-нибудь при случае что-нибудь прочесть из кого-нибудь из них... Вот.

13. Меня покоробило, когда я узнал, что в Германии женская литература рассматривается отдельно. Это не столько дискриминация (хотя отчасти и так), сколько нелепость. Подобное разделение никому не нужно и вызывает лишь моральный дискомфорт, причём не только у женщин.

P.S. Не понимаю, куда смотрят «зелёные»?! Почему они до сих пор не вмешались?! Безобразие!

14. Нет, на пространстве бывшего Союза не публикуюсь. Некоторые из моих черновиков и набросков, сделанных ещё там, послужили основой для ряда работ, опубликованных здесь.

15. Вся моя публицистика и первые литературные опыты замыкаются в настоящее время на издательстве «Контакт». Это не случайно, потому что именно здесь я чувствую себя уютно, в кругу единомышленников. А такие чудесные рубрики газеты «Контакт», как «В гостях у семи муз», «Путеводитель» или «История», дороги мне особенно. Хорошие традиции сложились и у «Партии смеха» — странички юмора. Кроме того, в «Контакте» можно найти интересную, зрелую графику и оригинальные фотоэтюды. Ещё одно достоинство этой газеты в том, что на её страницах широко представлена поэзия, пусть и разного уровня, но отраден сам факт... Теперь для тех, кто нуждается в постоянном и насыщенном общении с русским словом, появилась возможность стать читателями нового литературно-художественного журнала «Родная речь». Хотелось бы поблагодарить издательство «Контакт» за реализацию этой прекрасной инициативы.

16. Русская литература остаётся русской, где бы она ни создавалась. Эмигрантство хотя и накладывает свой отпечаток на характер и настрой литературы, но её художественные достоинства, в конечном счёте, не зависят от местонахождения писателя...

17. В Германии ощущаю себя «почти как дома, но не забываю, что...». Да нет, если серьёзно, здесь я действительно скорее дома, чем на чужбине. К тому же я уверен, что всё пространство бывшего «Союза» было бы теперь для меня гораздо более чуждым. Германия воспринимается мной как Родина. Этому, разумеется, способствует и моё происхождение.

18. Переезд в Германию, как ни парадоксально, дал мне возможность участво-

вать в русском литературном процессе (на каком уровне – уже другой вопрос). А то, что знакомство с новой культурой, с иным укладом обогащает людей духовно, расширяет их представления о мире, открывает новые грани бытия – отрицать невозможно.

Ко второму пункту вопроса – современная жизнь Запада, конечно же, так или иначе отражается в творчестве большинства работающих здесь журналистов и публицистов. Исключений мало.

19. Два моих перевода статей из немецких газет на темы политики были опубликованы в «Контакте».

Хотелось бы надеяться, что твоя, как и многих других авторов, публицистика, способна внести какой-то вклад в развитие связей немецкой и русской культур, но, надо признать, это звучит напыщенно и похоже больше на лозунг, на декларацию благих намерений. Это из области политики, дипломатии...

20. Литературные гонорары – приятная, но скромная прибавка к бюджету.

21. Значение русского литератора на Западе, полагаю, достаточно весомое (на примерах ярких личностей, маститых писателей, творчество которых имеет здесь звучный резонанс). Но это скорее в общем, и относится скорее к прошлому. Современные же писатели-эмигранты находятся здесь, как правило, на положении «частных лиц», не более, и судьбы их складываются весьма по-разному, поэтому трудно в данном случае делать какие-то выводы... Существует масса причин и обстоятельств, определяющих степень влияния литератора на то общество, в котором он «обитает», а влияние это выражается в показателях его «читаемости»...

Что касается участи русской литературы, создаваемой за рубежом, и её влияния в самой России, то... ну что тут скажешь?! Хотелось бы, чтобы спрос на неё в самой России был как минимум равновелик спросу на «отечественную продукцию». Хотелось бы обнаружить там живую заинтересованность, услышать многочисленные отклики...

А здесь, в стране другого языка, трудно рассчитывать на широкую, в полном смысле этого слова, читательскую аудиторию. Хорошо ещё, что русскоговорящая публика представлена здесь не таким уж малым числом, и это хоть как-то обнадёживает...

Санкт-Вендель,
апрель 1998 г.

1. **ФАЙБУСОВИЧ Геннадий Моисеевич.**

2. Борис Хазанов. Псевдоним изобретен не мною, но был присвоен мне редактором подпольного самиздатского журнала в Москве в 70-х годах; и с тех пор закрепился за мной.

3. Родился 16 января 1928 г. в Ленинграде.

4. Учился в 1945–49 гг. на филологическим факультете Московского университета (классическое отделение), окончил четыре курса, после чего был арестован. В лагере был на разных работах. Окончил в 1961 г. медицинский институт в Калинине (Тверь). Был врачом, работал в деревне и в Москве. Был устным переводчиком в Центральной медицинской библиотеке в Москве. Много занимался переводами с западных языков (философская, теологическая и художественная литература).

5. Статьи о медицине и по истории естествознания в детском журнале «Пионер» и научно-популярных журналах. Художественные произведения только в самиздате. Литературными учителями были писатель Борис Володин и критик Венедикт Сарнов. Влияния: Флобер, Чехов, Лампедуза, некоторые немецкие авторы.

6. Мои основные жанры – роман, новелла, эссе. Публикаций разного рода очень много.

Я был редактором и соиздателем русского журнала «Страна и мир» (Мюнхен, 1984-1992), где выступал также в качестве автора и переводчика. Опубликовал несколько произведений в журналах «Время и мы» и «Двадцать Два». Изредка печатался в русских газетах в Америке и Европе.

7. Я приехал из Москвы в августе 1982 г.

8. Отъезд был связан с потерей рукописей во время обысков, с угрозой нового ареста, с ощущением невозможности жить и работать в России. В Германию приехал, потому что с юности был внутренне связан с культурой этой страны.

9. Я приехал с женой и 17-летним сыном. Сын окончил университет в Мюнхене и сейчас работает врачом в Чикаго.

10. Мой круг общения в русской эмиграции ограничен немногочисленными друзьями. Я в дружеских отношениях с довольно многими немецкими коллегами – авторами, переводчиками, профессорами.

11. Я знаю немецкий язык с детства. По-немецки пишу частные и деловые письма. Прозу пишу по-русски. Читаю по-французски, по-английски, по-латыни.

12. Знаю ли я немецкую культуру, сказать трудно. Я вырос с немецкими поэтами и философами и, разумеется, под сильным их влиянием. Очень большую роль всегда играла немецкая музыка. За современной литературой слежу довольно нерегулярно. Из ныне здравствующих немецких писателей ценю Мартина Вальзера, Бота Штрауса.

13. Не смущает, потому что женская литература может быть не хуже «мужской».

14. С цензурой в СССР я не имел дела, так как мои художественные сочинения в официальной печати не появлялись. В России с начала 90-х годов печатаюсь довольно много. Некоторые вещи, написанные в СССР, были опубликованы по-русски и в переводах в Германии. Италии, Франции, Израиле, Америке, а после крушения режима – в России .

15. Я регулярно публикую книги в немецком издательстве DVA (Штутгарт) В России вышло несколько книг в издательствах «Слово» и «Текст», поддерживаю связь с журналами «Октябрь», «Знамя», «Рубежи», спорадически печатался во многих других журналах и газетах.

16. Я отношусь к теории единой русской литературы с некоторой осторожностью. Сам я – русский писатель, живущий на Западе.

17. Да, дома. Хотя я бываю время от времени в России, местожительство у меня только одно.

18. Изгнание означает огромные и невосполнимые потери. Но оно и необычайно обогащает писателя , раздвигает его кругозор и меняет его самосознание. На западные, прежде всего немецкие темы, я написал много статей, этюдов и радиопередач. Моя проза, за некоторыми исключениями, обыгрывает русские темы и ситуации.

19–21. И в бывшем Советском Союзе, и здесь я перевел весьма много текстов с немецкого, а также с других языков. На мои книжки, выходящие в Германии, обычно появляется много откликов, обо мне имеется научное исследование, я включен в справочники и т.п. Я выступаю с докладами или чтениями и, как мне кажется, нахожу понимание у немецкой, австрийской и швейцарской аудитории.

Вместе с тем широкого интереса к сегодняшней русской литературе в Германии, по моему впечатлению, нет. Вообще любая сколько-нибудь серьезная литература обречена на неуспех в современном массовом коммерциализованном обществе. Популярность покинувших страну писателей-диссидентов в недавнем прошлом была, очевидно, вызвана чисто политическими причинами.

Русский литератор на Западе – это всегда эмигрант и пришелец, независимо от того, как он сам себя аттестует. Нечто похожее происходит с ним и в России, где он чаще всего воспринимается как чужестранец. После кратковременного бума

интерес к литературе эмигрантов упал: в представлении российских читателей и издателей это люди вчерашнего дня.

Жить на литературные заработки я, конечно, не могу, они ничтожны. Я не получал университетских грантов и стипендий, если не считать небольших единовременных сумм, которые мне выплачивались во время пребывания в Übersetzer-Kollegium в Штралене и в доме творчества Art Stiftung Plaas в Линдау.

1. **БАРСКИЙ, Вилен Исаакович.**

2. Публикуюсь под своим именем.

Единственная публикация под псевдонимом Виктор Беленин: журнал «Ковчег» № 6, 1981 (Париж).

Мой добрый знакомый, московский поэт Всеволод Некрасов предложил передать в «Ковчег» подборку моих визуальных стихотворений (естественно – нелегально). Мне ни к чему было, чтобы мое имя стало известно в этой связи – дело в том, что в 1959 году у меня с киевским КГБ была «большая и длинная история» (обыск, однодневный арест с беспрерывным допросом и последовавшая за этим разгромная статья в газете) – и я продолжал находиться в зоне «их интересов». Вдобавок в тот момент я и моя семья были «в подаче» и какая-нибудь новая «история» могла бы помешать отъезду.

3. Киев, 27 октября 1930 г.

4. Различные средние школы: в Киеве и в эвакуации во время войны. Окончил киевскую художественную школу-одиннадцатилетку в 1951 г. В 1951-57 гг. – Киевский государственный художественный институт, который закончил по факультету живописи.

Профессия художника помогала в добывания «хлеба насущного», но не очень, т.к. все время уходило на эксперименты и поиски в искусстве и поэзии – обе эти линии шли у меня параллельно. Стабильнее, в смысле «хлеба», была неофициальная группа учеников, которую я вел.

5. Первой публикацией и была та самая подборка в журнале «Ковчег» (см. ответ на второй вопрос), т.е. в возрасте пятидесяти лет. Очень рано, еще в конце 40-х годов, решил я для себя определенно, что публиковаться в советских журналах или издательствах не буду, не стану даже делать попытки публикации.

Учителей во плоти как таковых не наблюдалось. Хотя я много лет довольно близко был знаком с Виктором Платоновичем Некрасовым, он мне как прозаик, к тому же довольно глухой к поэзии, помочь не мог. Во время учебы в Художественной школе было общее, без имен, влияние русских поэтов-символистов (кстати, почти все стихи того времени я уничтожил).

Первое истинно сильное воздействие – это Хлебников, но не в смысле прямого подражания, а скорее как бы попытки «соревнования», проистекавшей из энергетического импульса его стихов, мифа его жизни. Несколько позднее большим поэтическим событием для меня было знакомство с поэзией Б. Пастернака, а еще позже (по мере возможности иметь тексты) – со стихами О. Мандельштама.

Очень важным, думаю, было обращение (начиная с 50-х годов) к западной поэзии конца XIX и, главное, XX века, которую я, не зная западноевропейских языков, читал в русских переводах, а позднее в польских, опережавших русские публикации лет на двадцать, не говоря уже о широте поэтического «ассортимента». Кроме того, с конца пятидесятых я начал переводить для себя множество стихотворений западных поэтов, делая переводы на русский с польских переводов, выполненных с оригиналов. Перевел, скажем, всю поэтическую прозу А. Рембо, по-

эмы С.-Ж. Перса – в этих переводах я пользовался также помощью друзей, знавших французский, особенно в работе над Персом. Переводил А. Мишо, Сюпервьеля, Тракля, Понжа, Паунда и многих других.

Все это, уверен, повлияло хотя бы на то, что в основном я пишу верлибры и только иногда – рифмованные стихи. Польские поэты также влияли на переход к верлибру. Позднее переводил любимых поляков: Л. Стаффа, Збигнева Херберта, Виславу Шимборску.

Возвращаясь к переводам Рембо, добавлю, что в старых журналах я разыскал 15 переводов Ф. Сологуба и включил их в число «своего собрания». По своей тональности они явились для меня чем-то вроде камертона в моей работе над переводами поэтической прозы Рембо.

Когда в начале 60-х я узнал о существовании русского перевода поэмы С.-Ж. Перса «Анабазис», сделанного Г. Адамовичем и Г. Ивановым в Париже и изданного там же в 1926 г., я начал поиски этой книги в Москве. Мне повезло: мимолетный знакомый, переводчик англоязычной поэзии Андрей Сергеев показал мне ее. Несколько дней подряд я приходил к нему домой и переписал весь текст (дать мне книгу он как опытный коллекционер, очевидно, поостерегся). Этот переводческий шедевр был для меня образцом в дальнейших моих собственных и совместных с друзьями переводах Перса.

6. Основной жанр – это лирика. Кроме того, работаю в области конкретной (визуальной) поэзии, краткой поэтической прозы, эссеистики.

О творческой активности. Мне кажется, что любопытно было бы сообщить о соотношении двух моих параллельных путей – изобразительного искусства и литературы: до конца семидесятых годов оба они были относительно сбалансированы, а после переезда на Запад постепенно на первый план все больше выходила литература.

В семидесятые годы весьма активно работал в конкретной (визуальной) поэзии, одновременно продолжая писать лирику. Основные эссе написаны и опубликованы в восьмидесятые годы в мюнхенском эмигрантском журнале «Форум». Есть еще одноактные пьесы и даже одно очень необычное либретто балета.

7. Эмигрировал с семьей из Киева в 1981 г.

8. Уехать я хотел давно, но родители мои были на исходе жизни и не согласились бы на эмиграцию. После их кончины отъезд для меня стал морально возможен. Да и удушающе-неподвижная атмосфера брежневского времени становилась для меня как художника и поэта все более невыносимой. В Германию мы приехали, т. к. здесь жила и работала мать моей жены.

9. Тут я с женой – поэтом Ольгой Денисовой и сыном.

10. Круг общения с эмигрантами очень небольшой, все это люди «четвертой волны». «Третья волна» в 80-е годы в Дортмунде, да и во всей Германии, была почти невидима из-за своей малочисленности. С немецкими коллегами-писателями есть кое-какие знакомства, но также ограниченные. С переводчиками контакты, как мне кажется, получились. Меня и О. Денисову переводили на немецкий хорошие переводчики, а иногда даже очень хорошие и известные поэты-переводчики.

11. Немецкий язык знаю плохо. Бытовой немецкий меня не очень интересовал. Приехав в Германию в возрасте почти пятидесяти одного года, я понял, что овладеть немецким, хотя бы приближенно к владению родным языком, для меня невозможно. Я усиленно работал и в искусстве и в литературе, а на активное занятие немецким меня уже физически не хватало. В длинных и серьезных разговорах с немцами жена была и остается моим переводчиком. Конечно, иногда шутки ради сочиняю какие-то каламбуры на немецком, но не более того... Владею украинским и польским.

12. Гельдерлина, Гёте, Гофмана – трех любимых Г – можно было читать в русских переводах, также как (со второй половины 60-х) Кафку, которого читал и перечитывал по-польски уже на десять лет раньше. Через польские переводы знал Рильке, (которого у нас хорошо переводил К. Богатырев), Тракля, Бенна, Делана. В частности, перевел довольно много стихов Тракля – опять-таки, через польский. Много лет спустя, сравнивая их с переводами русских профессионалов, убедился, что мои не хуже.

За современной литературой Германии слежу только в общем, по газетам «Die Zeit» и «FAZ» на большее не хватает ни времени, ни знания языка. Более конкретно, по текстам мне интересна Фридерике Майрёкер (Вена). Я и О.Денисова знакомы с очень своеобразным (как мне кажется по переводам О.Д. его стихов на русский) поэтом Томасом Клингом, который знает меня как поэта по немецким переводам моего стихотворного цикла «т и р а д ы». Также интересен мне поэт Оскар Пастиор – и с ним мы знакомы – живущий в Берлине.

Невозможно понять, почувствовать Германию, не зная немецкую классическую и романтическую музыку, а также музыку довоенного венского и послевоенного немецкого авангарда, так называемую Neue Musik. Все это я имел – слава Богу – возможность слушать еще в семидесятые в Киеве благодаря потрясающей фонотеке композитора Валентина Сильвестрова, с которым мы близки до сих пор. Слушаю многое из всего этого (и новое, конечно) и здесь.

Как художник я довольно хорошо знал немецкое искусство и архитектуру – конечно, в репродукциях, а здесь увидел воочию, в оригиналах. Все это, естественно, не могло не повлиять на становление моей личности, говоря словами, стоящими в вопросе. А от себя добавлю – повлияло фундаментально.

13. Не смущает. Вопрос в том, все ли литераторы-женщины хотят, чтобы их причисляли к этой группе? С другой стороны, высокий уровень письма (конечно, понимаемый мною субъективно) не заменят для меня никакие группы и обособления, как бы они сами по себе ни были оправданы или даже важны.

14. До конца 80-х, ясно, это вообще не было возможно. Позже – это формально стало возможно, и для меня лично плоды какие-то имеются, но они не велики. Скажем, в Москве, Киеве и Тамбове знают мою визуальную поэзию и мало знают лирику – в эмиграции (и не только в Германии) я публиковался гораздо шире и более сбалансировано. Касаемо меня, вторая часть вопроса неверно поставлена: то, что было опубликовано в последние годы на родине, это не вещи запрещенные когда-то цензурой, – хотя бы потому, что все, что я сочиняю, свободно изначально и никогда не предназначалось в подцензурную печать. Для себя могу сформулировать вопрос так: были ли бы они в доперестроечное время запрещены цензурой? На это могу ответить – безусловно, да, и запрещение мотивировалось бы как политической цензурой, так и, главным образом, – эстетической.

15. Могу назвать журнал НЛО («Новое литературное обозрение», М.), где к моим визуальным стихам отнеслись с вниманием, не только напечатав ряд из них, но опубликовав (на мой взгляд блестящую) статью-анализ одного моего стихотворения, написанную литературоведом и поэтом Игорем Лощиловым (Новосибирск). До этой публикации другой московский журнал «Декоративное искусство» (большого формата) также поместил страницу моих визуальных стихов. Но оба этих номера были во многом программны – они стремились дать картину современной русской поэзии, и в этом ответ на вторую часть вопроса.

16. Русская литература в России и за рубежом – это и одно целое, и одновременно две части одного рассеченного тела. В языке это тело едино, но социально-пространственная ситуация постоянно раздваивает его, и линия разделения, естественно, проходит и по мне. Возможно, это самоощущение эмигранта «третьей» волны, «четвертая», возможно, чувствует себя иначе. Когда я думаю обо всем этом,

я чувствую себя птицей, сидящей на дереве, ухватившись за две разные ветки, но за одну из веток я держусь крепче, потому что живу именно на ней. Однако когда я пишу стихи, я обо всем этом не думаю – и это главное.

17. Чувствую себя дома не в Германии, а в своей квартире и, может, в лесу и полях, граничащих с нашим районом, но дело в том, что в родном Киеве я себя не чувствовал дома даже в своей квартире – слишком прозрачными и иллюзорными были там стены. Перефразируя второй вопрос: похоже на то, что я в своем возрасте чувствую себя «как в долгом путешествии, из которого не возвращаются.

18. Весьма увлекательным и безусловно полезным для меня и моего творчества, хотя бы уж потому, что Германия дала мне возможность спокойно работать.

На следующий вопрос отвечу так: я не пишу «на темы». Тема моя, в широком смысле, была и остается одна: жизнь и смерть в свете игры двух начал – природного и культурного. Безусловно, какие-то новые обертоны, связанные с ритмами иной западной жизни и, что не менее важно, с дистанцией по отношению к «той, первой жизни», не могли не возникнуть.

19. С немецкого не перевожу.

Специально для связи русской и немецкой культур я ничего не делал. Я просто работал. Меня печатали некоторые немецкие и австрийские журналы в переводах на немецкий, иногда соглашаясь помещать рядом русский оригинальный текст по моей просьбе, я попал в очень хорошую двуязычную антологию русской современной поэзии, участвовал в поэтических чтениях (всегда проходивших на двух языках), немцы сами предложили мне издать книжку моей визуальной поэзии «слова» на русском языке, прокомментированную подробно выдающимся знатоком такого рода поэзии в Германии, я участвовал как художник в различных выставках в разных городах страны (и «за границей») с русскими, а чаще с немецкими художниками, ездил на семинары, посвященные писателям-эмигрантам. Все это, как мне кажется, само собой являлось моментами контакта культур, диалога между ними.

Кстати, вскоре здесь должна выйти моя вторая книга стихов «тирады» по-русски с параллельными немецкими переводами. Предисловие написал Томас Клинг, о котором я уже упоминал. Думаю, что без определенного понимания и поддержки все перечисленное было бы невозможно.

20. Конечно, не удается. Здесь и большинство литераторов-аборигенов, особенно поэты, чаще всего не живут на доходы от своего основного дела. Эмигрантские журналы «третьей волны» – во всяком случае, те, которые мне были интересны и в которых мне хотелось печататься – никогда не платили за публикацию произведений своим соотечественникам, особенно за поэзию. Творческих стипендий или грантов не искал и не получал.

21. Я бы оценивал его значение, исходя только из литературных достоинств того, что он написал. Другое дело – его общественное значение. Западное общество любит сенсацию и творит своих «знаменитостей» по законам поп-культуры. Конечно, на Западе есть люди, которые судят по счету большой литературы, по «гамбургскому счету», но они вовсе не всегда пользуются достаточным влиянием, не всегда могут помочь интересному автору, и это надо учитывать.

В доперестроечное время русский писатель, будущий эмигрант, иногда становился известным на западе еще до своей эмиграции, чему помогал политический скандал вокруг его имени на родине. Я заговорил об известности потому, что если писатель приезжал в ее ореоле, Запад начинал к нему прислушиваться. Сегодня ситуация изменилась – на первый план выходят чисто литературные достоинства, и, понятно, в этой области былая однозначность уже не срабатывает.

Весь спектр русской литературы, создаваемой сегодня за рубежом, конечно, не пользуется достаточным вниманием в России. Я имею в виду в особенности лите-

ратуру, которую называют «некоммерческой». Кроме того, в своих отношениях с эмигрантской литературой русская культура в метрополии всегда запаздывает, вынужденная отрабатывать старые долги перед «первой волной». Это отзывается и на нас, нынешних.

Вскоре после приезда в Германию, со мной и с О.Денисовой познакомились молодые слависты-переводчики, которые, прочитав наши стихи, сами предложили переводить их, хотя раньше они о нас ничего не знали. Мы это ценим до сих пор. Сегодня же довольно часто у немцев падает интерес к писателю, как только он эмигрирует в Германию. Они, мне кажется, предпочитают иметь дело с литераторами, живущими в России и приезжающими в Германию на выступления. Чаще всего это одни и те же имена. Создается впечатление, что восприятие немецкой публики достаточно сужено, и реальный спектр русской литературы, создаваемой в метрополии и в эмиграции, остается для нее далеко не полным. Что ж, *c'est la vi*e.

1998, Дортмунд

Рукописи для журнала «Родная речь»
просьба присылать по адресу:

An Frau Olga Beschenkovskaja
Rotweg 43
70437 Stuttgart

Tel.: 0711/874304

По вопросам подписки и доставки журнала
обращаться в издательство «Контакт»
по телефону: **0511/9906877**

Редакция не вступает в переписку по поводу материалов, не принятых к печати
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.



В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ «РОДНОЙ РЕЧИ», ПОСВЯЩЕННОЙ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИНА, ЧИТАЙТЕ:

Людмила РОХЛИНА. **37 дней из жизни Пушкина**
Василий ХАБИН. **Александр Сергеевич во дни войны и мира**
Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ. **Пробуждение поэзии, или Любовь к вариантам**
Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ. **Святые горы**. Три эскиза.
Яков БЕРДИЧЕВСКИЙ. **А.С.Пушкин и Украина**
Рудольф ВОРОБЬЕВ. **«Однако ж прав упрямый Галилей»**. Пушкин и наука
Владлен ТАРАН. **Соло для молчания**
Борис КИРИКОВ. **Пушкинские дни в Москве**
Лазарь МАРКОВ. **Праздник поэзии в Михайловском**
Виктор ШНЕЙДЕР. **От пушкинских цитат нетленных...**
Юрий ОСТРОВСКИЙ. **Пушкин в степях Оренбуржья**
Моисей ШЕН. **Стих из старинного сундучка**. Рассказ
Яков ЛЮТЫЙ. **«На штурм трассы».** По страницам пушкинского выпуска журнала, изданного заключенными Дмитлага в 1937 г.

А также - стихи наших авторов, рисунки, гравюры и экслибрисы русских и немецких художников